

Комбре. Марсель Пруст

Из Комбре во все стороны света

Мне не спится, нет огня;

Всюду мрак и сон докучный.

Ход часов лишь однозвучный

Раздается близ меня,

Парки бабье лепетанье,

Спящей ночи трепетанье,

Жизни мышь беготня...

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шепот?

Укоризна или ропот

Мной утраченного дня?

От меня чего ты хочешь?

Ты зовешь или пророчишь?

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ищу...

А.С. Пушкин

Пруст писал роман не о себе. Его интересовала не столько собственная прожитая жизнь, сколько общие законы жизни — своей, любой, всякой. Роман Пруста — сумма его знаний о жизни: любовь и ревность, любовь и извращение, болезнь и смерть, болезнь и медицина, взаимодействие людей в обществе и язык, на котором они говорят, аристократизм и буржуазность, антисемитизм бытовой и салонный, снобизм, война и мир, международная политика, дело Дрейфуса, в 1894 году расколовшее французов на два лагеря, декадентство и символизм, история Средневековья и этимология, да мало ли что еще. Вспомним Пастернака: “О, если бы я только мог, хотя б отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти”. Пруст, как, впрочем, и Пастернак, написал о свойствах страсти сотни страниц.

Он исследовал законы художественного творчества, природу творческой личности — а не предавался воспоминаниям о себе в искусстве. (Поэтому его роман — не автобиографическое произведение. Пруст постоянно опирается на факты собственной жизни, которая, заметим, была бедна внешними событиями, эти факты — его материал, но он рассказывает не о себе: внутренний, душевный опыт автора все-таки значительно отличается от опыта его героя.)

Пруст заставил французскую читающую публику новыми глазами перечесть классику, потому что он постоянно втягивает в силовое поле своего романа имена, сюжеты, героев Расина, Бальзака, Бодлера и множество других. Расин, например, чье место в сознании французов сравнимо с местом, которое у нас занимает Пушкин, возникает у него для воплощения то высокого трагизма — искусство великой актрисы Берма, скажем, — то забавных в своей отчаянности детских огорчений, то низких истин современной жизни. Чтобы глубже понять Шарля Сванна, читателю приходится вспомнить мемуары Сен-Симона, чтобы яснее представить себе бабушку — перенестись в мир писем г-жи де Севинье и романов Жорж Санд. Мальчик, герой романа, гуляя вдоль Вивонны, на минутку забредает в роман Бальзака, а рассказывая о комбрейской церкви, соскальзывает в историческую книгу Огюстена Тьерри. Но не только роман обретает дополнительную глубину, благодаря тому что вобрал в себя литературные реминисценции; происходит и обратное движение: литература минувшего меняется, преломившись в сознании современного человека; из “классики” (то есть того, что изучают в школьном классе) она претворяется в непременную часть духовной жизни автора, персонажа, читателя.

Очень скоро роман Пруста оказался опытным полем для теоретиков литературы XX века: его новаторство исследуют структуралисты и постструктуралисты — Ролан Барт, Жерар Женетт, Юлия Кристева; во многом благодаря наблюдениям над его прозой вырастают основные аспекты интертекстуальности (изучения взаимоотношений между текстами), уточняются приемы нарратологии (науки о повествовании).

Марсель Пруст родился 10 июля 1871 года. Писателем он хотел быть со школьных лет, в юности испробовал свои силы во всевозможных литературных жанрах, писал стихи, рассказы, светскую хронику, рецензии, статьи, пародии. В университете изучал философию. На его жизнь наложила отпечаток тяжелая болезнь, астма, которой он страдал с детства. К замыслу своей главной книги Пруст пришел, когда ему было уже за тридцать. В начале работы он долго колебался — писать ему роман или философский трактат. Романный замысел окончательно сложился, когда было уже написано немало страниц. Трактат, да, трактат исследует законы жизни, но писателю этого было мало. Именно роман, по Прусту, — это оптический инструмент, который позволяет читателю применить эти законы к себе, заглянуть в себя. Прустовская проза — это два слившихся вместе потока: дидактический, объясняющий жизнь, в общем-то, так же, как ее объясняли еще французские моралисты в XVII веке, пускай и с привлечением опыта XX века, и поэтический, производящий примерно то же самое

действие, но средствами поэзии, сближениями “далековатых понятий”, ритмами и метафорами, скрытыми и явными цитатами, аллюзиями и ассоциациями. Как заметил Жан Кокто, “у Пруста, больше, чем у кого угодно другого, поэзия не там, где ее ищут. Цветы шиповника и церкви — это прикрасы. Его поэзия состоит в непрерывной череде карточных фокусов, скоростей и отражений зеркал в зеркалах”.

Первый том романа “В поисках потерянного времени” был дописан в 1913 году, накануне Первой мировой войны, без малого сто лет тому назад. Почему, кстати, “потерянного” времени, а не “утраченного”, как мы привыкли? Дело даже не в излишней возвышенности слов “утраченное время”, не в той ностальгической ноте, которая не подразумевается в заглавии книги и отчасти диссонирует с ее смыслом. Прекрасно сформулировал это французский философ Жиль Делёз: “С одной стороны, “Поиски” не являются просто напряжением памяти, ее исследованием: поиски должны пониматься в широком смысле как “поиски истины”. С другой стороны, утраченное время — это не только прошедшее время, но также и время, которое теряют, как в выражении “терять время”[1].

Прусту стоило большого труда найти издателя для своей книги. Первым делом он предложил ее “Галлимару”: основанное всего за два года до того, в 1911 году, это издательство провозгласило себя наиболее интеллектуальным и передовым, претендовало на то, чтобы объединять вокруг себя лучшие умы эпохи. Однако Андре Жид, идейный вождь издательства и тесно связанного с ним журнала “Нувель Ревю Франсез” (NRF), отклонил рукопись. Пруст не сдавался и не прекращал поисков, и после нескольких отказов (“Фаскель”, “Оллендорф”) роман принял молодой издатель Бернар Грассе, который, однако, не слишком верил в успех; при посылке экземпляра уже отпечатанной книги он пишет другу: “Читать это невозможно, мы опубликовали это на счет автора” — и в самом деле, Пруст взял на себя все расходы по изданию. Однако первый тираж (1750 экземпляров) разошелся неожиданно быстро. Критика судила вкривь и вкось, но обозначился явный успех, и этот успех мгновенно оценил “Галлимар”: Андре Жид и Жак Ривьер, проницательный критик, сотрудник NRF, обратились к Прусту и убедили его издавать в “Галлимаре” все дальнейшие тома.

В настоящем издании мы предлагаем вниманию читателей первый фрагмент романа “В поисках потерянного времени”, озаглавленный “Комбре”[2]. Это только первая часть первого тома (весь том озаглавлен “В сторону Сванна”; вторая его часть называется “Любовь Сванна”, третья — “Имена страны: имя”). В каком-то смысле “Комбре” — идеальный выбор для первого знакомства с романом Пруста; не случайно во Франции эта книга регулярно публикуется отдельным изданием. По отношению к общей структуре “Поисков” — что-то вроде краткого конспекта, в нем заявлены все темы романа, появляются почти все главные действующие лица, это очень цельный текст, который можно читать независимо от продолжения. Здесь уже обозначены две дороги, открывшиеся герою — в сторону Сванна и в сторону Германта, — и смутно предугадан тот далекий миг, когда эти дороги встретятся.

Пруста переводить интересно не только потому, что это великий роман, но еще и потому, что для него самого писательство было сродни литературному переводу: в каждом из нас есть своя, неповторимая книга, она уже написана, осталось только перевести ее на общепонятный язык. Кстати сказать, к тому моменту, когда Пруст начал работать над романом, он уже был опытным и профессиональным переводчиком, подготовившим к печати и опубликовавшим две книги английского философа и культуролога Джона Рёскина. Он отказался от перевода ради “переводов из самого себя” (именно так в 1906 году он определяет оригинальное литературное творчество в письме к своей приятельнице англичанке Мэри Нордлингер, помогавшей ему в работе над Рёскином). Поэтому перевод “Поисков” — это в каком-то смысле игра зеркал, перевод перевода.

И все-таки, зачем новый перевод Пруста?

Прежде всего — чтобы отразить новое состояние подлинника. В 1984 году в отдел рукописей Французской национальной библиотеки поступило значительное количество ранее неизвестных черновых материалов к роману Пруста, которые позволили наконец текстологам провести тщательную подготовку текста. Уже в 1987 году в трех авторитетных парижских издательствах вышло три издания (!) первого тома романа, подготовленные Антуаном Компаньоном, Жаном Мийи и Жан-Ивом Тадье, тремя главными (но далеко не единственными) текстологами в прустоведении, — все три книги с огромным комментарием, в большой степени текстологическим. В 1989 году окончилась публикация нового четырехтомника “Поисков” в академической серии издательства “Галлимар” “Библиотека Пляяды”, и это издание полностью вывело из критического обихода старое, пятидесятих годов, причем не только из-за новых комментариев, но и в силу значительных изменений в самом тексте. Дело в том, что при жизни Пруста были опубликованы только первые четыре тома, однако он до самой смерти продолжал работать над всем романом целиком, а не только дописывать продолжение, и кое-что менял в первых книгах, иногда довольно существенно. Последние три тома выходили уже после его смерти: готовил их к печати его младший брат Робер Пруст (по профессии хирург, он отказался от медицины и посвятил себя работе над наследием Марселя) вместе с друзьями писателя, руководствуясь иногда собственным вкусом, а не объективными принципами, а иногда и ошибаясь, принимая более ранние версии за более поздние и наоборот. Вот почему во многих странах (в Америке, Германии, Италии, Японии, Китае) по этому, полностью пересмотренному, изданию делают новые переводы. Текст “Комбре”, правда, почти не подвергся текстологическим изменениям (если не считать исправленного разбиения на абзацы), они постепенно нарастают к концу романа. Зато он предстал совершенно в новом свете благодаря новым комментариям, в которых раскрываются аллюзии, скрытые цитаты, указываются источники, приводятся параллели из черновиков, позволяющие глубже проникнуть в замысел автора. История перевода романа Пруста на русский язык подробно изложена в статье А. Д. Михайлова “Русская судьба Марселя Пруста” (Марсель Пруст в русской литературе. М.: Рудомино, 2000). Первый том, “В сторону Свана”, включающий в себя “Комбре”, переводился три раза: в 1927 году в издательстве “Academia” вышел перевод А. А. Франковского, в 1928-м, в том же издательстве, — перевод Л. Гуревич при участии С. Парнок и Б. Грифцова и, наконец, в 1973 г. в издательстве “Художественная литература” — Н. М. Любимова. Все это было, разумеется, задолго до 1989 года, и все три перевода выполнены по тексту, считающемуся сегодня недостаточно выверенным.

В России по отношению к Прусту сложился, кажется, стереотип восприятия: почтенный, интеллектуальный, но скучный. А ведь все наоборот! Мягко и исподволь Пруст атакует все почтенные понятия и принципы, не оставляя в целостности и сохранности ни одной “священной коровы”. Его интеллектуальность — это, прежде всего, поразительное интеллектуальное бесстрашие. Мало того что нам еще надолго хватит его исследования снобизма, что он выдал настоящий психологический трактат о “проклятой расе”, о гомосексуализме, что ревность он разобрал по косточкам и показал ее ростки, дремлющие в каждом из нас. Но ведь своими задумчивыми рассуждениями — иной раз даже не в главном предложении, а в придаточном — он изничтожает дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм. Он приводит своего героя к полному жизненному крушению, он, наподобие того как геометр доказывает теорему, демонстрирует иллюзорность всего на свете, чтобы потом все-таки вернуть всему смысл, но смысл

высший, внятный только тому, кто не гоняется за ощущениями, а стремится осознать то, что почувствовал и увидел. “В поисках потерянного времени” — книга во многих отношениях подрывная.

И вместе с тем Пруст, что бы о нем ни говорили, был, пожалуй, последним великим писателем, влюбленным в своих персонажей. Не только Рассказчика или бабушку, он любит даже тетю Леони и Франсуазу, даже несносную двоюродную бабушку и глупых Селину и Флору.

Но главная его любовь, на наш взгляд, — это любовь к литературе: “Поиски”, прежде всего, роман о литературном призвании, о становлении писателя, и не случайно “Комбре” кончается первым литературным опытом героя, стихотворением в прозе о трех колокольнях; судьба этого небольшого “текста в тексте” будет потом исподволь прослеживаться на протяжении почти всего романа. От этого небольшого отрывка герой в конце седьмого тома придет к созданию огромной книги, такой же длинной, как любимые Прустом сказки “Тысячи и одной ночи” или мемуары герцога Сен-Симона: “Это будет длинная книга, как “Тысяча и одна ночь”, но только совсем другая. Когда любишь какое-нибудь литературное произведение, хочется, наверное, написать что-то похожее, но нужно пожертвовать сиюминутной любовью, заботиться не о своем вкусе, а об истине, которая не интересуется нашими пристрастиями и запрещает нам о них думать. И только если стремишься за истиной, иногда удается набрести на то, что раньше отверг, и написать забытые тобой “Арабские сказки” или “Мемуары Сен-Симона” твоей эпохи. Но достанет ли мне времени? Не слишком ли поздно?”

Марселю Прусту времени хватило — или почти хватило: роман был в целом дописан, хотя, по мнению автора, еще нуждался в доработке. За две недели до смерти Пруст передал Жаку Ривьеру машинопись пятого тома. В ночь с 17 на 18 ноября работа еще продолжалась: Пруст до двух часов правил корректуру, диктовал своей сиделке и секретарше Селесте Альбаре исправления и добавления. Он умер от пневмонии на следующий день, 18 ноября 1922 года, в возрасте пятидесяти одного года.

Елена Боевская

Пользуюсь случаем, чтобы сердечно поблагодарить сотрудников отдела Пруста (Equipe Proust) в Институте современных текстов и рукописей (ITEM) при Эколь Нормаль Сюперьёр в Париже за квалифицированную помощь в работе над романом; профессора Жозефа Брами (Мэрилендский университет, США) за блестящий курс лекций о Прусте и постоянную помощь в изучении текста; переводчиков Елену Березину и Алину Попову за тщательную и вдумчивую редактуру настоящего перевода.

Долгое время я ложился спать рано. Иной раз, стоило мне потушить свечу, глаза мои смыкались так быстро, что я не успевал подумать: “Засыпаю”. А спустя полчаса меня будила мысль о том, что надо сделать над собой усилие и уснуть; я хотел отложить том, который, казалось, все еще у меня в руках, и задуть огонек; во сне я непрестанно размышлял над прочитанным, но размышления эти принимали несколько неожиданный оборот; мне чудилось, что я сам — то, о чем говорится в книге: церковь, квартет, соперничество Франциска I с Карлом V[3]. Это ощущение удерживалось еще несколько секунд после пробуждения; оно не задевало сознания, но заволакивало глаза пеленой, мешая понять, что свеча уже погасла. Потом оно постепенно блекло — так после переселения душ блекнет память о прошлых жизнях — сюжет книги отступал в сторону, от меня зависело, отнести его к себе или нет; тут же я вновь обретал зрение и немало удивлялся, обнаружив вокруг темноту, сладостную и отдохновенную для глаз, но, быть может, еще больше для ума, которому она представлялась беспричинной, непостижимой, воистину темной. Я гадал, какой теперь может быть час; я слышал посвист поездов, который издалека, словно птичье пенье в лесу, напоминал о расстоянии и рассказывал мне о протяженности пустынных полей, по которым путешественник спешит к ближайшей станции; и тропа под ногами навсегда запомнится ему возбуждением от новых мест, непривычных поступков, недавней беседы и прощания под чужой лампой, которые еще преследуют его в ночном безмолвии, и грядущей радостью возвращения.

Я нежно прижимался щеками к прекрасным щекам подушки, тугим и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичкой, смотрел на часы. Скоро полночь. Время, когда разбуженный приступом больно, которому пришлось уехать и заночевать в незнакомой гостинице, радуется, приметив под дверью полоску света[4]. Какое счастье, уже утро! С минуты на минуту встанут слуги, он позвонит, ему помогут. Надежда, что скоро станет легче, придает ему стойкости. Вот и шаги слышны, они приближаются, потом удаляются. И полоска света под дверью исчезла. Полночь; только что погасили газ; ушел последний слуга, и всю ночь придется терпеть, и нет спасения.

Я засыпал опять и подчас просыпался после этого уже только на миг, успевал услышать вечное потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и впитаться в калейдоскоп темноты, в мгновенном проблеске сознания порадоваться сну, в который были погружены мебель, спальня, все, чего я был лишь малой частицей и с чем скоро опять сроднюсь в общем бесчувствии. Или я во сне без усилий возвращался в навсегда ушедшие ранние годы, вновь обретал детские страхи, например что двоюродный дедушка будет меня дергать за кудряшки, — этот страх развеялся в тот ознаменовавший для меня новую эру день, когда их состригли. Во сне я забывал об этом событии; память о нем возвращалась сразу же, как только мне удавалось проснуться и ускользнуть от рук двоюродного дедушки, но на всякий случай, прежде чем вернуться в мир сновидений, я зарывался всей головой в подушку.

Иногда, подобно тому как из ребра Адама родилась Ева, из неловкого положения моего бедра, пока я спал, рождалась женщина. Она возникала из внезапного наслаждения, а я воображал, что это она мне его дарила. Я чувствовал ее тепло, на самом деле исходившее от моего собственного тела, хотел к ней прижаться и просыпался. Остальное человечество казалось мне страшно далеким по сравнению с этой женщиной, которую я покинул всего мгновение назад; моя щека еще хранила тепло ее поцелуя, тело поламывало от тяжести ее стана. Если она, как иногда случалось, напоминала чертами лица женщину, которую я знал в жизни, я душой и телом устремлялся к одной цели — увидеть ее снова; так люди пускаются в странствия, чтобы своими глазами увидеть желанный город, и воображают, будто можно в реальной жизни насладиться очарованием мечты. Постепенно память о ней рассеивалась, я забывал девушку из моего сновидения.

Спящий человек окружает себя чередой часов, строем годов и миров. Просыпаясь, он инстинктивно сверяется с ними и вмиг просчитывает, какую точку земли он сейчас занимает, сколько времени протекло, пока он спал; но их ряды могут смешаться, прерваться. Пускай сон одолеет его под утро, после бессонницы, над книгой, совсем не в той позе, в какой он обычно засыпает, и вот уже ему будет довольно поднять руку, чтобы остановить или обратить вспять солнце, и в первую минуту после пробуждения он уже не будет знать, который час, и решит, что лег совсем недавно. А если его сморит в положении еще более неуместном и непривычном, например в кресле, после обеда, тогда сошедшие с орбит миры охватит полное смятение и волшебное кресло отправит его на всей скорости путешествовать по времени и пространству; и в тот миг, когда он откроет глаза, ему почудится, что он лег спать несколько месяцев тому назад в другой стране. И даже если я засыпал в своей кровати, но достаточно крепко, так чтобы сознание до конца угомонилось, из него ускользал план места, где я заснул; и, просыпаясь посреди ночи, я не знал, где я, и в первый момент даже не понимал, кто я такой; только чувство, что я существую, охватывало меня во всей изначальной простоте — такое чувство, быть может, трепещет в животном; я был оголен, как пещерный человек; и вот тогда воспоминание — еще не о месте, где я нахожусь, а лишь о каких-то местах, где когда-то жил или мог бывать, — приходило ко мне как спасение свыше и вытаскивало меня из небытия, из которого мне было не выбраться самому; я за мгновение перемахивал через века цивилизации, и мне представляли зыбкие образы керосиновых ламп, потом сорочек с отложными воротничками — эти видения понемногу восстанавливали исходные черты моего собственного “я”.

Быть может, неподвижность вещей вокруг нас навязана им нашей уверенностью, что это они, и ничто другое, — навязана неподвижностью нашей мысли о них. В любом случае, когда я так просыпался и мой разум безуспешно бился, пытаясь понять, где я, вокруг меня в темноте все кружилось: вещи, страны, годы. Тело мое, настолько оцепеневшее, что не в силах было шевельнуться, пыталось по форме своей усталости определить положение рук и ног и из него заключить, куда идет стена, как расставлена мебель, воссоздать и назвать дом, где оно обретается. Память моего тела — память ребер, коленей, плеч — разворачивала перед ним вереницу комнат, в которых ему доводилось спать, а вокруг, в потемках, вихрем клубились невидимые стены, перемещаясь в согласии с формой воображаемой комнаты. И не успевала моя мысль, поколебавшись на пороге времен и форм, сопоставить все обстоятельства и опознать жилище, как тело уже припоминало особенности кровати в каждом доме, и где дверь, и на какую сторону выходят окна, и есть коридор или нет, и с какой мыслью я там засыпал, а потом просыпался. Мой занемевший бок, пытаясь угадать, в каком направлении он развернут, воображал, например, что вытянулся вдоль стены в большой кровати под балдахином, и я себе тут же говорил: “Вот как, я все-таки заснул, хотя мама не пришла сказать мне спокойной ночи” — я был за городом у дедушки, умершего уже немало лет назад, и мое тело, бок, на котором я лежал, верные стражи прошлого, которое на самом-то деле полагалось надежно хранить сознанию, напоминали мне о пламени ночника из богемского стекла в форме вазы, свисавшего с потолка на цепочках, о камине сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, у бабушки с дедушкой, в то далекое время, которое секунду назад я принимал за настоящее, хотя точного понятия о нем у меня не было, но очень скоро, когда я совсем проснусь, оно представится мне ясней.

Потом оживала память о новом положении тела: стена тянулась в другую сторону; теперь я был у себя в спальне, в загородном доме г-

жи де Сен-Лу; господа, уже часов двести, не меньше, и ужин, наверно, килася! Прежде чем переодеться во фрак, я — по-видимому, после прогулки, которую совершал ежедневно вместе с г-жой де Сен-Лу, — прилег, как всегда, отдохнуть и заспался. Ведь немало лет миновало со времен Комбре; там, когда мы возвращались совсем поздно, я видел красные отблески заката на стеклах моего окна. В Тансонвиле у г-жи де Сен-Лу живут по-другому, и радости у меня другие: я выхожу из дому только ночью и блуждаю при лунном свете по тем дорогам, где когда-то играл на солнце; и комната, в которой я потом усну вместо того, чтобы одеваться к ужину, видна мне издали, пока мы идем к дому, пронизанная лучами лампы, единственный маяк в ночи.

Это вихреобразное и смутное узнавание длилось обычно какие-то секунды; мимолетное мое недоумение, где же я, терялось в догадках, часто отличая одну из них от другой не больше, чем мы, видя бегущую лошадь, осознаём каждое ее новое положение, которое показывает нам кинетоскоп[5]. Но передо мной успевали промелькнуть одна за другой комнаты, которые я сменил за всю жизнь, и в конце концов я, надолго уходя в мечту, сменявшую сон, вспоминал их все: зимние комнаты, где, пока спишь, прячешь голову в гнездо, свитце из самых разношерстных вещей: угла подушки, краешка одеяла, конца шали, ребра кровати и номера “Деба роз”[6], которые в конце концов слепляешь вместе, приминая их до бесконечности, по примеру птиц; где в холодное время года наслаждаешься тем, что чувствуешь себя укрытым от внешнего мира (как морская ласточка-крачка, у которой гнездо глубоко в ямке, в теплой почве), и, если в камине на всю ночь разведен огонь, спишь в огромной шубе теплого дымного воздуха, пронизанного отблесками вспыхивающих головешек, словно в неосязаемом алькове, в теплой пещере, вырытой прямо в комнате, в жаркой зоне, колышущейся внутри границы тепла, овеваемой дуновениями, освежающими нам лицо, которые тянутся из углов, из областей, близких к окну или далеких от очага и успевших остыть; летние комнаты, где так наслаждаешься слиянием с теплой ночью, где лунный свет, накатывая на приоткрытые ставни, бросает свою колдовскую лестницу через всю комнату до самого изножья кровати, где спишь почти как под открытым небом, словно синица, покачивающаяся под ветерком на самом конце солнечного луча; иногда спальня в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер чувствуешь себя в ней не совсем уже несчастным, и колонки, легко держа балдахин, так грациозно расступились, являя и храня место, где прячется постель; то, наоборот, маленькая спальня с высочайшим потолком, вырытая в форме пирамиды в толще двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с первой секунды душу мою отравлял незнакомый запах лимонной травы, угнетали враждебность фиолетовых занавесок и дерзкое равнодушие стенных часов, что стрекотали в вышине, словно меня здесь не было; где четырехугольное стоячее зеркало, странное и безжалостное, загораживая наискось угол комнаты, нагло врезалось в нежный простор моего обычного поля зрения, приучая к неподвижному расположению вещей; где мысль моя, часами пытаюсь раствориться, растянуться в вышину, принять в точности ту же форму, что и комната, и наполнить собой доверху ее гигантскую воронку, промаялась немало суровых ночей, когда я лежал вытянувшись в постели, и глаза мои устремлялись ввысь, слух тревожно напрягался, ноздри раздувались, сердце стучало, пока привычка не переменит цвет занавесок, не заставит часы смолкнуть, не призовет к жалости уклончивое жестокое зеркало, не заглушит или даже не изгонит совсем запах лимонной травы и, главное, не уменьшит очевидную высоту потолка. Привычка! Ловкая, но такая неторопливая распорядительница, поначалу она неделями обрекает наш разум на муки временного существования, но он и тому рад, потому что, не будь привычки и доведись ему обходиться собственными силами, он был бы бессилён предоставить нам квартиру, пригодную для жилья.

Разумеется, теперь я уже чувствовал себя совершенно проснувшимся, тело уже совершило последний оборот и добрый ангел уверенности успевал остановить вокруг меня движение, уложить меня под одеяло в моей спальне и приблизительно расположить по местам в темноте комод, письменный стол, камин, окно на улицу и две двери. Но пускай я знал, что я не в одном из тех домов, на которые мимолетно, но ясно указала или по крайней мере намекнула мне спросонок моя неосведомленность, памяти моей уже был дан толчок; обычно я не стремился тут же заснуть снова; большую часть ночи я проводил, припоминая, как мы жили когда-то в Комбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции[7] и мало ли где еще, восстанавливая в памяти места, людей, которых я там знал, и что я за ними замечал, и что мне о них рассказывали.

В Комбре каждый день, под вечер, задолго до часа, когда надо было идти в постель и лежать без сна вдали от мамы и бабушки, спальня превращалась в предмет моих неотступных и горестных забот. Чтобы развлечь меня в те вечера, когда видно было, что я совсем приуныл, придумали подарить мне волшебный фонарь, который еще до ужина нахлобучивали на мою лампу; и по примеру первых архитекторов и витражистов готической эпохи он подменял непрозрачность стен неуловимой радужной игрой, сверхъестественными разноцветными видениями, в которых, словно на мимолетных дрожавших витражах, запечатлевались легенды. Но мне только становилось еще печальнее, потому что при новом освещении спальня делалась непривычной, а ведь привычка почти примирила меня с ней (если не считать пытки укладыванием в постель). Теперь я уже не узнавал комнаты, и мне было в ней тревожно, как в гостиничном номере или в комнате какого-нибудь “шале”[8], если попал туда впервые прямо с поезда.

Подпрыгивая на спине своего скакуна, полный ужасных замыслов, Голо выезжал из треугольного леска, темневшего бархатистой зеленью на склоне холма, и вскачь неся к замку бедной Женевьевы Брабантской[9]. Замок был срезан кривой линией, которая была просто краем одного из овальных стеклышек, — их вставляли в рамку, которая скользила в пазах фонаря. От замка остался только кусок, а на заднем плане — песчаная равнина, где грезилась Женевьева, подпоясанная голубым кушачком. Замок и равнина были желтые, и мне не надо было глядеть на них, чтобы узнать, какого они цвета, потому что раньше стеклышек в рамке мне уже сказал об этом со всей непреложностью золотисто-багряный звон имени Брабант. Голо на миг останавливался и печально слушал небылицы, которые читала вслух моя двоюродная бабушка; судя по всему, он их прекрасно понимал, потому что с покорностью, не исключавшей некоторого величия, принимал позы согласно указаниям текста; затем он удалялся, все так же подпрыгивая на спине своего скакуна. И ничто не могло остановить этой медленной скачки. Если фонарь переставляли, мне видно было, как конь Голо продолжает скачку по занавескам на окне, то раздуваясь вместе с тканью, то проваливаясь в ее складки. Тело самого Голо, той же сверхъестественной природы, что и тело его коня, одолевало любую вещественную преграду, любую вещь, возникавшую у него на пути, превращая ее в часть собственного скелета и вбирая в себя, например, ручку двери; к ней сразу же приспосабливались и непобедимо воспаряли над ней его алый плащ или бледное лицо, всегда такое благородное и печальное, на котором, однако, не отражалось ни следа метаморфоз, происходивших с его костяком.

Конечно, я находил очарование в этих блистательных изображениях, которые словно пришли прямо из меровингских времен[10] и рассеивали вокруг меня такие древние отблески истории. И все-таки не передать, как худо мне было от этого вторжения тайны и красоты в комнату, которую мне насилу удалось наполнить своим “я” настолько, чтобы обращать на нее не больше внимания, чем на это самое “я”. Как только проходил наркоз привычки, я начинал думать, чувствовать, а это так печально. Та самая ручка на двери моей комнаты,

Для меня отталкиваясь от всех остальных дверных ручек в мире тем, что, казалось, поворачивалась сама собой, не нуждаясь в моем вмешательстве, настолько машинально я привык с нею обращаться, теперь служила астральным телом[11] для Голо. И как только звонили к обеду, я поспешно несся в столовую, где распространяла ежевечерний свет огромная висючая лампа, не подозревавшая о Голо и Синей Бороде[12], но знаящая моих родителей и говядину в кастрюле, и бросался в объятия мамы, которая теперь из-за страданий Женевьевы Брабантской была мне еще дороже, между тем как злодеяния Голо заставляли меня еще строже вопрошать свою собственную совесть. После обеда, увы, меня вскорости отсылали от мамы — она оставалась поболтать в саду, если было тепло, или в малой гостиной, где все собирались в ненастную погоду. Все, кроме бабушки, — она считала, что “за городом обидно сидеть взаперти”, и, когда шел особенно сильный дождь, без конца спорила с отцом из-за того, что он вместо прогулки посылал меня в спальню читать. “Так он у вас никогда не станет крепким и бодрым, — печально говорила она, — а ведь нашему малышу надо набираться сил и стойкости”. Отец пожимал плечами и глядел на барометр, потому что любил метеорологию, а мама, стараясь не шуметь, чтобы ему не мешать, смотрела на него с нежным почтением, но не слишком пристально, даже и не пытаясь проникнуть в тайну его превосходства. Но в любую погоду, даже когда свирепствовал дождь и Франсуаза стремительно вносила в дом драгоценные плетеные кресла, чтобы их не попортила вода, бабушку можно было видеть в пустом саду, под хлещущим ливнем; она отводила назад растрепанные седые волосы, подставляя ветру и дождю лоб, чтобы он лучше напитался целебной влагой. Она говорила: “Наконец-то можно дышать!” — и обходила промокшие аллеи — чересчур, на ее вкус, симметрично проложившиеся новым, лишенным чувства природою садовником, которого отец с самого утра спрашивал, наладится ли погода, — бодрыми порывистыми шажками, ритмом которых управляли разнообразные движения души, порожденные куда больше упоением от дождя, могуществом гигиены, бестолковостью моего воспитания и симметричной планировкой сада, чем чуждым ей стремлением уберечь от пятен фиолетовую юбку, которая оказывалась заляпана сплошь, так что горничную потом озадачивало и приводило в отчаяние то, как высоко долетали брызги.

Когда бабушка после обеда кружила по саду, только одно могло вернуть ее домой; пока она, влекомая по орбите прогулки, снова и снова, подобно мошке, оказывалась перед огнями малой гостиной, где на ломберном столике были выставлены напитки, бывало, что двоюродная бабушка кричала ей: “Батильда![13] Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!” И впрямь, чтобы ее подразнить (ведь она вносила в семью моего отца совершенно чуждый дух, и за это все ее вышучивали и изводили), моя двоюродная бабушка угощала деда, которому спиртное было запрещено, капелькой коньяку. Бедная бабушка шла в гостиную и начинала пылко уговаривать мужа не прикасаться к коньяку; он сердился, назло выпивал глоток, и бабушка уходила, печальная, поникшая, но все равно с улыбкой на губах, потому что она была так смиренна духом и кротка, что ее нежность к другим и полное невнимание к собственной персоне и к своим огорчениям примирялись в улыбке, сопровождавшей ее взгляд, и в улыбке этой, в противоположность улыбкам прочих смертных, сквозила ирония, обращенная только на нее саму, а нас она словно целовала глазами, озарявшими тех, кого она любила, горячим и ласковым взглядом — иначе они не умели. Пытка, которую ей устраивала моя двоюродная бабушка, тщетные бабушкины мольбы и ее заранее обреченная на поражение слабость, когда она безуспешно пыталась отнять у деда рюмку, — ко всему этому потом привыкаешь, и даже смеешься, и весело и безоглядно принимаешь сторону гонителя, желая самого себя убедить, что никаких гонений и нет; а в то время подобные сцены приводили меня в такой ужас, что я готов был побить двоюродную бабушку. Но когда я слышал: “Батильда! Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!” — я трусливо, как взрослый, делал то, что делаем все мы, взрослая, когда сталкиваемся со страданием и несправедливостью: я не хотел их видеть; я уходил рыдать на самый верх дома, в комнатку рядом с классной, под крышей, где пахло ирисом, а еще дикой черной смородиной, выросшей снаружи на стене в щели между камнями, — ее цветущая ветка тянулась в полуоткрытое окно. Комнатка эта, предназначенная совсем для других, более низменных целей, из которой днем было видно аж до самой башни замка в Руссенвиль-ле-Пен, долго служила мне прибежищем — конечно же потому, что это была единственная комната, которую мне разрешалось запира́ть на ключ, чтобы предаваться всему, что требовало нерушимого уединения: чтению, мечтам, слезам и чувственности. Увы, я не знал, что куда сильнее мелких отступлений от диеты, которые позволял себе ее муж, бабушку тревожили мое безволие и хрупкое здоровье и что в них она воображала угрозу моему будущему, когда бесконечно кружила вечерами, чуть клоня набок и поднимая к небу прекрасное свое лицо со смуглыми морщинистыми щеками, которые с годами стали почти сиреневыми, как осеннее вспаханное поле; выходя из дому, она прикрывала их короткой вуалеткой, и на них всегда виднелась непросохшая слеза, исторгнутая не то холодом, не то невеселыми мыслями.

Единственным утешением, пока я поднимался к себе наверх спать, служило мне то, что мама придет поцеловать меня перед сном. Но прощание длилось так недолго, а уходила она так скоро, что, когда я слышал, как она поднимается и как потом шуршит по коридору с двойной дверью ее летнее платье из голубого муслина, обшитое ленточками из плетеной соломки, самый этот миг для меня был мучителен. Он предвещал все, что будет потом, как только она покинет меня, уйдет вниз. Я даже, хотя так любил это прощание, мечтал, чтобы оно произошло как можно позже, мечтал еще немного подождать маму. Когда, поцеловав меня, она уже отворяла дверь и собиралась уходить, я порывался окликнуть ее, сказать: “Поцелуй меня еще”, но я знал, что она сразу нахмурится, потому что и так уже она совершила уступку моей печали и моему волнению, пришла попрощаться, принесла мне свой умиротворяющий поцелуй, и это раздражало отца, считавшего весь ритуал глупостью, а потому ей хотелось, чтобы я постепенно перестал в нем нуждаться, отказался от этой привычки, а вовсе не привыкал просить ее о новом поцелуе, когда она уже в дверях. И вот, едва я видел, что она сердится, как исчезало облегчение, которое она приносила мне мигом раньше, когда склоняла над моей постелью свое нежное лицо и протягивала его мне, словно облатку, причащающую покою, чтобы мои губы поверили, что она в самом деле здесь, и на меня снизошла сила заснуть. Но эти вечера, когда мама так ненадолго задерживалась у меня в спальне, были еще ничего, ведь когда к ужину являлись гости, она не приходила совсем. Гости — это был обычно г-н Сванн, который, помимо немногих случайных посетителей, чуть ли не единственный навещал нас в Комбре, иногда по-соседски заглядывал к ужину (реже с тех пор, как он столь неудачно женился, потому что родители мои не желали принимать его жену), иногда после ужина, сюрпризом. Вечерами, когда, сидя перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, мы слышали из дальнего конца сада не тот зычный и пронзительный трезвон, который разливался и оглушал своим металлическим, неиссякаемым и ледяным звуком любого домочадца, пробуждавшего его к жизни тем, что входил “без звонка”, а нерешительное, округлое и золотистое двукратное звяканье колокольчика для посторонних, все тут же задавались вопросом: “К нам гости, кто бы это?” — но все уже знали, что некому и быть, кроме г-на Сванна; двоюродная бабушка, подавая пример, громким голосом и нарочито естественным тоном говорила, что не надо шушукаться: это крайне обидно для гостя, он может подумать, что разговор не предназначен для его ушей; на разведку отправляли бабушку, благо она всегда была рада лишней раз прогуляться по саду и заодно, не останавливаясь, украдкой вырвать из-под розовых кустов несколько подпорок, чтобы розы выглядели естественнее, словно мамаша, треплющая сына по голове, чтобы слегка взъерошить чересчур прилизанные парикмахером волосы.

Мы все с нетерпением ждали новостей о неприятеле, которые должна была принести бабушка, словно не знали, кто именно среди

огромного множества возможных недругов идет на приступ, и вскоре дед провозглашал: “Узнаю голос Сванна”. И в самом деле, его узнавали только по голосу, а лицо — нос с горбинкой, зеленые глаза, высокий лоб в ореоле белокурых, почти рыжих волос, причесанных под Брессана[14], — было еще почти неразличимо, потому что в саду зажигали как можно меньше света, чтобы не приманивать комаров; и я потихоньку отпраивался сказать, чтобы принесли прохладительное, что, по понятиям бабушки, было очень важно, поскольку ей казалось, что так гораздо гостеприимнее: напитки не должны были выглядеть исключительной мерой, нарочно для гостей. Г-н Сванн был чрезвычайно привязан к деду, несмотря на то что был намного его моложе: дед был лучшим другом его отца, превосходного, хотя и чудаковатого человека, которому, говорят, довольно бывало сущего пустяка, чтобы перейти от восторга к равнодушию, от одной мысли к другой. Много раз в году дед при мне рассказывал за столом истории, всегда одни и те же, о том, как вел себя г-н Сванн-отец, когда умерла его жена, от которой он не отлучался ни днем ни ночью. Мой дед, который уже давно с ним не виделся, поспешил к нему, в имение Сваннов в окрестностях Комбре, и ему удалось увести рыдающего друга из спальни покойной перед тем, как ее должны были класть в гроб. Они немного прошлись по парку, где светило неяркое солнце. Вдруг г-н Сванн взял деда под руку и воскликнул: “Ах, дорогой мой, какое счастье гулять по парку вдвоем в ясную погоду! Взгляните, какая красота — все эти деревья, боярышник и мой пруд, о котором вы мне ни разу слова доброго не сказали! Какой-то вы толстокожий. Неужели не чувствуете, какой ветерок? Ах, что ни говори, в жизни все-таки много прекрасного, милый Амеде!” Внезапно он вспомнил об умершей жене, и, чувствуя, видимо, как трудно ему было бы доискаться причин своего всплеска радости в такую минуту, он просто провел рукой по лбу — жест, свойственный ему всякий раз, когда его умом овладевал неразрешимый вопрос, — и вытер глаза, а потом стекла пенсне. А между тем он так и не утешился после смерти жены, но в те два года, на которые он ее пережил, дед не раз слышал от него: “Как странно, я очень часто думаю о бедняжке, но не могу думать о ней подолгу”. “Часто, но не подолгу, как бедный папаша Сванн” — это стало любимой присказкой моего деда в самых разных случаях жизни. Я бы решил, что отец Сванна был чудовищем, но дед — а я почитал его наилучшим судьей, и его приговор, олицетворяя для меня справедливость, часто в дальнейшем помогал мне прощать проступки, которые сам я был склонен скорее осуждать, — так вот, дед восклицал: “О чем ты говоришь! Золотое сердце!”

Между тем долгие годы, пока г-н Сванн-младший, особенно до женитьбы, часто навещал моих дедушку с бабушкой и двоюродную бабушку в Комбре, они и не подозревали, что он уже не принадлежит к тому обществу, в котором вращались его родные, и под именем Сванна, обеспечивавшем ему у нас своего рода инкогнито, они, в своем безграничном неведении уподобляясь хозяевам гостиницы, приютившим в своих стенах, сами того не зная, знаменитого разбойника, оказывают гостеприимство одному из самых элегантных членов Жокей-клуба[15], ближайшему другу графа Парижского[16] и принца Уэльского[17], человеку, которого лелеяло высшее общество Сен-Жерменского предместья[18].

Наше неведение насчет блестящей светской жизни Сванна, по-видимому, объяснялось отчасти присущими ему скромностью и сдержанностью, но еще и тем, что тогдашние буржуа представляли себе общество несколько на индийский лад и считали, что оно разделено на замкнутые касты, где каждый с самого рождения обретает место на той ступени, какую занимают его родители, и ничто уже не сдвинет вас оттуда и не вознесет в высшую касту, кроме такой случайности, как головокружительная карьера или неожиданный брачный союз. Г-н Сванн-отец был биржевой маклер; “сыну Сванна” на роду было написано всю жизнь принадлежать к касте тех, чьи доходы, как в определенном разряде налогоплательщиков, колеблются в таких-то и таких-то пределах. Круг его отца был известен — следовательно, и сам он принадлежит тому же кругу, и понятно было, с кем он “в состоянии” там столкнуться. Если он и знал других людей, то это были знакомства молодого человека, на которые старинные друзья семьи, например мои родные, легко закрывали глаза, благо с тех пор, как Сванн осиротел, он неуклонно продолжал к нам навещаться; но можно было держать пари, что эти неведомые нам люди, с которыми он видался, были из тех, с кем он бы не посмел поздороваться в нашем присутствии. Если бы моим родным во что бы то ни стало захотелось рассчитать уровень, занимаемый Сванном в обществе, присущий лично ему среди всех маклерских сыновей того же круга, что его родители, этот уровень для него оказался бы слегка пониже, потому что Сванн держался очень просто и, питая давнюю слабость к антикварным вещицам и картинам, жил теперь в старом, до отказа набитом коллекциями особняке, куда моя бабушка мечтала когда-нибудь попасть, но расположен был особняк на Орлеанской набережной, в квартале, где, по мнению моей двоюродной бабушки, жить было неприлично. “Да вы хоть разбираетесь в искусстве? Я для вашего же блага спрашиваю, а то вам торговцы всучат любую мазню”, — говорила двоюродная бабушка; в самом деле, она совершенно не предполагала в нем знатока, да и в умственном отношении не слишком высоко ставила человека, который в разговоре избегал серьезных предметов и входил в самые прозаические подробности, причем не только в тех случаях, когда делился с нами кулинарными рецептами, уснащая их бесконечными уточнениями, но даже когда бабушкины сестры заводили разговор об искусстве. Если его подбивали высказать свое мнение, выразить восхищение какой-либо картиной, он весьма нелюбезно отмахивался, испукая вину тем, что давал, если мог, точные сведения о музее, где хранится картина, или о дате ее создания. Но обычно он просто старался нас развлечь и каждый раз рассказывал новую историю, которая приключилась у него с людьми, которых мы знали, — с комбрейским аптекарем, или с нашей же кухаркой, или с нашим кучером. Конечно, моя двоюродная бабушка хохотала над этими рассказами, но не понимала, что именно ее так смешит — забавная роль, которую отводил себе Сванн в этих историях, или остроумие, с которым он их рассказывал: “Ну вы и умора, господин Сванн! Умора, и все тут!” Она единственная у нас в семье была не лишена вульгарности, поэтому при посторонних, если упоминали о Сванне, неукоснительно замечала, что он бы мог при желании жить на бульваре Османна или авеню Оперы, что он — сын г-на Сванна, который оставил ему, надо думать, не то четыре, не то пять миллионов, но вот такая у него прихоть. Причем эта прихоть представлялась ей настолько занимательной для окружающих, что в Париже, когда г-н Сванн являлся к ней первого января с неизменными засахаренными каштанами, она не упускала случая сказать, если при этом были другие гости: “Ну что, господин Сванн, вы все живете у винных складов, поближе к вокзалу — боитесь опоздать на лионский поезд?” И краешком глаза поверх лорнета поглядывала на остальных гостей.

Но если бы моей двоюродной бабушке сказали, что этот Сванн, вполне “достойный” бывать “в лучших домах нашего сословия”, у самых почтенных парижских нотариусов и адвокатов (хотя он вроде бы и прошляпил эту привилегию), тайком ведет совершенно иную жизнь; что в Париже, уходя от нас якобы домой, спать, он за углом сворачивает в другую сторону и спешит в один из тех салонов, куда вовеки не ступала нога маклера или торгового агента, — это показалось бы моей двоюродной бабушке столь же необычным, как более образованной даме — мысль, что она лично знакома с Аристеем[19] и понимает, что, поболтав с ней, он нырнет в царство Фетиды, в пучину, сокрытую от взоров смертного, где, как показал нам Вергилий, его примут с распростертыми объятиями; или — обратимся к образу, который скорее мог прийти ей на ум, поскольку был запечатлен на тарелочках для пирожных у нас в Комбре, — что к ней на обед приходил Али-Баба, который, едва оставшись один, проникнет в свою пещеру, блистающую неожиданными сокровищами.

Однажды в Париже он заглянул к нам после обеда, извинившись, что на нем фрак, а после его отъезда Франсуаза сказала со слов кучера

он обедал “у принцессы”. “Да-да, у принцессы полусвета!”[20] — откликнулась моя двоюродная бабушка с безмятежной иронией, пожав плечами и не отрывая глаз от вязания.

Итак, двоюродная бабушка с ним не церемонилась. Полагая, что наши приглашения для него — большая честь, она принимала как должное корзинки с персиками или малиной из его сада, без которых он у нас не появлялся, и фотографии шедевров искусства, которые он всякий раз привозил мне из Италии.

За ним без малейшего стеснения посылали, чтобы узнать рецепт соуса “грибиш”[21] или салата с ананасом для званных обедов, на которые самого Сванна не приглашали, полагая, что он недостаточно важная персона, чтобы угощать им посторонних, которые впервые будут в доме. Если разговор случайно касался французских принцев крови, двоюродная бабушка говорила: “Люди, которых мы с вами никогда не узнаем и легко без этого обойдемся, не правда ли”, причем говорила не кому-нибудь, а Сванну, у которого, возможно, лежало в кармане письмо из Твикнхэма[22]; вечерами, когда бабушкина сестра пела, двоюродная бабушка заставляла его двигать рояль и перелистывать ноты и помыкала этим человеком, которого так ценили в других местах, с наивной грубостью ребенка, играющего с драгоценной вещью небрежно, как с дешевой побрякушкой. Вероятно, Сванн, хорошо известный в те годы завсегдатаем клубов, сильно отличался от Сванна, которого создавала моя двоюродная бабушка, вооружась всем, что знала о семье Сваннов, когда она вечерами, в садике в Комбре, слыша двойное нерешительное звяканье колокольчика, вдыхала жизнь в безвестное и зыбкое существо со знакомым голосом, возникавшее из темноты впереди бабушки. Но ведь какую мелочь нашей жизни ни возьми, каждый из нас — не просто некое материальное единство, в котором любой человек увидит одно и то же, стоит ему только ознакомиться с нами, как с расходной книгой или завещанием; наша индивидуальность создается мыслями других людей. Даже простой поступок, который у нас называется “встретить знакомого”, есть до некоторой степени интеллектуальное свершение. Видя человека, мы наполняем его облик всеми нашими понятиями о нем, и в общем нашем представлении эти понятия наверняка занимают главное место. В конце концов они начинают так безупречно округлять его щеки, с такой точностью льнут к линии носа, такой тонкий нюанс придают звучанию голоса, словно внешность — лишь прозрачная оболочка, и всякий раз, видя это лицо и слыша этот голос, мы вновь обретаем и слышим все те же понятия. Вероятно, того Сванна, которого выстроили для себя мои родные, они по незнанию обделили множеством примет его светской жизни, благодаря которым другие люди, оказавшись в его обществе, замечали, какая утонченность царит в его лице, не распространяясь лишь на нос с горбинкой, по которому словно прошла ее природная граница; поэтому, вылуцив все обаяние, мои родные, должно быть, вливали в это порожнее, ничем не наполненное лицо, на самое дно его потухших глаз, мутный, сладкий осадок — полувоспоминание, полузабвение, — оставшийся от досухих совместных сидений после наших еженедельных обедов вокруг ломберного столика или в саду, из времен деревенского добрососедства. Все это так плотно начинило телесную оболочку нашего друга (да еще добавились кое-какие воспоминания о его родных), что этот Сванн стал полноценным живым существом, и мне кажется, что я от одного человека перехожу к другому, совсем непохожему, когда в памяти своей от того Сванна, с которым был знаком позже, возвращаюсь к этому первому Сванну, — в котором узнаю милые ошибки собственной юности и который, кстати, похож не столько на Сванна второго, сколько на других людей, которых я знал в те времена, словно наша жизнь подобна музею, где все портреты одной и той же эпохи в чем-то сродни друг другу и выдержаны в одном стиле, — к этому первому Сванну, беспредельно праздному, благоухающему ароматом старого каштана, корзиночек с малиной и стебельком эстрагона.

Между прочим, однажды бабушка отправилась просить об услуге одну даму, с которой познакомилась в монастырской школе Сакре-Кёр[23] (и с которой, согласно нашим представлениям о кастах, не захотела поддерживать отношения, несмотря на взаимную симпатию), — маркизу де Вильпаризи из знаменитого семейства герцогов Бульонских[24], — и та сказала: “По-моему, вы хорошо знакомы с господином Сванном, близким другом моих племянников де Лом”. Бабушка вернулась от нее, восхищаясь домом, выходящим в сад, — г-жа де Вильпаризи советовала ей снять там квартиру, — а также жилетником и его дочерью, державшими мастерскую во дворе: к ним она зашла и попросила зашить ей юбку, которую порвала на лестнице. Бабушка была в восторге от этих людей, объявила, что малышка — воистину жемчужина, а жилетник — воплощение благовоспитанности, равных которому она не встречала. А все потому, что в ее глазах благовоспитанность совершенно не зависела от общественного положения. Она восторгалась каким-то ответом жилетника и говорила маме: “Лучше не сказала бы и Севинье[25]!” — зато о племяннике г-жи де Вильпаризи, встреченном у той в доме, отозвалась: “Ах, дочка, он такой банальный!”

Так вот, упоминание о Сванне не столько возвысило его в глазах моей двоюродной бабушки, сколько принизило г-жу де Вильпаризи. Словно почтение, которое, доверяя бабушке, мы питали к г-же де Вильпаризи, возлагало на нее долг ни в чем не ронять своего достоинства, и этим долгом она, оказывается, пренебрегла, поскольку знает о существовании Сванна и позволяет своим родственникам с ним дружить. “Она знает Сванна? Быть не может! А ты еще говорила, что она в родстве с маршалом Мак-Магоном[26]!” Это мнение моих родителей о знакомствах Сванна потом еще подкрепила его женитьба на женщине из дурного общества, почти кокотке, которую, впрочем, он никогда и не стремился им представить и в гости к нам приходил по-прежнему один, хотя все реже и реже, но они полагали, что по этому браку могут судить о неведомом им круге (предполагалось, что именно там он нашел себе жену), в котором он обыкновенно бывал.

Но однажды мой дед вычитал в газете, что г-н Сванн — один из не переменнейших гостей на воскресных обедах у герцога Икс, отец и дядя которого были наиболее заметными государственными деятелями в царствование Луи Филиппа[27]. А дед интересовался всякими мелкими обстоятельствами, позволявшими ему мысленно соприсутствовать в частной жизни таких деятелей, как Моле[28], или герцог де Пахье[29], или герцог де Брольи[30]. Он пришел в восторг, узнав, что Сванн общается с людьми, которые их знали. Двоюродная бабушка, наоборот, истолковала эту новость не в пользу Сванна: тот, кто выбирал себе знакомых вне касты, в лоне которой был рожден, вне своего общественного “класса”, оказывался в ее глазах непоправимо деклассирован. Ей казалось, что этот человек разом отказался от плодов всех добрых отношений с людьми, занимавшими прекрасное положение, а ведь отношения эти в предусмотрительных семьях так заботливо поддерживались и хранились для детей (моя двоюродная бабушка даже прекратила знакомство с сыном нотариуса наших друзей, потому что он женился на какой-то “светлости” и тем самым, с ее точки зрения, из почтенного сословия сыновей нотариусов упал до уровня одного из тех авантюристов, конохов или лакеев, о которых рассказывают, что в прежние времена королевы подчас дарили им свои милости). Она осудила план деда — в первый же раз, когда Сванн придет к нам обедать, — порасспросить его об этих его друзьях, обнаруженных нами. С другой стороны, сестры моей бабушки, две старые девы, такие же великодушные, как она, но далеко не такие умные, объявили, что не понимают, что за радость их зятю разговаривать о подобных глупостях. Это были возвышенные натуры, в силу своей возвышенности не способные интересоваться так называемыми сплетнями, пускай даже не лишеными исторического

Итереса, и вообще всем, не то касается напрямую какого-нибудь эстетического или добродетельного предмета. В мыслях у них настолько отсутствовал интерес ко всему, что прямо или косвенно относилось к светской жизни, что как только разговор за обедом принимал легкомысленный или просто приземленный характер и двум старым девам никак было не перевести его на предметы, которые были им дороги, их слуховое восприятие как будто убеждалось, что заняться ему нечем, и органы слуха отключались, словно приглухоте. В такие минуты, если деду надо было привлечь внимание сестер, ему приходилось прибегать к физическим приемам вроде тех, которыми пользуются врачи-психиатры с больными, страдающими маниакальной рассеянностью, таких как стук лезвием ножа по стакану одновременно с резким окликом и пристальным взглядом, — грубые средства, которые доктора часто применяют и в обиходе, со здоровыми людьми, не то по профессиональной привычке, не то полагая, что все вокруг слегка не в своем уме.

Бабушкины сестры больше заинтересовались, когда накануне обеда, на который был приглашен Сванн, загодя приславший специально для них ящик асти, двоюродная бабушка, держа в руках номер “Фигаро”[31], где в отчете о выставке Коро[32] рядом с названием одной из его картин было напечатано: “Из коллекции г-на Шарля Сванна”, сказала нам: “Вы видели, что Сванна прославили в “Фигаро”?” — “А я вам всегда говорила, что у него прекрасный вкус”, — сказала бабушка. “Ну, тебе лишь бы с нами поспорить”, — возразила двоюродная бабушка, которая знала, что бабушка никогда с ней не соглашалась, но совсем не была уверена в нашей поддержке и хотела вырвать у нас тотальное осуждение бабушкиных взглядов, чтобы объединиться против нее единым фронтом. Однако мы молчали. Бабушкины сестры заикнулись, что хотят поговорить со Сванном о сообщении в “Фигаро”, но двоюродная бабушка им отсоветовала. Всякий раз, когда она замечала у других преимущество, пускай крохотное, которым не обладала сама, она убеждала себя, что это не преимущество, а недостаток, и вместо того, чтобы завидовать этим людям, жалела их. “Думаю, что вы его не обрадуете, мне, например, было бы неприятно видеть свое имя вот так, в газете, и мне бы не польстило, если бы со мной об этом заговорили”. Впрочем, она не слишком усердно переубеждала бабушкиных сестер: боясь вульгарности, они настолько искусно прятали любой личный намек под покровом запутанных иносказаний, что часто этого намека не замечал даже тот, к кому он был обращен. А моя мама думала только о том, как бы добиться от отца, чтобы он согласился расспросить Сванна если не о его жене, то хотя бы о дочке, которую тот обожал и, как считалось, из-за нее-то и женился. “Просто спроси, как она поживает, вот и все. Ему, должно быть, очень тяжело”. Но отец сердился: “Ни в коем случае! Что ты выдумываешь глупости? Это было бы просто смешно!”

Но только мне, единственному из всей семьи, визиты Сванна приносили мучительные переживания. А все потому, что в те вечера, когда приходили посторонние или только один посторонний, г-н Сванн, мама не поднималась ко мне в спальню. Я обедал раньше, а потом садился за стол со всеми, но заранее было условлено, что в восемь встану и уйду; и тот драгоценный хрупкий поцелуй, который обычно мама дарила мне, когда я засыпал, теперь еще надо было донести от столовой до спальни и сохранить на все время, пока я раздевался, да так, чтобы не разбилась его нежность, не расплескались и не развеялись его воздушные чары, причем как раз в те вечера, когда я чувствовал, что хорошо бы принять этот поцелуй особенно бережно, приходилось получать его прилюдно, чуть не похищать, и у меня даже не было ни времени, ни права вкладывать в эту церемонию все внимание, с каким маньяк старается ни на что не отвлекаться, пока затворяет дверь, чтобы потом, когда к нему вернется болезненная неуверенность, победоносно противопоставить ей память о том миге, когда он эту дверь затворял. Мы все сидели в саду, и вот дважды нерешительно звякнул колокольчик. Было ясно, что это Сванн, однако все вопросительно переглянулись, и бабушку послали на разведку. “Не упустите внятно его поблагодарить за подарок, вино превосходное, да еще такой огромный ящик”, — напомнил дедушка свояченицам. “Не шушукайтесь, — сказала двоюродная бабушка. — Очень приятно приходить в дом, где все что-то шепчут!” — “А вот и господин Сванн. Сейчас мы у него спросим, как он считает, хороша ли завтра будет погода”, — сказал отец. Мама полагала, что одно слово из ее уст загладит все обиды, причиненные ему нашей семьей с тех пор, как он женился. Она исхитрилась отвести его в сторонку. Но я пошел за ней; я не решался отпустить ее от себя ни на шаг, зная, что скоро мне уходить из столовой к себе в спальню без обычного вечернего утешения и что она не придет ко мне и не поцелует. “Господин Сванн, — сказала она ему, — расскажите-ка мне о вашей дочке. Я уверена, что она уже умеет, как ее папа, понимать прекрасное”. “Пойдемте-ка сядем все вместе на веранде”, — сказал, подойдя ближе, дед. Маме пришлось умолкнуть, но сама эта помеха подсказала ей еще один деликатный ход: так тирания рифмы побуждает хорошего поэта достичь в стихе наивысших красот. “Мы еще поговорим с вами о ней, когда останемся вдвоем, — вполголоса сказала она Сванну. — Только мать сумеет понять вас по-настоящему. Уверена, что мама вашей дочурки согласилась бы со мной”. Мы все расселись вокруг железного стола. Я старался не думать о тоскливых часах, которые я проведу нынче вечером один у себя в спальне, не в силах заснуть; я пытался себя уговорить, что это неважно, потому что наутро я их забуду; я цеплялся за мысли о будущем, надеясь, что они, словно по мостику, переведут меня через надвигающуюся пропасть, которая меня пугала. Но мой занятый одной единственной заботой ум и впившийся в маму взгляд напряглись и отторгали любое постороннее впечатление. Мысли проникали в мой рассудок избирательно: отвергалось все прекрасное или просто забавное, что могло бы тронуть меня или развлечь. Как больной, благодаря обезболиванию, с полным сознанием присутствует на операции, которую над ним производят, но при этом ничего не ощущает, так и я мог бы прочесть любимые стихи или обратить внимание, как дедушка старается навести г-на Сванна на разговор о герцоге д’Одифре-Пакье[33], но стихи меня не трогали, а дедушкины хитрости не смешили. Они и не увенчались успехом. Не успел дедушка спросить Сванна об этом ораторе, как одна из бабушкиных сестер, поскольку в ушах у нее этот вопрос прозвучал как глубокая, но неуместная тишина, которую вежливым людям надлежит прервать, обратилась к другой сестре: “Вообрази, Селина, я познакомилась с молодой шведской учительницей, которая поделилась со мной поразительно интересными подробностями о кооперативах в скандинавских странах. Надо бы как-нибудь пригласить ее на обед”. — “Ты совершенно права! — отвечала ее сестра Флора[34]. — А я тоже время даром не теряла. Я у господина Вентейля встретила одного старика-ученого, который хорошо знаком с Мобаном[35], и Мобан подробнейшим образом рассказывал ему, как он работает над ролью. Это поразительно интересно. Он сосед господина Вентейля, а я и не знала, милейший человек”. — “Не у одного господина Вентейля милые соседи!” — воскликнула тетка Селина от застенчивости слишком громко, а от предумышленности несколько вымученно, бросив при этом на Сванна свой так называемый многозначительный взгляд. Одновременно тетка Флора, понимая, что эти слова выражают благодарность Селины за асти, тоже глянула на Сванна с видом признательным и вместе с тем ироническим, то ли желая просто подчеркнуть тонкость сестры, то ли завидуя Сванну, что он ее на это вдохновил, то ли невольно насмехаясь над жертвой всеобщего внимания. “Надеюсь, что нам удастся залучить этого господина на обед, — продолжала Флора. — Если упомянуть при нем Мобана или мадмуазель Матерна[36], он способен говорить часами без передышки”. — “Наверное, это восхитительно”, — вздохнул дед, которому природа, к несчастью, настолько же отказала в способности страстно интересоваться шведскими кооперативами или работой Мобана над ролью, насколько бабушкиных сестер та же природа забыла снабдить щепоткой соли, которую нужно добавлять от себя, чтобы наслаждаться повествованием о частной жизни Моле или графа Парижского. “Пожалуй, то, что я вам скажу, — обратился Сванн к деду, — относится к вашему вопросу ближе, чем может показаться, потому что в некоторых отношениях времена не так уж и меняются. Нынче утром я

перечитывал одно место у Сен-Симона[37], которое могло бы вас позабавить. Это в томе, где он рассказывает, как был послан в Испанию[38]; не самое лучшее место у него, почти газета, но газета, по крайней мере прекрасно написанная, что уже отличает ее от тех, убийственно скучных, которые мы почитаем себя обязанными читать утром и вечером”. — “Не соглашусь с вами, бывают дни, когда чтение газет кажется мне весьма приятным...” — перебила тетка Флора, желая показать, что читала в “Фигаро” о принадлежащей Сванну картине Коро, “...Когда в них говорится о людях или предметах, нас интересующих!” — добавила от себя тетка Селина. “Не стану с вами спорить, — отозвался удивленный Сванн. — Я упрекаю газеты за то, что они всякий день привлекают наше внимание к незначительным предметам, а между тем мы за всю жизнь прочитываем книги три, от силы четыре, в которых говорится о главном. Если уж мы каждое утро лихорадочно разрываем бандероль, которой заклеена газета, тогда надо бы изменить обычай и печатать в этой газете, ну, не знаю... да хотя бы “Мысли” Паскаля! (конец фразы он произнес подчеркнуто иронически, чтобы не показаться педантом). А в толстом томе с золотым обрезом, который мы открываем раз в десять лет, не чаще, — добавил он, обнаруживая презрение к светским новостям, какое любят изображать некоторые светские люди, — пускай бы писали о том, что королева Греции[39] прибыла в Канны, а принцесса Леонская[40] давала костюмированный бал. Тогда истинные пропорции будут восстановлены”. Но тут же, устыдясь, что ненароком коснулся серьезных предметов, он иронически заметил: “Хороший же у нас разговор получается: с какой стати мы забрались в такие выси? — и, обернувшись к деду, продолжал: — Так вот, Сен-Симон рассказывает, что Молеврие[41] имел дерзость протянуть руку его сыновьям. Понимаете, это тот самый Молеврие, о котором он говорит: “В этой пузатой бутылке я всегда нахожу только вздорность, грубость и глупости””. — “Пузатые или нет, а я знаю бутылку, в которых находится кое-что другое”, — поспешно встала Флора, которой непременно хотелось тоже отблагодарить Сванна, потому что асти было прислано в подарок обеим. Селина разразилась смехом. Сбитый с толку Сванн продолжал рассказ: “Не знаю, что это было, невежество или западня, — пишет Сен-Симон, — но он захотел поздороваться с моими детьми за руку. Я вовремя заметил это и вмешался”. Дед уже восхищался этим “невежеством или западней”, но тут мадам Селина, которой имя Сен-Симона, как-никак литератора, помешало полностью утратить способность к слуховому восприятию, вознегодовала: “Как?! Вы этим восторгаетесь? Ну, знаете! Хорошенькое дело! Выходит, что он не такой человек, как все прочие? Какая разница, герцог или кучер, главное — ум и сердце. Что за воспитание давал ваш Сен-Симон своим детям, если он не объяснил им, что подавать руку надо всем честным людям. Да это просто отвратительно. Как вам не совестно это цитировать?” А дед, расстроившись и чувствуя, что после такого отпора Сванна уже не уговоришь рассказывать занятные истории, вполголоса сказал маме: “Напомни-ка мне стих, которому ты меня научила, в подобные минуты он меня так утешает! Ах, да: “Вы к добродетели мне ненависть внушили!”[42] Прекрасные слова!”

Я не отрывал глаз от мамы, я знал, что, когда мы сядем за стол, мне не разрешат остаться до конца обеда и что на людях мама, не желая раздражать отца, не позволит мне поцеловать ее несколько раз, как у меня в комнате. И я твердо решил, что в столовой, когда начнется обед и я почувствую, что время подходит, я заранее выжму из этого поцелуя, такого короткого и беглого, все, что от меня зависит: глазами выберу место на щеке, куда целовать, соберусь с мыслями, чтобы потом, благодаря этому мысленному приуговору к поцелую, всю ту минуту, которую подарит мне мама, чувствовать ее щеку под моими губами; так художник, которому модель может уделить только краткие секунды, готовит палитру и уже написал заранее по памяти, по своим наброскам, все, для чего, на худой конец, может обойтись и без модели. Но еще и к обеду не позвонили, а дед с бессознательной жестокостью сказал: “У малыша усталый вид, пускай идет спать. Все равно мы сегодня обедаем поздно”. И отец, который не так пунктуально, как бабушка и мама, соблюдал верность договорам, сказал: “А и впрямь, иди-ка ты в постель”. Я хотел поцеловать маму, в этот миг прозвонили к обеду. “Нет уж, хватит, оставь маму в покое, сколько уже было таких прощаний, что за нежности, просто смешно. Пора уже, иди!” И пришлось мне уйти без последнего причастия; пришлось карабкаться на каждую ступеньку лестницы “скрепя сердце”, как в народе говорят, — я поднимался, а сердце рвалось назад, к маме, потому что она меня не поцеловала, а значит, не выдала ему дозволения следовать туда же, куда и я. Ненавистная лестница, на которую я вступал всегда с таким унынием, пахла лаком, и этот запах словно впитал в себя и закрепил ту особую муку, что начиналась для меня каждый вечер, и терзал мои чувства еще невыносимее, потому что обонятельная форма страдания не допускала вмешательства разума. Когда мы спим и во сне воспринимаем зубную боль только в виде тонущей девушки, которую сто раз кряду пытаемся спасти, или строчки Мольера, которую непрестанно повторяем, какое облегчение наступает, когда мы проснемся и разум наш извлечет понятие зубной боли из-под всей этой героической или ритмической маскировки. Обратное этому облегчению я испытывал, когда мука идти к себе в комнату овладевала мной — бесконечно быстро, почти мгновенно, неявно и вместе с тем внезапно, — как только я вдыхал запах лака, царивший на лестнице, а ведь запахи гораздо ядовитее мыслей. Едва я оказывался у себя в комнате, надо было заткнуть все щели, запереть ставни, вырыть собственную могилу, то есть расстелить постель, и обрядиться в саван ночной рубашки. Но прежде чем похоронить себя в железной кровати, которую внесли в комнату на лето, потому что под репсовым пологом большой кровати мне было слишком жарко, я на мгновение восстал: я решил, что попытаюсь схитрить, — то была хитрость приговоренного к казни. Я написал маме записку, в которой умолял ее подняться ко мне по важному поводу, о котором не могу написать. Я боялся, что Франсуаза, теткина кухарка, которой поручали заботы обо мне, когда я бывал в Комбре, откажется отнести записку. Я подозревал, что передать маме поручение при гостях покажется ей таким же невозможным делом, как театральному капельдинеру передать письмо актеру на сцене. Насчет того, что можно, а что нельзя, у нее был свой незыблемый, всеобъемлющий, утонченный и непреклонный кодекс, исполненный неуловимых или бессмысленных подробностей (благодаря чему этот кодекс напоминал те древние законы, которые, предписывая разные жестокости, например убивать грудных младенцев[43], с преувеличенной щепетильностью запрещали варить козленка в молоке его матери[44] или употреблять в пищу бедренные жилы[45]). Этот кодекс, если судить по внезапному упрямству, с которым она иной раз не желала исполнять наши поручения, явно учитывал такие общественные сложности и светские тонкости, которых ничто не могло подсказать Франсуазе в ее окружении или в домашней деревенской жизни; и поневоле являлась мысль, что в ней поныне живо древнее, благородное и не очень-то освоенное французское прошлое, как живо оно в промышленных городах, где старинные особняки напоминают о придворной жизни, кипевшей здесь когда-то, а рабочие химического производства трудятся среди изящных барельефов, изображающих чудо святого Теофила[46] или четырех сыновей Аймона[47]. Та статья ее кодекса, что имела отношение к данному случаю, статья, из-за которой вряд ли можно было надеяться, что Франсуаза побеспокоит маму при г-не Сванне ради такой незначительной персоны, как я, разве что дом загорится, просто выражала почтение, которым пользовались у нее не только родители — наравне с покойниками, священниками и королями, — но и посторонние, которым оказывают гостеприимство; это почтение, быть может, растрогало бы меня в книге, но в ее устах всегда раздражало из-за того важного и Г умильного тона, которым она об этом говорила, тем более нынче вечером, когда она, скорее всего, откажется нарушить церемонию обеда, которую почитала священной. Но чтобы привлечь удачу на свою сторону, я без колебаний решился на ложь и сказал ей, что это не я вздумал написать маме, а сама мама, расставаясь со мной, велела, чтобы я не забыл передать ей записку с ответом на ее вопрос насчет одной вещи, которую она меня просила поискать; и она непременно сильно рассердится, если ей не отнесут эту записку. Думаю,

Франсуаза мне не поверила, потому что, подобно первобытным людям, у которых чутье было куда сильнее нашего, она немедленно определяла по неуловимым для нас признакам любую истину, которую мы пытались от нее скрыть; она минут пять смотрела на конверт, словно осмотр бумаги и исследование почерка могли приоткрыть для нее содержание или напомнить подходящую статью ее кодекса. Потом она вышла, всем видом своим выражая смирение, что должно было означать: “Это не ребенок, а наказание для родителей!” Тут же она вернулась и сказала, что там еще едят мороженое, поэтому метрдотель не может вручить письмо у всех на глазах, но когда начнут разносить чашки с полосканием для рта, как-нибудь исхитрятся передать маме мой конверт. Мое беспокойство сразу прошло; все изменилось: теперь уже я не разлучен с мамой до завтра, как это было только что; хотя мама, конечно, рассердится (тем более, с точки зрения Сванна, моя выходка, наверное, ужасная глупость), зато вместе с запиской я сам, незримый и восхищенный, окажусь в одной комнате с мамой и шепну ей на ухо словечко; и сама эта столовая, запретная и враждебная, где всего миг тому назад даже радости от мороженого (зернистого) и полоскания словно источали яд и убийственную тоску, потому что мама вкушала их вдали от меня, — теперь эта столовая отворилась для меня, и из нее, как из перезревшего плода, сквозь лопнувшую кожицу которого брызжет мякоть, прямо в мое упоенное сердце вот-вот брызнет мамино внимание, как только она прочитает написанные мною строчки. Теперь я уже не разлучен с нею; преграды рушатся, восхитительные узы связали нас. Но и это еще не все: мама непременно придет!

Я думал тогда, что СвANN изрядно посмеялся бы над моей тоской, доведись ему прочесть мое письмо и угадать цель этого письма; но нет, ничего подобного: позже я узнал, что и для него долгие годы была пыткой та же тоска, и может быть, он бы понял меня, как никто другой; к нему эта тоска — когда чувствуешь, что любимое существо веселится где-то в другом месте, где тебя нет и куда тебе нельзя, — пришла вместе с любовью, с любовью, которая в каком-то смысле предопределяет, присваивает себе тоску, придает ей форму; но бывает, как было со мной, что эта тоска вселяется в нас еще прежде, чем в нашей жизни явилась любовь; тогда она витает до поры, расплывчатая и свободная, ни к кому в особенности не привязана, на службе нынче у одного чувства, завтра у другого, то у сыновней нежности, то у дружбы к товарищу. И ту радость, с которой я прошел свой первый искуС, когда Франсуаза вернулась и сказала, что письмо будет доставлено, испытал, подобно мне, и СвANN — неверную радость, которую дарит вам какой-нибудь друг или родственник любимой женщины, когда, приехав в особняк или в театр, где она сейчас находится, на какой-нибудь бал, праздник или премьеру, где он ее сейчас встретит, этот друг замечает, как вы бродите снаружи и безнадежно ждете случая ее увидеть. Он узнаёт вас, окликает запросто, спрашивает, что вы тут делаете. И вы придумываете на ходу, что вам, мол, срочно надо что-то сказать его родственнице или приятельнице, а он уверяет, что ничего не может быть проще, ведет в вестибюль и обещает, что через пять минут приведет ее к вам. До чего же вы любите — вот так я в тот миг любил Франсуазу — благонамеренного посредника: ведь стоит ему только слово сказать — и сразу становится вполне сноСным, человеческим и чуть ли не уместным этот непостижимый бесовский праздник, в гуще которого, как вам мерещится, враждебные, порочные и восхитительные вихри увлекают далеко от вас любимую женщину и заставляют ее смеяться над вами! Если судить по этому подошедшему к вам родственнику, тоже приобщенному к этим жестоким таинствам, то и в других гостях на празднике, скорее всего, нет ничего особенно бесовского. Есть некие мучительные и недоступные часы и минуты, когда ваша любимая вкушала неведомую радость, но вот уже мы врываемся в них сквозь неожиданную лазейку; вот уже одно из мгновений, из которых они составились, приоткрывается вашему воображению, — мгновение столь же реальное, как все прочие, а для вас даже, может быть, еще более важное из-за вашей возлюбленной; вы овладеваете им, вмещиваетесь в него, чуть ли не сами его сотворите: это то мгновение, когда ей говорят, что вы ждете внизу. И вероятно, другие мгновения праздника, в сущности, не слишком отличаются от этого, ничем его не упоительней, и незачем было так страдать, не зря же благожелательный друг сказал: “Да она с удовольствием к вам спустится! Ей гораздо приятнее будет с вами поболтать, чем скучать наверху”. Увы! СвANN изведаль на опыте: благие намерения третьего лица бессильны повлиять на женщину, которая раздражается, чувствуя, что человек, которого она не любит, не оставляет ее в покое даже на празднике. И очень может быть, что ваш друг спустится вниз один.

Мама не пришла ко мне и без малейшей заботы о моем самолюбии (которому так нужно было, чтобы не разоблачили выдумки насчет поисков вещи, об исходе которых она якобы просила меня сообщить) передала мне через Франсуазу: “Ответа не будет” — и как часто с тех пор слышал я от портье в шикарных гостиницах и от вышибал в притонах те же слова, обращенные к какой-нибудь несчастной девице, которая удивлялась: “Ничего не просил сказать? Не может быть! Вы в самом деле передали мое письмо? Ладно, подожду еще”. И, подобно тому как она неизменно уверяет, что ей не нужен дополнительный свет, который консьерж хочет для нее зажечь, и ждет, слыша только редкие замечания насчет погоды, которыми обмениваются консьерж с посыльным, которого он потом, внезапно спохватившись, отправляет к клиенту с напитком, так точно и я, отклонив предложение Франсуазы заварить мне травяной настой или посидеть со мной, почувствовал ее к ее делам, лег и закрыл глаза, стараясь не слышать голоса родных в саду, где пили кофе. Но спустя несколько секунд я почувствовал, что, написав маме то письмо, подойдя, под угрозой ее рассердить, так близко к ней, что казалась, миг, когда я ее увижу, вот-вот наступит, стоит руку протянуть, я перекрыл себе всякую возможность уснуть, пока я ее не увижу, и биение моего сердца с каждой минутой становилось все болезненнее, потому что возбуждение все возрастало по мере того, как я уговаривал себя успокоиться, что означало смириться с неудачей. Внезапно моя тревога улеглась, нахлынуло блаженство, как бывает, когда действует сильное лекарство и боль отпустит: я решил больше не пытаться уснуть, пока не увижу маму, решил поцеловать ее, чего бы это ни стоило, когда она пойдет наверх спать, хотя твердо верил, что это надолго нас с ней поссорит. Едва унялась тоска, я успокоился, и мне стало невероятно весело, а от нетерпения, жажды, чувства опасности делалось еще веселее. Я бесшумно отворил окно и уселся в ногах кровати; я почти не шевелился, чтобы снизу меня не услышали. Снаружи тоже все словно застыло в немом ожидании, чтобы не замутить лунного света, который вдвое растянул и отодвинул назад каждый предмет, разостлав перед ним его тень, более густую и плотную, чем он сам, истончив весь пейзаж и одновременно распространив его вширь, точно развертывая сложенную вдвое географическую карту. Шевелилось только то, что не могло иначе, например листва каштана. Но всеобъемлющая мельчайшая дрожь листвы, со всеми ее подробностями и тончайшими оттенками, не растекалась на все остальное, не смешивалась с окружающим, замыкалась в себе самой. Самые дальние звуки, брошенные на милость тишины, которая не поглощала ни единой их частицы, звуки, долетавшие, должно быть, из садов в другом конце города, слышались так отчетливо, с такой “завершенностью”, словно дело было не в расстоянии, а просто они звучали “пианиссимо”, как мелодии под сурдинку, которые оркестр Консерватории исполняет так прекрасно, что, хотя не пропадает ни ноты, слушателю кажется, что музыка звучит далеко от концертного зала, и консерваторские завсегдатаи постарше — в том числе и бабушкины сестры, когда СвANN уступал им свои места по абонементу, — бывало, навостряли уши, словно слушая, как издали приближается маршем армия, еще не свернувшая за угол улицы Тревиз[48].

Я знал, что совершаю преступление, которого родители не оставят без последствий, причем самых для меня тяжких, более тяжких, в сущности, чем предположил бы посторонний человек, потому что такие последствия мог повлечь за собой только воистину постыдный поступок. Но у тех, кто меня воспитывал, была принята не такая шкала прегрешений, как в других семьях, и мне внушали, что самое

недопустимое (видимо, потому что именно от этого меня надо было более всего отвязывать) — это все то, что происходило, как я теперь понимаю, от моей нервности и порывистости. Однако этих слов не произносили, источника моих провинностей не упоминали, а то бы я, чего доброго, вообразил, что у меня есть оправдание и что даже, может быть, не в моих силах было удержаться от проступка. Но я всегда узнавал эти проступки и по тоске, им предшествовавшей, и по суровости наказания, которое за ними следовало; вот и теперь я знал, что совершенное мной преступление — из тех самых, за которые так строго карают, только еще бесконечно более тяжкое. Когда я подстерегу маму по дороге в спальню и она увидит, что я не ложился, чтобы еще раз сказать ей спокойной ночи в коридоре, меня не оставят дома, меня завтра в коллеж отдадут, это уж точно. Ну и что, пускай я потом, через пять минут, хоть из окна выброшусь — это меня ничуть не пугало. Сейчас мне нужна была мама, я хотел сказать ей спокойной ночи, я слишком далеко зашел по пути, который вел к исполнению моего желания, и не мог отступить.

Я услышал шаги родителей, провожавших Сванна; и когда колокольчик на калитке поведал мне, что он ушел, я подобрался к окну. Мама спрашивала у отца, хороши ли были лангусты и брал ли г-н Сванн добавки кофейного мороженого с фисташками. “Оно, по-моему, так себе, — сказала мама, — пожалуй, в следующий раз попробуем другой сорт”. — “А как Сванн изменился, прямо слов нет, — сказала двоюродная бабушка, — совсем старик!” Двоюродная бабушка настолько привыкла вечно видеть в Сванне подростка, что удивилась, когда внезапно заметила, что он старше, чем ей представлялось. Впрочем, и родители тоже вдруг решили, что он неестественно, чрезмерно, постыдно постарел, как стареют — и поделом — холостяки, те, чьи дни огромны, и лишены какого бы то ни было завтра, и делятся дольше, чем у прочих людей, потому что дни эти пусты и с утра обрастают мгновениями, которые не делятся у них между детьми. “Думаю, что у него хватает хлопот с его негодницей-женой: она на виду у всего Комбре живет с каким-то господином де Шарлюсом. Они тут у всех притча во языцех”. Мама на это заметила, что с некоторых пор Сванн все-таки повеселел. “И режет себе глаза и проводит ладонью по лбу, тем самым движением, что его отец. Мне-то кажется, в глубине души он уже не любит эту женщину”. — “Ну разумеется, не любит, — отозвался дед. — Я уже давно получил от него на эту тему письмо, на которое подчеркнуто никак не отозвался; это письмо не оставляло ни малейших сомнений насчет его чувств к жене, по крайней мере что касается любви. Да ладно! А вот вы так и не поблагодарили его за асти”, — добавил дед, обернувшись к обеим свояченицам. — “Как не поблагодарили? Между нами, мне даже показалось, что я сумела выразить это достаточно деликатно”, — возразила тетка Флора. — “Да, ты прекрасно нашла нужный тон, я тобой восхищалась”, — подхватила тетка Селина. — “Но и ты тоже замечательно выразилась”. — “Да, словами о милых соседях я горжусь”. — “И это у вас называется поблагодарить? — возопил дед. — Я слышал, но черт меня побери, если я подумал, что это относится к Сванну. Будьте уверены, что он ничего не понял”. — “Ну полно, Сванн не дурак, я уверена, что он оценил. Не могла же я упоминать количество бутылок и сколько стоило вино!” Отец и мама остались одни и на минутку присели; потом отец сказал: “Ну что ж! Если хочешь, идем спать”. — “Как хочешь, мой друг, хотя у меня сна еще ни в одном глазу. Неужели это безобидное кофейное мороженое так меня взбудило! Между прочим, я видела свет в буфетной; бедняжка Франсуаза, как видно, меня дожидается, так что пойду и попрошу ее расстегнуть мне корсаж, пока ты раздеваешься”. И мама отворила решетчатую дверь вестибюля, которая вела на лестницу. Скоро я услышал, как она идет наверх закрывать окно. Я бесшумно вышел в коридор; мое сердце стучало так сильно, что мне трудно было идти, но теперь оно хотя бы билось не от тоски, а от ужаса и счастья. Я увидел на лестничной клетке отблеск маминой свечи. Потом увидел ее саму и бросился вперед. В первую секунду она посмотрела на меня удивленно, не понимая, что происходит. Потом у нее на лице отразился гнев, она даже ни слова мне не сказала, и в самом деле, за куда меньший проступок со мной не разговаривали по нескольку дней. Скажи мама хоть что-нибудь, это бы означало признание, что со мной можно разговаривать, и, кстати, мне это могло показаться еще ужаснее: значит, готовится такая суровая кара, что молчание или размолвка по сравнению с ней — детские игрушки. Это было бы все равно что слова, с которыми спокойно обращаются к прислуге, когда ее уже решено уволить, или поцелуй сыну, которого отправляют на военную службу, хотя, обойдись дело тем, что он бы просто на денек-другой впал в немилость, ему бы в этом поцелуе отказали. Но мама услышала, что отец поднимается из гардеробной, где он раздевался, и, желая избавить меня от отцовского нагоняя, сказала мне дрожащим от ярости голосом: “Беги, беги к себе, не хватало еще, чтобы отец увидел, что ты тут караулишь как дурачок!” Но я повторял: “Зайди ко мне попрощаться!” — с ужасом видя, как отблеск отцовской свечи уже поднимается по стене все выше, но и пользуясь его приближением для шантажа и надеясь, что мама испугается, как бы отец не застал меня здесь, пока она продолжает со мной спорить, и скажет: “Ступай к себе в комнату, я приду”. Слишком поздно, отец уже стоял перед нами. Невольно я прошептал так, что никто не слышал: “Я пропал!”

Но ничуть не бывало. Отец постоянно отказывал мне в законных благах, предусмотренных договорами более общего характера, которые заключали со мной мама и бабушка, потому что о “принципах” он не заботился, а до “прав человека” ему не было дела. По какой-нибудь случайной причине, а то и вообще без причины, он в последний миг лишал меня уж такой привычной, такой обычной прогулки, отменить которую было сущим клятвопреступлением, или вдруг, да хоть как нынче вечером, задолго до освященного традицией часа говорил мне: “Ну-ка иди спать, и никаких разговоров!” Но именно потому, что принципы (в бабушкином понимании) у него отсутствовали, не было в нем, собственно, и непримиримости. Секунду он глядел на меня удивленно и недовольно, а затем, когда мама в нескольких словах смущенно объяснила, что происходит, сказал ей: “Ну так иди с ним! Ты же говорила, что тебе еще спать не хочется, вот и побудь у него в комнате: мне ничего не нужно”. — “Но, друг мой, — робко возразила мама, — хочу я спать или не хочу, это ничего не меняет, нельзя же приучать ребенка...” — “Ну кто говорит приучать, — отвечал отец, пожимая плечами, — видишь, малыш расстроился, на нем же лица нет! Не палачи же мы! Да он, чего доброго, заболит по твоей милости! У него в комнате две кровати, вот и скажи Франсуазе, чтобы постелила тебе на большой кровати, и поспи сегодня у него. Ну ладно, спокойной ночи, у меня нервы крепче, чем у вас, я иду спать”.

Благодарить отца было нельзя: он приходил в ярость от того, что у него называлось “телячьими нежностями”. Я стоял, не смея шелохнуться; он был еще здесь, высокий, в белой ночной рубашке, в розовом с фиолетовыми разводами индийском кашемировом платке, которым он обвязывал голову с тех пор, как у него началась невралгия, в позе Авраама, повелевающего Сарре расстаться с Исааком на гравюре с фрески Беноццо Гоццолли[49], подаренной мне в свое время г-ном Сванном. С тех пор прошло немало лет. Та стена вдоль лестницы, по которой я следил за поднимающимся отблеском отцовской свечи, давно исчезла[50]. И во мне самом разрушилось многое из того, что я полагал вечным, и воздвиглось новое, породившее новые муки и новые радости, которых я не мог предвидеть тогда, а то, что было прежде, мне стало трудно понимать. И давно уже отец не может сказать маме: “Иди с малышом!” Никогда уже мне не будет дано пережить вновь эти часы. Но с некоторого времени, стоит напрячь слух, мне опять ясно слышатся рыдания, которые я тогда с трудом подавил, стоя перед отцом, — они вырвались на волю позже, когда мы остались вдвоем с мамой. На самом деле они никогда не затихали с тех пор; просто теперь жизнь вокруг меня чаще умолкает, потому я слышу их снова, как монастырские колокола, которые днем с легкостью перекрывает шум города, и кажется, что они замерли, но в вечерней тишине они вновь начинают звонить.

Эту ночь мама провела в моей комнате; в тот самый миг, когда я совершил прегрешение, за которое ждал, что меня выгонят из дому, родители даровали мне милость, которой я ни за что не добился бы от них в награду за похвальный поступок. Даже в тот час, когда отец проявил ко мне такое милосердие, в его обращении со мной сквозило что-то самодурское, произвольное, и, в общем, оно зависело не столько от продуманного плана, сколько от мимолетных обстоятельств. И то, что я называл его суровостью, когда он посылал меня спать, пожалуй, заслуживало этого слова даже меньше, чем поведение мамы и бабушки: ведь по натуре своей он во многом сильно отличался от меня, мы были совершенно разные, и он, вероятно, не догадывался, до какой степени я страдал каждый вечер, а мама с бабушкой это хорошо знали; но они любили меня так сильно, что не соглашались меня пощадить: им хотелось, чтобы я умел побеждать это страдание, хотелось уменьшить мою нервную возбудимость и закалить мою волю. Отец любил меня по-другому, и я не уверен, что у него хватило бы на это мужества: когда он понял, в каком я горе, он сказал маме: “Иди, утешь его”. Эту ночь мама провела у меня в комнате, и когда Франсуаза, уразумев, что происходит нечто небывалое, видя, как мама сидит рядом со мной, держит меня за руку и не ругает за то, что я плачу, спросила у нее: “А что с молодым господином, мадам, отчего он так плачет?” — мама, словно не желая портить никакими угрызениями совести эти часы, так отличавшиеся от всего, на что я мог надеяться, ответила: “Да он сам не знает, Франсуаза, просто расстроился; постелите мне скорее большую кровать и идите к себе”. Так впервые мою печаль сочли не провинностью, достойной наказания, а неумышленной болезнью, которую признали законной; так ее сочли нервным состоянием, за которое я не отвечаю; мне даровали облегчение — не примешивать раскаяния к горечи моих слез; я мог плакать безгрешно. И я не мог не возгордиться перед Франсуазой за то, что мне вернули человеческое отношение, причем всего-то час спустя после того, как мама отказалась подняться ко мне в спальню и презрительно передала мне, что пора спать: это возвышало меня в глазах взрослых и словно доказывало, что мое горе — это горе зрелого человека, что слезы мои правомочны. Казалось бы, какое счастье, но счастья не было. Мне представлялось, что мама впервые пошла на уступку, которая была для нее, наверное, мучительна; что впервые она отреклась от того идеала, который предначертала для меня, и что впервые она, такая мужественная, признала свое поражение. Мне казалось, что победа, которую я одержал, — это победа над ней и что мне, словно болезням, или горестям, или годам, удалось ослабить ее волю, одержать верх над ее разумом, и что с этого вечера начинается другая эра, и что он останется в памяти печальной датой. Теперь, если бы я посмел, я сказал бы маме: “Не надо, я не хочу, уходи!” Но я знал, что бабушкин пламенный идеализм в маме умеряется благоразумием и здравым смыслом, реалистичностью, как сказали бы сегодня, и понимал, что теперь, когда зло уже совершилось, ей хочется, чтобы я хотя бы вкусил его умиротворяющих плодов, и совершенно не хочется беспокоить отца. Конечно, в тот вечер прекрасное лицо моей матери еще блистало молодостью, когда она так нежно держала меня за руки, стараясь унять мои слезы; но мне по некоторым причинам казалось, что это все неправильно и что ее гнев опечалил бы меня меньше, чем эта внезапная мягкость, которой мое детство не знало; мне казалось, что от моей нечестивой руки исподволь пролегла первая морщина в ее душе и появился первый седой волос. От этой мысли я разрыдался еще пуще, и тут маме, никогда не позволявшей себе со мной никаких сантиментов, внезапно настолько передалось мое горе, что она и сама чуть не заплакала. Чувствуя, что я это заметил, она со смехом сказала: “Вот мой глупыш, вот дурашка, еще немножко, и мама станет такая же глупенькая, как ты. Знаешь, раз уж ты не спишь и мама не спит, давай не будем больше расстраиваться, а чем-нибудь займемся, возьмем какую-нибудь из твоих книжек”. Но у меня в спальне книжек не было. “Скажи, если я достану одну из тех книжек, которые бабушка приготовила тебе на день рождения, я тебе не испорчу удовольствие? Подумай хорошенько: ты не огорчишься, если не получишь подарка послезавтра?” Напротив, я был в восторге, и мама принесла пакет с книгами, сквозь обертку мне было не угадать, что за книги, только видно, что формата они были почти квадратного, короткие, зато широкие, но даже на первый, самый поверхностный и беглый взгляд они тут же затмили коробку с красками, полученную на Новый год, и шелковичных червей, подаренных на прошлый день рождения. Это были “Чертова лужа”, “Франсуа-найденыйш”, “Маленькая Фадетта” и “Волынщики”[51]. Потом я узнал, что бабушка поначалу выбрала стихи Мюссе, томик Руссо и “Индиану”[52]: она полагала, что легковесное чтение так же вредно для здоровья, как конфеты и пирожные, зато, на ее взгляд, мощное дыхание гения даже для детского ума не более опасно и не менее живительно, чем для детского тела — свежий воздух и морской ветер. Но отец, узнав, какие книги она собирает мне подарить, объявил, что она с ума сошла, и, чтобы мне не остаться совсем без подарка, пришлось ей еще раз поехать в Жуй-ле-Виконт, в книжный магазин (жара была страшная, и когда она вернулась домой, ей было так худо, что врач предупредил маму, чтобы не позволяла ей больше так переутомляться), и, смирившись, обменять эти книги на четыре сельских романа Жорж Санд. “Доченька, — сказала она маме, — у меня бы рука не поднялась подарить малышу плохо написанные книги”.

В сущности, она никогда не мирилась с покупками, которые бы заодно не приносили пищу уму, особенно пищу того рода, какую приносят красивые вещи, приносящие нас не к утехам комфорта или суетности, а к радостям иного порядка. Даже если ей предстояло сделать так называемый полезный подарок, например кресло, столовые приборы, трость, эти вещи она старалась найти “старинные”, словно от долгого неупотребления с них опадала шелуха полезности и они предназначались не столько обслуживать нашу жизнь, сколько рассказывать нам о том, как жили люди прежде. Ей хотелось, чтобы у меня в комнате висели фотографии самых прекрасных памятников и пейзажей. Но прежде чем решиться на покупку, она решала, что в механическом способе воспроизведения, то есть в фотографии, несмотря на эстетическую ценность того, что на ней изображено, чересчур силен элемент вульгарности, полезности. Она норовила схитрить и пускай не вытравить совершенно коммерческую банальность, так хоть заместить изрядную ее долю опять-таки искусством, ввести в картину как бы несколько “слоев” искусства: вместо фотографий Шартрского собора, фонтанов Сен-Клу, Везувия она, разузнав у Сванна, не изобразил ли их какой-нибудь великий художник, предпочитала дарить мне фоторепродукции Шартрского собора Коро, фонтаны Сен-Клу Юбера Робера[53], Везувий Тернера[54], что возводило фотографии на более высокую ступень искусства. Но хотя фотограф был отстранен от изображения шедевра или природы и замещен великим художником, он все равно вступал в свои права, воспроизводя изображение. Добившись краха вульгарности, бабушка пыталась оттеснить ее еще дальше. Она спрашивала у Сванна, нет ли гравюры этой картины, и гравюры по возможности выбирала старинные, причем, помимо самой гравюры, ее интересовали и другие обстоятельства — например, то, что она воспроизводила шедевр в том виде, в каком мы его сегодня уже не увидим (как гравюра “Тайной вечери” Леонардо в первоизданном виде, работы Моргена[55]). Надо сказать, что такое понимание искусства делать подарки не всегда приносило блестящие результаты. Представления о Венеции, которые внушил мне рисунок Тициана, где на заднем плане якобы виднелась лагуна, несомненно, оказались менее точными, чем если бы я увидел обыкновенные фотографии. Когда двоюродная бабушка принималась поминать бабушке все ее прегрешения, уже и не упомянуть было всех кресел, которые были подарены ею юным новобрачным и старым супругам и при первой попытке ими воспользоваться тут же обрушивались под тяжестью того, кому был предназначен подарок. Но бабушке казалось мелочным слишком беспокоиться о прочности мебели, на которой еще сегодня проступают цветок, улыбка, какая-нибудь прекрасная выдумка минувшего. И даже то, что само удобство этих вещей несколько отличается от того, к чему мы привыкли, очаровывало ее: так в старинной манере изъясняться мы заново чувствуем метафору, в современном языке

тершаяся оттого, что ее слишком часто повторяли. И как раз в сельских романах Жорж Санд, которые бабушка подарила мне на день рождения, было полно такой старинной мебели, то есть выражений, которые, выйдя из обихода, обрели изначальную образность, а ведь в наши дни их только в деревне и встретишь. Бабушка выбрала именно эти книги, а не другие, подобно тому как выбрала бы для жилья дом с готической голубятней или с какими-нибудь старинными штучками, животворно влияющими на душу и вносящими в нее тоску по невозможным путешествиям во времени.

Мама села рядом с кроватью; она взяла “Франсуа-найденыша” [56], чей рыжеватый переплет и малопонятное название сообщали в моих глазах самой книжке яркую индивидуальность и таинственную притягательность. Я еще никогда не читал настоящих романов. Я слышал, что Жорж Санд — непревзойденный романист. Поэтому я уже заранее воображал, что найду в “Франсуа-найденыше” нечто неувлительно-восхитительное. Повествовательные приемы, призванные возбудить любопытство или растрогать, известные обороты речи, навевавшие тревогу или печаль, то, с чем опытный читатель знаком по многим романам, — а я ведь видел в новой книге не вещь, одну из множества таких же вещей, а живое уникальное существо, которое живет своей собственной жизнью, — все это представлялось мне особым возбуждающим излучением, исходящим именно из “Франсуа-найденыша”. За такими будничными событиями, такими обыкновенными вещами, такими привычными словами мне чудилась словно какая-то удивительная интонация, какое-то необычайное звучание. Сюжет развивался; он показался мне неясным, тем более что в те времена я во время чтения часто пропускал страницу за страницей, мечтая о чем-нибудь совсем другом. И к пробелам, оставшимся из-за моей рассеянности, прибавлялось то, что мама, читая мне вслух, выбрасывала все любовные сцены. Поэтому все странные перемены в отношениях между мельничихой и ребенком, объяснявшиеся только развитием нарождавшейся любви, были для меня проникнуты глубокой тайной, источником которой, как я с готовностью вообразил, было это незнакомое и сладостное прозвище, “Найденыш”, — уж не знаю почему, оно бросало на ребенка, его носившего, живой, алый и обольстительный отблеск. Мама, возможно не самая надежная чтница, все же бывала чтницей превосходной, если угадывала в книге истинное чувство: текст она произносила бережно и просто, голос звучал красиво и нежно. Даже в жизни, когда ее умиление или восхищение возбуждали не произведения искусства, а люди, трогательно было замечать, как она уважительно изгоняла из своего голоса, поведения, разговора то вспышку веселья, которая могла бы задеть собеседницу, потерявшую когда-то ребенка, то напоминание о празднике, годовщине, которое могло бы напомнить старику о его преклонных годах, то хозяйственное замечание, которое могло бы показаться докучным молодому ученому. Точно так же, читая прозу Жорж Санд, всегда дышащую этой добротой, этой нравственной безупречностью, которые мама, вслед за бабушкой, была приучена считать главным в жизни (и лишь потом, гораздо позже, уже от меня узнала, что в книгах не это самое главное), она стремилась изгнать из голоса любое жеманство, любой наигрыш, чтобы они не потеснили чувства, она вкладывала в эти фразы всю свою природную нежность, всю неисчерпаемую доброту, к которой они зывали, написанные словно нарочно для ее голоса и, так сказать, целиком укладывавшиеся в регистр ее чуткости. Стараясь попасть в верный тон, она заранее находила сердечную интонацию, которая их продиктовала, хотя не была закреплена в словах; благодаря этой интонации она походя смягчала грубость глагольных времен, придавала несовершенному и совершенному виду оттенок кроткой доброты, печальной нежности, подводила кончавшееся предложение к тому, которое вот-вот должно было начаться, то ускоряя, то замедляя течение слогов, чтобы подчинить их, сколько бы их ни оказалось, единому ритму; в эту прозу, такую обыкновенную, она вдыхала жизнь, исполненную постоянного чувства.

Совесть моя успокоилась, я отдался на милость этой ночи, одарившей меня маминым присутствием. Я знал, что такая ночь не может повториться, что самое огромное в моей жизни желание — чтобы мама была со мной у меня в комнате в печальные ночные часы — слишком противоречило житейским нуждам и желаниям других людей, и сегодняшнее его исполнение так и останется исключительным событием, нарушающим естественный ход вещей. Завтра тоска вернется, а мама уже со мной не останется. Но когда моя тоска унималась, я переставал ее замечать; и потом, завтрашний вечер был еще далеко; я говорил себе, что у меня еще будет время подумать, хотя это время ничем не могло мне помочь, поскольку дело было в чем-то таком, что не зависело от моей воли и казалось поправимым только потому, что еще на какой-то промежуток от меня отстояло.

Вот так долгое время, просыпаясь ночью и опять вспоминая Комбре, я видел всегда только яркое пятно, высветившееся посреди расплывчатых сумерек, как будто часть здания, выхваченная бенгальским огнем или электрическим лучом из окружающей темноты, в которой тонуло все остальное: основанием, довольно широким, оказывались малая гостиная, столовая, начало темной аллеи, по которой приходил г-н Сванн, ни о чем не подозревавший виновник моих печалей, вестибюль, приводивший меня к первой ступеньке лестницы, по которой было так мучительно подниматься, — лестница служила единственной, очень узкой, боковой гранью этой усеченной неправильной пирамиды; а наверху моя спальня и маленький коридорчик с застекленной дверью, через которую входит мама; одним словом, видимая всегда в один и тот же час, отделенная от всего, что вокруг, одна выступающая из темноты, строго необходимая декорация (как та, которую указывают в начале старых пьес для представлений в провинции) в драме моего раздевания; словно Комбре существовал только в виде двух этажей, соединенных тоненькой лестницей, и там всегда было семь часов вечера. По правде сказать, если бы меня спросили, я бы ответил, что это еще не весь Комбре и время дня там бывало и другое. Но мое воспоминание обо всем этом вернулось бы только сознательным усилием памяти, умственной памяти, а в тех сведениях о прошлом, какие возможно добыть благодаря такому усилию, ничего не оставалось от самого этого прошлого, так что мне бы и не захотелось никогда мечтать о том Комбре. На самом деле все это для меня умерло.

Навсегда умерло? Возможно.

Во всем этом много случайного, и вторая случайность, случайность нашей смерти, часто не позволяет нам подолгу пользоваться благами первой.

Мне кажется весьма разумным кельтское поверье, будто души тех, кого мы потеряли, пребывают в плену, заключенные в некоем низшем существе, в животном, растении, неодушевленном предмете, и на самом деле они для нас утрачены вплоть до того дня, который для многих так никогда и не наступает, дня, когда мы вдруг пройдем мимо того дерева, вступим в обладание тем предметом, в котором они томятся. Тогда они вздрогнут, позовут нас, и, как только мы их узнаем, чары рассеются. Освобожденные нами, они победили смерть, и возвращаются к нам, и живут дальше.

То же самое с нашим прошлым. Пытаться его вернуть — напрасный труд, все усилия нашего разума бесполезны. Оно прячется не у себя дома и совершенно не там, где ему полагается, а в какой-нибудь вещи (и ощущении, которое вызовет у нас эта вещь), о которой мы

меньше всего думаем. И только случай распорядается тем, встретится ли нам эта вещь или так и не встретится до самой смерти.

Уже много лет прошло с тех пор, как все, что было в Комбре, перестало для меня существовать, кроме драмы отхода ко сну и ее подмостков, как вдруг однажды зимним днем я вернулся домой и мама, видя, что я замерз, предложила мне, против обыкновения, попить чаю. Сперва я отказался, а потом, не знаю почему, передумал. Она послала за теми коротенькими и пухлыми печеньками, их еще называют “мадленками”, которые словно выпечены в волнистой створке морского гребешка. И, удрученный хмурым утром и мыслью о том, что завтра предстоит еще один унылый день, я машинально поднес к губам ложечку чаю, в котором размочил кусок мадленки. Но в тот самый миг, когда глоток чаю вперемешку с крошками печенья достиг моего нёба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны, ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна — так бывает от любви, -ив меня хлынула драгоценная субстанция; или, вернее сказать, она не вошла в меня, а стала мною. Я уже не чувствовал себя ничтожным, ограниченным, смертным. Откуда взялась во мне эта безмерная радость? Я чувствовал, что она связана со вкусом чая и печенья, но бесконечно шире, и что природа ее, должно быть, иная. Откуда она? Что означает? Как ее задержать? Я отпиваю второй глоток, и он не приносит мне ничего вдобавок к первому, отпиваю третий, и он дает чуть меньше, чем второй. Пора остановиться, похоже, что сила напитка убывает. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, а во мне. Он ее разбудил, но ничего в ней не понимает и только может повторять до бесконечности, все с меньшей уверенностью, одно и то же свое свидетельство, которое я не умею истолковать, а я-то хочу хотя бы выманить это свидетельство еще раз, в первозданном виде, заполучить в свое распоряжение, чтобы окончательно разобраться. Отставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Искать истину надлежит ему. Но как? Тяжелая неуверенность всякий раз, когда разум сознает, что выходит за свои пределы, когда он, разведчик, сам и есть та неведомая страна, которую ему надлежит разведывать и в которой все его снаряжение ни на что не годится. Разведывать? Нет, еще и творить. Он столкнулся с чем-то, чего еще нет и что только он может создать, а потом осветить собственным светом.

И вновь я начинаю гадать, что это за незнакомое состояние, которое никак не поддается логическому истолкованию, хотя явно сопряжено с таким блаженством и настолько реально, что все остальное меркнет рядом с ним. Я хочу попытаться его вернуть. Мысленно отступаю назад, в тот миг, когда выпил первую ложечку чаю. Возвращаюсь в то же самое состояние, ничего нового не проясняется. Прошу свой разум еще об одном усилии, еще раз вернуть мне ускользающее ощущение. И чтобы ничто не отвлекло его от попытки вновь поймать это самое ощущение, устраняю все препятствия, все посторонние мысли, защищаю свои уши и внимание от всех звуков из соседней комнаты. Но чувствую, как мой разум устаёт, ничего не достигая, и тогда я принуждаю его, наоборот, отвлечься — от чего раньше его удерживал, — подумать о чем-нибудь другом, встряхнуться перед решительной попыткой. Потом во второй раз я создаю вокруг него пустоту, вновь предлагаю ему совсем еще недавний вкус этого первого глотка и чувствую, как что-то во мне вздрагивает и сдвигается с места, стремится всплыть на поверхность, словно где-то там, на большой глубине, высвободили якорь; не знаю, что это, оно медленно поднимается; я чувствую сопротивление и слышу гул преодолеваемого пространства.

Конечно, то, что там бьется внутри меня, — это, скорее всего, образ, зрительное воспоминание, которое связано с этим вкусом и пытается пробиться ко мне вслед за ним. Но борьба идет слишком далеко, ничего не разобрать; я насилу могу разглядеть нейтральное отражение, в котором расплывается неуловимый водоворот колышущихся красок; но я не различаю форм, не могу попросить у этого образа, словно у единственно возможного переводчика, чтобы он растолковал мне свидетельство своего современника, своего неразлучного спутника, вкуса, попросить у него, чтобы он мне сказал, о каком именно обстоятельстве, о какой минувшей эпохе идет речь.

Явившись из невообразимой дали, сила притяженья, скрытая в другом, похожем событии, требует, будоражит, поднимает со дна моей души это воспоминание, это давнее событие, но пробьется ли оно на свет, на поверхность моего сознания? Не знаю. Теперь я уже ничего не чувствую, оно замерло, а может, опять опустилось на дно; кто знает, всплывет ли оно еще когда-нибудь из темноты? Мне пришлось раз десять начинать сначала, наклоняться над ним. И всякий раз трусость, которая подбивает нас увильнуть от любой сложной задачи, от любого важного труда, советовала мне оставить эту затею, пить себе свой чай и думать просто о сегодняшних неприятностях, о завтрашних заботах, словом, не утруждая себя, пустить мысли блуждать по кругу.

И вдруг воспоминание воскресло. Такой вкус был у кусочка мадленки, которым по воскресным утрам в Комбре (потому что в этот день до обедни я сидел дома) угощала меня тетя Леони, когда я приходил к ней в спальню поздороваться, причем сначала она макала его в свой чай или липовый отвар. При виде мадленки я ничего не вспомнил, пока ее не попробовал; в самом деле, я же не ел мадленок с тех самых пор, хотя часто видел их на полках в кондитерских, и потому их образ отделился у меня от дней, проведенных в Комбре, и связался с другими, более недавними; в самом деле, из тех давних воспоминаний, давно заброшенных и выпавших из памяти, ничего не уцелело, все рассыпалось; и наверно, потому все вообще формы — в том числе и форма маленькой сдобной ракушки, такой чувственно-пухлой в своих строгих и благочестивых оборках, — или совсем распались, или, впад в дремоту, уже не в силах были ожить и проникнуть в сознание. Но когда после смерти людей, после разрушения вещей ничего не остается из минувшего, — тогда одни только запах и вкус, более хрупкие, но и более живучие, менее вещественные, более стойкие, более верные, еще долго, как души, живут в развалинах всего остального и напоминают о себе, ждут, надеются и неутомимо несут в своих почти неощутимых капельках огромную конструкцию воспоминанья.

И как только я узнал вкус пропитанного липовым чаем кусочка печенья, которым угощала меня тетя (хоть и не понял сразу и только намного позже сумел разобраться, почему это воспоминание наполняло меня таким счастьем), сразу же выходивший на улицу старый серый дом, где была ее спальня, театральной декорацией пристроился к флигельку, возведенному для родителей во дворе (это и было то самое выхваченное из темноты пятно — единственное, что я до сих пор помнил); а вместе с | домом и город, во всякое время с утра и до вечера и в любую погоду, и Площадь, куда меня выпускали до завтрака, улицы, по которым я шагал с поручениями, дороги, по которым ходили гулять, когда было тепло. И как в той игре, которой забавляют себя японцы, окуная в фарфоровый сосуд с водой комочки бумаги, поначалу бесформенные, которые, едва намочив, расправляются, обретают очертания, окрашиваются, становятся разными, превращаются в цветы, в домики, в объемных узнаваемых человечков, — так теперь все цветы из нашего сада и из парка г-на Сванна, и белые кувшинки на Вивонне[57], и добрые люди в деревне, и их скромные жилища, и церковь, и весь Комбре с его окрестностями, — все это обрело форму и плотность, и все — город и сады — вышло из моей чашки с чаем.

Комбре издали, за десять лье, возникал в окне поезда, когда мы подъезжали к нему на последней неделе перед Пасхой, и поначалу весь целиком сводился к церкви, которая его представляла, вещала о нем и от его имени далям, а когда подъедешь поближе, делалось видно, как к подолу ее уходящей ввысь темной накидки, в чистом поле, сгрудившись на ветру, как овцы вокруг пастушки, жмутся ворсистые серые спины домов, тут и там окруженные остатками идеально круглой средневековой крепости, точь-в-точь городок со старинной картинкой. Сам Комбре выглядел не слишком жизнерадостно, потому что его улицы, застроенные домами из темно-серого местного камня, — причем к каждому дому вели каменные ступени, и каждый был увенчан островерхой крышей, бросавшей густую тень на пространство перед фасадом, — эти улицы были темноваты, и, едва день начинал клониться к вечеру, в “залах” приходилось поднимать шторы; и те из них, что носили строгие имена святых (связанных подчас с историей первых сеньоров Комбре), — улица св. Илария, улица св. Иакова, где стоял дом моей тетки, улица св. Хильдегарды, вдоль которой тянулась решетка сада, и улица Святого Духа, на которую выходила садовая калитка, — эти улочки Комбре существовали в таком дальнем уголке моей памяти, окрашенном для меня настолько по-другому, чем теперешний мир, что на самом деле и все они, и церковь, возвышавшаяся над ними на Площади, представляются мне еще менее настоящими, чем картинка волшебного фонаря; и в иные минуты мне кажется, что вновь перейти улицу св. Илария, снять комнату на Птичьей улице, в старой гостинице “Пронзенная птица”, из подвальных окон которой тек запах стряпни, который до сих пор иногда пульсирует во мне теплыми толчками, — это было бы все равно что вступить в контакт с потусторонним миром, куда более сверхъестественный, чем, к примеру, познакомиться с Голо и поболтать с Женевьевой Брабантской.

Кузина деда, моя двоюродная бабка, владелица дома, где мы гостили, приходилась матерью той самой тете Леони, которая после смерти мужа, дяди Октава, не пожелала покидать сначала Комбре, потом в Комбре — свой дом, потом комнату, потом постель и больше не “сходила вниз”, вечно прячась в зыбкой стихии горя, телесной немощи, хвори, навязчивых идей и набожности. Ее комнаты были обращены на улицу св. Иакова, которая где-то там, дальше, упиралась в Большой луг (ничего общего с Малым лугом, зеленеющим в центре города, там, где сходились вместе три улочки): однообразная, серая эта улица, где почти к каждой двери вели три высокие ступени, сложенные из песчаника, казалась ущельем, которое прорубил ваятель готических статуй прямо в камне, чтобы вырезать ясли или распятие. В сущности, тетя жила уже только в двух смежных комнатах, после обеда переходя из одной в другую, пока соседнюю проветривали. Такие провинциальные комнаты сродни тем краям, где целые массы воздуха или морской воды светятся или благоухают мириадами невидимых нам простейших: они околдовывают нас множеством запахов, излучаемых добродетелью, благоразумием, привычками, всей этой потаенной, невидимой жизнью, насыщенной и нравоучительной, и все это словно нагнетается в атмосфере; эти запахи, еще, конечно, природные и погодные, подобно запахам ближних полей, но уже одомашненные, очеловеченные и настоянные внутри жилья, изысканное прозрачное желе, произведение искусства, созданное из всех плодов, послевших за год и перебравшихся из сада в буфет; каждый из своего времени года, но всегда сподручные и домашние, умеряющие кислотку чистого желе мягкостью теплого хлеба, запахи досушие и дотошные, как деревенские башенные часы, запахи празднующиеся и степенные, беспечные и осмотрительные, бельевые, утренние, набожные, упоенные блаженным покоем, от которого на душе становится только тревожнее, и в то же время прозаичностью, которая служит великим источником поэзии для того, кто окунается в эту жизнь, но не живет ею. Воздух там был насыщен настоем такой питательной, такой лакомой тишины, что я всегда входил в нее словно облизываясь, особенно в те первые еще холодные утра пасхальной недели, когда я наслаждался этим воздухом острее, потому что приехал в Комбре совсем недавно: перед тем как войти поздороваться с тетей, приходилось немного подождать в первой комнате, куда солнце, еще зимнее, заглядывало погреться у огня, уже разведенного между двух кирпичей и заливавшего всю комнату вязким запахом сажки, намекавшим не то на переднюю стенку огромной деревенской печи, не то на колпак над камином в замке, рядом с которыми хочется, чтобы снаружи был дождь, снег, даже какое-нибудь бедствие вроде потопа, чтобы к уюту затворничества добавлялась поэзия ненастья; я проходил несколько шагов от молитвенной скамеечки до кресел, обтянутых переливчатым бархатом, с неизменно наброшенным на них кружевным подголовником; и огонь пропекал аппетитные запахи, комочками теснившиеся в комнатном воздухе: сырая, солнечная утренняя прохлада уже замесила это тесто, оно уже взшло, и вот теперь огонь его прославлял, подрумянивал, моршил, вздувал, превращая в невидимое и осязаемое провинциальное пирожное, огромное пирожное-слояку; и, едва отведав более пряных, более тонких, всем известных, но и более черствых ароматов чулана, комода, узорных обоев, я всегда с тайным вождением опять и опять увязал в усредненном, липком, душном, неудобоваримом и фруктовым запахе цветастого покрывала.

Я слышал, как тетя в соседней комнате вполголоса говорит сама с собой. Она всегда разговаривала довольно тихо, полагая, что в голове у нее что-то надорвалось, и едва держится, и от громкого разговора может сдвинуться с места, но даже наедине с собой она то и дело что-нибудь произносила, веря, что это полезно для горла, чтобы кровь не застаивалась, поскольку от застоя крови у нее учащались удушье и приступы страха; кроме того, совершенно ничем не занятая, она придавала малейшим своим ощущениям огромную важность; ей казалось, что они все время меняются, и ей трудно было хранить эти перемены про себя, так что за неимением наперсника, с которым можно было бы поделиться, она сообщала о них самой себе в вечном монологе, который был ее единственным делом. К сожалению, привыкнув думать вслух, она не всегда заботилась, есть ли кто-нибудь в соседней комнате, и я часто слышал, как она говорила себе: “Не забыть бы, что я не спала” (важнейшим ее притязанием было то, что она никогда не спит, и все мы уважали и постоянно учитывали это в разговорах: утром Франсуаза не “будила” ее, а “приходила” к ней; когда тете хотелось вздремнуть днем, говорили, что ей хочется “подумать” или “отдохнуть”; а когда ей случалось посреди болтовни уж вовсе забыться и у нее вырывалось: “это меня разбудило” или “мне приснилось”, — она краснела и поскорее исправляла оплошность.

Мгновение спустя я входил поцеловать ее; Франсуаза тем временем заваривала чай; а если тетя чувствовала беспокойство, она просила, чтобы ей заварили травяной отвар, и мне поручалось отмерить из аптекарского пакетика на тарелочку липовый цвет, который потом надо было бросить в кипящую воду. Высохшие стебельки закручивались в причудливую сетку, в завитушках которой проглядывали бледные цветки, словно какой-нибудь художник постарался расположить их поживописнее. Листики, уже сами на себя непохожие, напоминали все что угодно: то прозрачное мушиное крылышко, то белую оборотную сторону ярлычка, то розовый лепесток; одни успели раскрошиться, другие тесно переплелись между собой, — они громоздились горкой и были похожи на материал, из которого сейчас будут вить гнездо. Множество мелких ненужных подробностей, которые были бы уничтожены промышленным изготовлением — чарующая расточительность аптекаря, — радовали меня, словно книга, в которой с восторгом обнаруживаешь имя знакомого, и понятно было, что это вправду стебельки настоящих лип, точно таких, как на Вокзальной улице, неузнаваемые именно потому, что это не копии, а они сами, и потому, что состарились. И все новые черты оказывались лишь метаморфозами прежних: в маленьких серых шариках я узнавал зеленые бутоны, не дозревшие до срока; но главное — розовый блеск, призрачный, нежный, помогавший углядеть цветы в хрупком лесу

стельбков, на которых они были подвешены подобно маленьким золотым розам — вроде свечения, еще заметного на каменной кладке на месте стершейся фрески, по которому еще можно отличить те части нарисованного дерева, которые были “цветными”, от монохромных, — розовый блеск показывал мне, что именно эти лепестки до того, как расцветить аптекарский пакетик, наполняли благоуханием весенние вечера. Они еще хранили свой цвет, розовый, как пламя церковной свечи, но уже наполовину угасший и чуть теплящийся в этой их нынешней приглушенной жизни, в этих цветочных сумерках. Еще немного, и вот уже тетя макала мадленку в свой любимый обжигающе горячий настой, хранивший вкус мертвых листьев и увядших цветов, и, как только печенье размокнет, протягивала кусочек мне.

Рядом с ее кроватью стоял большой желтый комод лимонного дерева и столик, служивший чем-то вроде аптеки и вместе с тем алтаря, где под статуэтку Богоматери и бутылку воды “Виши-Селестен” были подложены молитвенники и рецепты, все, что нужно, чтобы лежа в постели аккуратно исполнять религиозные и врачебные предписания, не забывать, когда вечерня, когда принять пепсин. По другую сторону кровати тянулось окно, перед тетиными глазами раскрывалась улица, и она тешила себя тем, что, наподобие персидских царей[58], читала по ней с утра до вечера повседневную, но уходящую корнями в глубокую древность хронику Комбре, которую потом обсуждала с Франсуазой.

И пяти минут не проходило, как тетя отсылала меня, опасаясь, как бы я ее не утомил. Она подставляла моим губам свой печальный лоб, бледный и увядший, на который в этот ранний утренний час она еще не успевала начесать накладные волосы, и проволочные ребра каркаса просвечивали, как острия тернового венца или бусинки четок, — и говорила мне: “Ладно, детка, ступай собирайся к обедне; а если внизу увидишь Франсуазу, скажи ей, хватит, мол, там с вами прохладиться, пускай идет скорее наверх, поглядит, не нужно ли мне чего”.

В самом деле, Франсуаза, которая годами была у нее в услужении и тогда еще не догадывалась, что однажды перейдет к нам, несколько пренебрегала тетей в те месяцы, когда мы гостили. В моем детстве было время, когда мы еще не ездили в Комбре, а тетя Леони проводила зимы в Париже у своей матери; тогда я совсем плохо знал Франсуазу, поэтому первого января, собираясь со мной в комнату к двоюродной бабушке, мама вкладывала мне в руку пятифранковик и говорила: “Главное, не перепутай. Не давай монетку, пока я не скажу: “Здравствуйте, Франсуаза!” — и не трону тебя за плечо”. Едва мы вступали в темную тетину прихожую, как в полумраке, под гофрированными складками ослепительного, жесткого и хрупкого, словно из сахарной канители, чепца, замечали разбегающиеся лучики улыбки, предвосхищавшей благодарности. Это и была Франсуаза — она неподвижно стояла в раме дверки, ведущей в коридор, словно статуя святой в нише. Когда глаза мои немного привыкали к этому церковному сумраку, я читал на ее лице бескорыстную любовь к человечеству и умиленное почтение к высшим классам, которые возбуждала в благороднейших уголках ее сердца надежда на новогодний подарок. Мама яростно щипала меня за плечо и громко говорила: “Здравствуйте, Франсуаза!” По этому сигналу пальцы мои разжимались и я выпускал монету, которую принимала ее нерешительная, но все же протянутая рука. Но с тех пор как мы стали ездить в Комбре, Франсуазу я узнал лучше, чем всех остальных, мы были ее любимчики, она питала к нам, по крайней мере в первые годы, такое же уважение, как к тете, но любила нас крепче: мало того что мы имели честь принадлежать к семье (а к незримым узам, через которые одна и та же кровь протекает по жилам всех членов семьи, она питала не меньшее почтение, чем автор древнегреческих трагедий), но нам прибавляло очарования и то, что мы для нее не были привычными хозяевами. И до чего радостно встречала она нас, когда мы приезжали накануне Пасхи, как сокрушалась, что погода испортилась, — потому что в этот день часто дул ледяной ветер, — пока мама расспрашивала ее о ее дочке и двух племянниках, и слушается ли внук, и чему его будут учить, и похож ли он на свою бабушку.

А когда они оставались одни, мама, зная, что Франсуаза до сих пор оплакивает своих родителей, умерших много лет назад, ласково о них заговаривала, в мельчайших подробностях расспрашивала об их жизни.

Она догадалась, что Франсуаза не любит зятя и что он отравляет ей радость встреч с дочерью, с которой при нем она не обо всем может поговорить. И вот, когда Франсуаза отправлялась к ним в гости за несколько лье от Комбре, мама с улыбкой говорила: “Не правда ли, Франсуаза, если Жюльену придется уехать по делам и вы на целый день останетесь вдвоем с Маргаритой, вы как-нибудь примиритесь с этой неприятностью?” А Франсуаза со смехом отвечала: “Мадам у нас все знает, мадам у нас вострее рентгена (“рентген” она выговаривала с видимым усилием и посмеиваясь над собой, что вот, мол, она, неученая, произносит такое умное слово), который привозили к госпоже Октав, а тот рентген видит ваше сердце насквозь[59]” — и тут же исчезала, стесняясь того, что ею занимаются, и, может быть, не желая, чтобы видели, как она плачет; мама первая дала ей это сладостное чувство — сознавать, что ее жизнь, ее простецкие радости и горести могут интересовать другого человека, радовать или печалить кого-то, кроме нее. Тетя смирилась с тем, что Франсуаза уже не принадлежит ей всецело во время наших наездов: она знала, как мама ценит помощь этой умной и расторопной служанки, которая и в пять утра на кухне, в чепце с ослепительными и тугими, будто фарфоровыми, складками, была так пригожа, словно собралась к воскресной обедне, которая все делала хорошо, больная ли, здоровая ли — работала как лошадь, но бесшумно, с таким видом, словно ничего особенного не делает, — единственная из тетиних служанок, которая, если мама просила горячей воды или кофе, приносила их по-настоящему горячими; она была из тех слуг, что с первого взгляда меньше всех в доме нравятся постороннему, может быть, потому, что не дают себе труда его очаровать и не проявляют услужливости, прекрасно зная, что гость им совершенно не нужен, что хозяева скорее перестанут его приглашать, чем откажутся от них; но зато именно этими слугами больше всего дорожат хозяева, зная, на что они на самом деле способны, и не заботясь о легкомысленных прикрасах, об угодливой болтовне, какая производит благоприятное впечатление на гостя, но часто прикрывает неисправимую никчемность. Когда Франсуаза, проследив за тем, чтобы у родителей было все, что им нужно, в первый раз поднималась к тете, давала ей пепсин и спрашивала, что подать на завтрак, сплошь и рядом ей сразу приходилось высказывать свое мнение или давать объяснения насчет какого-нибудь важного события.

— Франсуаза, представьте себе, госпожа Гупиль зашла за сестрой на добрых четверть часа позже; еще хоть чуть-чуть замешкается по дороге и, того и гляди, опоздает к возношению даров.

— Да уж конечно, с нее станется, — отвечала Франсуаза.

— Франсуаза, приди вы на пять минут раньше, вы бы видели, как госпожа Эмбер несла спаржу вдвое толще той, что у мамыши Калло; разузнайте-ка у ее прислуги, где она ее достала. Вы-то в нынешнем году кладете спаржу во все подливки, вот и купили бы такую же для наших путешественников.

— Может, спаржа была от господина кюре, с них станется, — говорила Франсуаза.

— Бог с вами, Франсуаза, — отвечала тетя, пожимая плечами, — ну при чем тут господин кюре? Сами знаете, что спаржа у него растет противная, маленькая, никудышная. А та, говорю вам, была толщиной с руку. Не с вашу, конечно, а с мою несчастную руку, которая за этот год опять так исхудала... Франсуаза, слышали этот трезвон, от которого у меня голова чуть не лопнула?

— Нет, госпожа Октав.

— Ах, милочка, видно, голова у вас крепкая, слава господу. Это Магелонша приходила за доктором Пипро. Он тут же вышел вместе с ней, и они свернули на Птичью улицу. Там небось ребенок заболел.

— Ох ты господи, — вздыхала Франсуаза: стоило ей услышать о несчастье, приключившемся с кем-нибудь незнакомым, пускай даже в отдаленной части земли, как она тут же начинала причитать.

— Франсуаза, а по ком это звонил колокол? Ах боже мой, это, наверно, по госпоже Руссо. Как это я забыла, что она скончалась прошлой ночью. Да, пора уже Господу призвать меня к себе, я просто не понимаю, что у меня с головой творится с тех пор, как не стало бедняжки Октава. Но вы тут теряете со мной время, голубушка.

— Нет-нет, госпожа Октав, мое время недорого стоит: оно нам от Создателя даром досталось. Я только пойду взгляну, как бы огонь не потух.

Так Франсуаза с моей тетей вместе оценивали на этом утреннем заседании первые события дня. Но подчас эти события выступали в особенно таинственном и важном обличье, и тетя чувствовала, что не в силах дожидаться, когда Франсуаза к ней поднимется, и по дому разносились четыре грозных звонка.

— Послушайте, госпожа Октав, принимать пепсин еще рано, — говорила Франсуаза. — Или у вас слабость?

— Да нет, Франсуаза, — говорила тетя, — вернее, да, конечно, вы же знаете, что я теперь в редкие минуты не чувствую слабости; рано или поздно я умру, как госпожа Руссо, и даже понять не успею, что происходит, но я вам не потому звонила. Поверите ли, я только что видела, как вот вас вижу, госпожу Гупиль с какой-то незнакомой девочкой. Сходите-ка к Камю, купите соли на два су. Я удивлюсь, если Теодор не скажет вам, что за девочка.

— Да это дочка господина Пюпена, — говорила Франсуаза, которой проще было дать немедленное разъяснение, поскольку с утра она уже побывала у Камю дважды.

— Дочка господина Пюпена? Да что вы говорите, Франсуаза, голубушка! Ни за что бы ее не узнала!

— А я и не говорю, что это старшая, госпожа Октав, я имею в виду девочку, ту, которая в Жуи в пансионе. Сдается мне, что нынче утром я ее уже видела.

— Ну разве что так, — говорила тетя. — Поди, на праздники приехала! Ну конечно! Тут и думать нечего, она же должна была приехать на праздники. Но тогда почему мы не видели госпожу Сазра, когда она звонила в дверь к своей сестре перед завтраком? А, ясно. Я видела парнишку от Галопена с тортом! Помяните мое слово, торт был для госпожи Гупиль.

— Если только у госпожи Гупиль гости, госпожа Октав, вы очень скоро увидите, как все потянутся домой, потому что время уже не очень-то раннее, — говорила Франсуаза, которая спешила вниз, чтобы заняться завтраком, но не прочь была оставить тете надежду на такое развлечение.

— Ну, это не раньше полудня, — отвечала тетя покорным тоном, украдкой устремляя тревожный взгляд на стенные часы: ей не хотелось, чтобы люди видели, что она, затворница, испытала такую пылкую радость, узнав, что у г-жи Гупиль гости, и горюет оттого, что придется ждать еще больше часа. — Вдобавок это совпадет с моим завтраком! — добавила она вполголоса, обращаясь сама к себе. Собственный завтрак был для нее достаточным развлечением, и ей не хотелось, чтобы оно совпало с другим. — Вы хоть не забудете подать мне омлет в мелкой тарелке? — В доме только эти мелкие тарелки были с картинками, и тетя всякий раз забавлялась тем, что читала надписи на той из них, в которой ей подавали кушанье. Она надевала очки и разбирала: Али-Баба и сорок разбойников, Аладдин и волшебная лампа[60], и, улыбаясь, приговаривала: “Прекрасно, прекрасно”.

— Я бы сходила к Камю... — говорила Франсуаза, видя, что тетя ее больше туда не пошлет.

— Нет-нет, уже не надо, это и впрямь мадмуазель Пюпен. Франсуаза, голубушка, мне жаль, что я зря заставила вас подниматься наверх.

Но тетя знала, что не зря она звонила Франсуазе, потому что в Комбре особа, “которую никто не знает”, существо такое же неправдоподобное, как какой-нибудь мифологический бог, но на самом-то деле никто и не упомнит, чтобы на улице Святого Духа или на Площади явилось такое чудо, а добросовестные разыскания не помогли бы низвести легендарный персонаж до пропорций “человека, которого кто-то знает”, иногда лично, иногда отвлеченно, — знает его общественное положение или такую-то степень родства с жителями Комбре. Незнакомые оказывались то сыном г-жи Сотон, вернувшимся с военной службы, то племянницей аббата Пердро, вышедшей из монастыря, то братом нашего кюре, то сборщиком налогов из Шатодёна, который только что вышел в отставку или приехал на праздники. Замечая этих незнакомцев, вы проникались верой в то, что в Комбре люди, которых никто не знает, — это просто те, кого не сразу признали и опознали. А ведь г-жа Сотон и кюре очень заранее предупреждали, что ожидают своих “путешественников”. Бывало, вечером, вернувшись домой, я поднимался к тете рассказать о прогулке, и если я неосторожно упоминал о том, что возле Старого моста мы повстречали человека, которого не знает дедушка, то она восклицала: “Человек, которого не знает дедушка! Быть такого не может!” Все же, несколько взволнованная этой новостью, она хотела выяснить все досконально и требовала наверх дедушку. “Кого это вы повстречали близ Старого моста, дядя? Неужели кого-то незнакомого?” — “Нет-нет, — отвечал дедушка, — это был Проспер, брат

добавляла: — “А, ну ладно, — говорила тетя, — говорила тетя и слегка краснея; потом пожимала плечами и насмешливо добавляла: — А он мне тут рассказывал, что вы встретили незнакомого человека!” И мне наказывали впредь быть осмотрительнее и не будоражить тетю необдуманными замечаниями.

В Комбре все так хорошо знали всех животных и людей, что если тете попадалась на глаза собака, “которую она совершенно не знала”, она непрестанно думала об этой собаке и посвящала этому непостижимому явлению все свои логические способности и часы досуга.

— Должно быть, это собака госпожи Сазра, — говорила Франсуаза без особой уверенности, а просто желая умиротворить тетю, чтобы она не “ломала себе голову”.

— А то я не знаю собаки госпожи Сазра! — отвечала тетя: ее критический ум не так легко смирялся с фактами.

— Ну, тогда это новая собака, которую привез из Лизье господин Галопен.

— Ну разве что так.

— Сдается мне, славное создание эта собачка, — добавляла Франсуаза, почерпнув сведения от Теодора, — умнощая, как человек, всегда веселая, всегда дружелюбная, а уж ласковая какая. Где это видано, чтобы такая молодая собачка была уже такая обходительная. Госпожа Октав, мне надо идти, нет у меня времени развлекаться, скоро уже десять, плита не растоплена, а мне еще спаржу ошпивать.

— Что такое, Франсуаза, опять спаржа! Да вы в этом году просто больны спаржей, вы ею наших парижан обкормите!

— Нет-нет, госпожа Октав, они это любят. Придут из церкви с аппетитом, и увидите, уплетут за милую душу.

— Но они уже, наверное, в церкви — вам и впрямь лучше поторопиться. Ступайте присмотреть за завтраком.

Покуда тетя рассуждала с Франсуазой, я шел с родителями к обедне. Как я любил нашу церковь, как ясно вижу ее еще и теперь! Мы проходили по старой покосившейся паперти, черной, сплошь в выбоинках, как шумовка; и сама паперть, и чаша со святой водой, к которой она вела, истерлись по краям до глубоких вмятин, словно, повторяясь веками, легкие касания накидок на плечах у приходивших в церковь крестьянок и робких пальцев, бравших святую воду, обретали разрушительную силу, искривляли поверхность камня и испещряли его бороздами, какие оставляет колесо телеги на тумбе, задевая ее день за днем. Надгробные плиты внутри церкви, под которыми, наподобие духовного подножия для хоров, покоились благородные останки комбрейских аббатов, были уже не просто плиты из безжизненного и твердого камня: время смягчило их, они струились, как мед, за пределы своих обтесанных граней, и переплескивались через них белесой волной, увлекая в своем потоке цветущие готические прописные буквы, затопляя белые мраморные фиалки; но, растекились, они потом вновь сливались воедино, еще больше ужимая немногословную латинскую надпись, внося новую прихотливость в расположение этих усеченных знаков, сближая две буквы в слове, а остальные безмерно растягивая. Витражи нашей церкви никогда не сверкали так ярко, как в ненастные дни, так что, даже если снаружи было пасмурно, можно было не сомневаться, что внутри ясно; один витраж во всем своем величии был заполнен единственным персонажем, похожим на карточного короля, который жил наверху, под церковным сводом, между небом и землей (и бывало, что в будний день, в полдень, до начала богослужения, в одну из тех редких минут, когда проветренная, пустая церковь, более человечная, роскошная, сверкавшая в солнечном свете своим пышным убранством, обретала со всеми ее каменными статуями и цветными стеклами почти жилой вид, как просторный холл гостиницы в средневековом стиле, в косом синем отблеске этого витража на мгновение преклоняла колени г-жа Сазра, положив на соседнюю молитвенную скамеечку перевязанный пакетик с пирогами, которые она только что забрала у кондитера напротив и несла домой к обеду); на другом розовая снежная гора, у подножия которой кипела битва, словно покрывала инеем сами витражные стекла, вздувая их своей мутной изморозью, как будто это был не витраж, а облепленное застывшими снежинками окно, освещенное зарей (возможно, той самой, что облагривала заалтарный образ такими свежими тонами, что казалось, они только на мгновение вспыхнули от света, идущего извне, который вот-вот померкнет, а не от краски, навсегда приставшей к камню); и все стекла были такие старинные, что их серебристая древность то тут, то там искрилась пылью веков и обнажала блистательную и протертую до дыр основу нежной стеклянной шпалеры. Был там один витраж, высокий, разделенный на сотню маленьких прямоугольных стеклышек, в которых преобладал синий цвет, — они напоминали колоду карт вроде тех, которыми забавлялся король Карл VI; но вот сквозь него не то проблескивал луч, не то мой взгляд, скользя, расшевеливал этот подвижный и драгоценный пожар, вспыхивавший и угасавший в стекле, — и мгновением позже оно уже переливалось и блестело, как павлиний хвост, потом дрожало и волнилось пылающим фантастическим дождем, сочившимся с высоты темного каменного свода, вдоль сырых стен, словно я вслед за родителями, несшими с собой молитвенники, шел вглубь какого-то грота, разукрашенного радугой извилистых сталактитов; еще миг — и ромбики витражных стекол обретали прозрачную глубину и нерушимую твердость сапфиров, плотно пригнанных один к другому на поверхности огромного наперсного креста, но за ними угадывалась, милее всех этих сокровищ, мгновенная улыбка солнца; распознать ее в синей нежной волне, омывавшей эти драгоценные камни, было так же легко, как в булыжниках площади, и в соломе, устилавшей рынок; и даже в наши первые воскресенья перед самой Пасхой, сразу после нашего приезда, когда земля была еще голая и черная, эта улыбка в утешение мне раскидывала, как в какую-нибудь незапамятную весну в царствование преемников Людовика Святого, свой ослепительный золоченый ковер стеклянных незабудок.

Две шпалеры изображали коронование Есфири[61] (предание утверждало, что Артаксеркса изобразили похожим на одного из французских королей, а Есфирь — на даму из рода Германтов, в которую он был влюблен), краски полиняли, и лица от этого казались живее, выразительнее, светлее: немного розового цвета витало на губах Есфири, вылезая за их контур, желтый цвет ее платья так масляно лоснился, что словно добавлял плотности, осязаемости фигуре, выступавшей вперед из густого воздуха; а на фоне зеленой листвы, еще яркой в нижних частях шелково-шерстяного полотнища, но выцветшей сверху, особенно бросалась в глаза над темными стволами бледность высоких желтеющих ветвей, золотистых и словно полустертых косыми и резкими лучами невидимого солнца. Все это, а уж тем более драгоценные реликвии, подаренные церкви людьми, для меня почти легендарными (золотой крест, выкованный, как считалось, святым Элигием[62] и подаренный Дагобертом[63], могильная плита сыновей Людовика Немецкого[64], порфировая с эмалью на меди), — пока мы пробирались к нашим стульям, я шел по церкви, как по долине фей, где восхищенный крестьянин замечает то в скале, то в дереве, то в болоте осязаемые следы их сверхъестественного появления, — все это вместе делало церковь в моих

глазах совершенно особенной, не такой, как весь город: ее здание располагалось, если можно так выразиться, в четырех измерениях, из которых четвертое было Время, и несло сквозь века свой неф, который, пролет за пролетом, придел за приделом, словно преодолевал и переплывал не просто десятки метров, но и сменявшиеся эпохи, выходя из них победителем; в толще стен она укрывала грубый и свирепый одиннадцатый век со всеми его тяжелыми замурованными арками, которые обрекла на слепоту стена из грубого песчаника, так что он проглядывал наружу лишь через глубокую впадину возле паперти, с которой начиналась лестница на колокольню, но и там его маскировали изящные готические аркады, кокетливо толпясь перед ним, как прячут старшие сестры неотесанного, капризного и скверно одетого младшего брата, с улыбкой заслоняя его от посторонних; и она вздымала к небу над Площадью свою башню, выдавшую в старину Людовика Святого, — казалось, она и сейчас его видит — и вместе со своей криптой погружалась в меровингскую ночь, где, ведя нас на ощупь под темным сводом, пронизанным мощными ребрами, словно крыло огромной каменной летучей мыши, Теодор и его сестра освещали нам свечой гробницу внучки Сигеберта[65], глубокая вмятина на которой, похожая на след ископаемого, осталась “от хрустальной лампы, которая в тот вечер, когда была убита франкская принцесса, сорвалась сама собой с золотых цепей, на коих была подвешена на месте нынешней апсиды[66], погрузилась в камень, и он мягко поддался под ее грузом, причем хрусталь не разбился и пламя не угасло”[67].

Что до апсиды комбрейской церкви, то стоит ли в самом деле о ней говорить? Уж такая она была грубая, ни художественной красоты, ни даже религиозного порыва. Перекресток, на который она выходила, шел под уклон вниз, поэтому снаружи ее грубая кладка возносилась над основанием из нешлифованного песчаника, утыканного щербнем, и в этой стене не было ничего собственно церковного; оконные проемы были пробиты, казалось, чересчур высоко, и все целиком напоминало не столько церковную стену, сколько тюремную. И разумеется, позже, когда я вспоминал все прославленные апсиды, которые я видел, мне никогда не приходило в голову сравнивать с ними комбрейскую апсиду. Только однажды, на повороте маленькой провинциальной улицы, у перекрестка, от которого разбегались три улочки, я заметил шероховатую надстроенную над основанием каменную кладку с высоко пробитыми оконными проемами, такую же асимметричную с виду, как апсида в Комбре. И тогда я не задумался, как в Шартре или в Реймсе, о том, с какой мощью здесь выразилось религиозное чувство, а невольно вскрикнул: “Это Церковь!” Церковь! Такая обычная, она стояла между двумя соседями по улице св. Илария, на которую выходил ее северный портал, аптекой г-на Рапена и домом г-жи Луазо, примыкала к ним вплотную; простая гражданка Комбре, она могла бы иметь собственный номер, как другие дома на улице, если бы дома на комбрейских улицах имели номера[68], и казалось, почтальон должен был заглядывать в нее по утрам, разнося почту, по дороге от г-на Рапена к г-же Луазо, и все же между ней и всем остальным оставалась невидимая граница, которую моему разуму никогда было не преодолеть. И напрасно г-жа Луазо растила на окне фуксии, которые усвоили себе дурную привычку опрометчиво закидывать свои плети куда попало, и цветы этих фуксий, когда они подрастали, тянулись поскорей охладить свои фиолетовые налитые кровью лица о темный фасад — в моих глазах это не придавало фуксиям никакой святости; пускай глаза мои не видели промежутка между цветами и почерневшим камнем, к которому они прислонялись, зато в уме я оставлял между ними целую пропасть.

Колокольню св. Илария было заметно еще издали: ее незабвенный облик вырос на горизонте прежде, чем появлялся сам Комбре; когда из поезда, который на Пасхальной неделе привозил нас из Парижа, отец замечал, как она скользит по небесным бороздкам, перебирая их одну за другой, раскручивая во все стороны своего железного петушка, он говорил нам: “Ну всё, приехали, берите пледы”. А на пути одной из самых долгих наших прогулок в Комбре было место, где стиснутая с обеих сторон склонами дорога вдруг выбегала на огромную равнину, которую замыкала на горизонте неровная кромка леса, а над лесом возвышался только узкий шпиль св. Илария — такой тонкий, такой розовый, что казалось, его попросту прочертил по небу чей-то ноготь, чтобы этот пейзаж, эту картину природы и только природы отметить легким вмешательством искусства, единственным знаком человеческого участия. Когда мы подходили ближе и становилось видно уцелевшую часть квадратной полуразрушенной башни, что примыкала к колокольне, уступая ей в высоте, больше всего поражал красноватый темный тон камня; а туманным осенним утром вздымавшаяся над буйными фиолетовыми виноградниками пурпурная руина казалась почти того же цвета, что дикий виноград. Часто на площади по дороге домой бабушка останавливала меня, чтобы посмотреть на колокольню. Из окон своей башни, прорезанных попарно одно под другим, с той выверенной и словно врожденной соразмерностью черт, которая придает красоту и достоинство человеческим лицам, да и не только им, колокольня раз за разом, в неизменном ритме испускала, извергала из себя стаи воронов, и они еще какое-то время кружили с криками, — и казалось, древние камни, не мешавшие им резвиться, но и не замечавшие их, внезапно становились непригодными для жилья и отталкивали, отшвыривали их от себя, источая энергию вечного движения. Потом, исчертив во все стороны фиолетовый бархат вечернего воздуха, птицы вдруг успокаивались, и тогда башня вновь представляла им не угрозу, а гостеприимным убежищем и заглядывала их в очередной раз, причем несколько птиц рассаживались и как будто замирали на шпилье колоколенки, но, возможно, ловили при этом мошку-другую, как какая-нибудь чайка, которая застывает на гребне волны неподвижно, как рыболов. Сама хорошенько не понимая почему, бабушка считала, что в колокольне св. Илария нет ничего вульгарного, претенциозного, мелочного; за это же самое она любила и природу, не опошленную рукой человека (как опошлял ее садовник моей двоюродной бабки), и произведения, отмеченные гением, — любила и верила в сокрытое в них мощное благодетельное влияние на людей. И вся церковь, на какую ее часть ни посмотри, от любого другого здания отличалась, наверно, тем, что вся она была проникнута какой-то особой мыслью, но именно в колокольне она словно осознавала себя, утверждалась в своем неповторимом и ответственном существовании. Колокольня была ее глашатаем. И главное, бабушка, вероятно, угадывала в комбрейской колокольне то, что было для нее ценнее всего на свете, — естественность и безупречность. Ничего не смысля в архитектуре, она говорила: “Дети мои, смейтесь надо мной, если хотите, и, может, по правилам она и не совсем хороша, но мне нравится, что она такая старомодная и причудливая. По-моему, играй она на рояле, она бы не колотила по клавишам”. И, глядя на колокольню, следуя глазами за мягким уклоном, за старательной крутизной ее каменных скатов, которые тянулись вверх и навстречу друг другу, как руки при молитве, бабушка настолько сливалась с воспарением шпиля, что ее взгляд словно улетал ввысь вместе с ним; и тут же она дружелюбно улыбалась древним истертым камням; закат освещал уже только самые верхние из них, и, вступая в залитое солнцем пространство, смягченные светом, они, казалось, поднимались все выше и отступали вдаль — словно голос, выпевающий песню, вдруг взмыл фальцетом на октаву выше.

Колокольня св. Илария сообщала любому занятию, любому времени суток, любому городскому виду особое выражение, законченность, неподдельность. Из моей комнаты виднелся только крытый шифером церковный неф, но теплым летним воскресным утром, глядя на этот шифер, сверкающий, как черное солнце, я говорил себе: “Господи, уже девять! Пора собираться, я же еще хотел забежать к тете Леони перед обедней!” — и я знал точно, какого цвета солнце на площади, жара и пыль на рынке, сумрак в лавке с опущенными шторами, куда мама, быть может, зайдет до обеда, — там пахнет небеленым холстом, и она купит какой-нибудь носовой платок, который покажет ей, приосанившись, хозяин, даром что он уже собирался запирать лавку, идти вглубь дома, надевать воскресный пиджак, мыть с мылом

руки, которые он каждые пять минут, даже в самых унылых обстоятельствах, привычно протирает с таким видом, что вот, мол, какой он предприимчивый, какой хитрец и до чего ему везет.

Когда после обедни мы заходили к Теодору сказать, чтобы он принес булку побольше, потому что к нам на обед, пользуясь хорошей погодой, собираются родственники из Тиберзи, колокольня высилась перед нами, сама золотистая и поджаристая, как огромный освященный хлеб, с хрустящей корочкой и клейкими солнечными бликами, устремляясь острой верхушкой в синее небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки, думая, что вот сейчас уже надо будет идти прощаться с мамой В перед сном и больше я ее не увижу, колокольня, наоборот, бывала такая мягкая в убывавшем свете дня, словно ее, как бурую бархатную подушку, уложили поглубже в поблекшие небеса, а они подались под ее нажимом, слегка прогнулись, чтобы дать ей место, обтекли ее по краям; и крики птиц, круживших вокруг нее, словно еще подчеркивали, какая она тихая, какой у нее высокий шпиль и какая она вся несказанная.

Даже если нам нужно было по делам в другую сторону, туда, где церкви было не видно, то и там тоже все казалось подчинено колокольне, — она то и дело возникала между домами и, пожалуй, сама по себе, без церкви, выглядела еще трогательнее. И конечно, много есть колоколен красивее нашей, если смотреть на них с обычной точки зрения, и я храню в памяти картинки с колокольнями поверх крыш, в художественном смысле впечатляющие сильнее, чем угрюмые комбрейские улочки. Никогда не забуду в одном любопытном нормандском городке, неподалеку от Бальбека, два очаровательных особняка восемнадцатого века, которые я люблю и почитаю по многим причинам; между ними, если смотреть из прекрасного сада, уступами спускающегося к реке, тянется ввысь шпиль готической церкви, которую они заслоняют, и этот шпиль словно служит завершением, увенчанием их фасадов, но вещество, из которого он состоит, настолько иное, настолько драгоценное, чешуйчатое, розовое, блестящее, что ясно видишь: оно с этими фасадами имеет не больше общего, чем пурпурное, в зазубринках, остриё, венчающее морскую раковину, закрученную спиралевидной башенкой и облитую эмалью — с двумя гладкими морскими камешками, между которыми она лежала, когда ее подняли на пляже. Даже в Париже, в одном из самых неприглядных кварталов в городе, я знаю окно, из которого через несколько улиц, поверх нагроможденных над этими улицами крыш, занимающих весь первый, второй и даже третий план, видишь башенку фиолетового, а иногда рыжеватого, а иногда, на самых благородных “оттисках”, которые удастся отпечатать с нее атмосфере, — прозрачно-черного, пепельного цвета, и это не что иное, как купол церкви Св. Августина, придающий этому парижскому виду сходство с некоторыми римскими видами Пиранези[69]. Но с каким бы вкусом ни изготовляла моя память эти маленькие гравюры, ни в одну из них она не могла вложить то, что я давным-давно потерял, — то чувство, которое помогает нам любое явление не воспринимать как зрелище, а верить в него, как в существо, не имеющее себе равных; ни от одной из них не зависит целый глубинный пласт моей жизни, как зависит он от воспоминания о виде на комбрейскую колокольню с улочки позади церкви. Смотреть ли на нее в пять часов, идя за письмами на почту, за несколько домов от нашего, когда ее одинокая верхушка внезапно выскакивала слева, нарушая ровную линию крыш; или, наоборот, направлялись ли мы проведать г-жу Сазра — глаза упирались в ту же линию, которая теперь тянулась ниже, и было понятно, что надо свернуть во вторую улицу после колокольни; а если мы шли еще дальше, на вокзал, ее было видно сбоку, и она открывала нам свои новые ребра и грани, как трехмерная геометрическая фигура, которую во время ее вращения нам удалось рассмотреть в еще незнакомом ракурсе; а если смотреть с берегов Вивонны, мускулистая, подтянутая апсида упруго возвышалась над окружавшим ее пейзажем и словно рождалась из порыва колокольни устремить свое остриё прямо в середину небес: всякий раз без нее не обходилось, она господствовала надо всем, увенчивала дома неожиданной башенкой и поднималась передо мной, как перст Бога, смешавшегося с толпой смертных, но по этой башенке я узнавал его и в толпе. Еще и сегодня в каком-нибудь большом провинциальном городе или в малознакомом квартале Парижа, когда прохожий, наставляя меня “на путь истинный”, указывает мне как ориентир то башенку над больницей, то монастырскую колокольню, вздымающую свою островерхую митру на углу той улицы, куда мне следует повернуть, — если моей памяти хоть чуть-чуть, по какой-нибудь мелочи, удается уловить в этом ориентире смутное сходство с любимым и исчезнувшим обликом, то прохожий, обернувшись, чтобы убедиться, что я не заблужусь, с изумлением замечает, как я, забыв, что шел погулять или по срочному делу, застываю перед колокольней на целые часы, пытаюсь что-то вспомнить и чувствуя, как обширные пространства внутри меня отвоевываются у забвения, осушаются, отстраиваются; и, вероятно, тогда я с еще большим нетерпением, чем только что, когда окликнул прохожего, продолжаю искать дорогу, сворачиваю за угол... но... все это у меня в душе...

Возвращаясь с обедни, мы часто встречали г-на Леграндена, которого удерживала в Париже его должность инженера, так что, кроме отпуска, он наезжал в свои комбрейские владения только с субботнего вечера до утра понедельника. Это был один из тех людей, которые, добившись блестящих успехов в научной карьере, обладают между тем и совсем иной культурой, литературной, художественной; для их профессии она совершенно бесполезна, зато чувствуется в разговоре. Они разбираются в литературе лучше многих литераторов (мы понятия тогда не имели, что г-н Легранден был известен как писатель, и очень удивились, узнав, что один знаменитый композитор написал музыку на его стихи), наделены не меньшей “легкостью”, чем иные художники, поэтому полагают, что достойны лучшей участи, и исполняют свою работу или беспечно и с фантазией, или подчеркнуто добросовестно и высокомерно, с презрением, горечью и скрупулезностью. Высокий, с прекрасной осанкой, с умным и задумчивым лицом, с длинными белокурыми усами, с разочарованным взглядом синих глаз, утонченно любезный, лучший собеседник из всех, кого мы знали, он, по мнению моих родных, постоянно приводивших его в пример, был истинным представителем элиты, образцом благородства и порядочности. Бабушка порицала его лишь за то, что он очень уж красноречив, говорит слишком по-книжному, что нет в его разговоре той же естественности, что в его галстуках, завязанных большими свободно витающими бантами, или в его однобортных пиджачках, какие носят школьники. Кроме того, она удивлялась, зачем он часто произносит пламенные тирады против аристократии, светской жизни, снобизма, “который наверняка и есть тот самый грех, который имел в виду святой Павел, когда говорил о грехе, коему нет отпущения”[70].

К суетности бабушка была настолько неспособна, что даже не понимала, что это такое, а потому считала совершенно бесполезным занятием клеймить ее с такой горячностью. И потом, ей чудилась бестактность в том, что г-н Легранден так яростно нападал на знать, чуть не возмущался, почему Революция не гильотинировала всех дворян до одного, между тем как его сестра, жившая недалеко от Бальбека, была замужем за нижненормандским дворянином.

— Привет вам, друзья! — говорил он, идя нам навстречу. — Вам повезло, что вы тут надолго. А мне завтра назад в Париж, в мою конуру!

И, улыбаясь своей слегка иронической и разочарованной, немного рассеянной улыбкой, добавлял: — Разумеется, у меня дома полным-полно всяких ненужных вещей. Не хватает только необходимого — большого куска синего неба, как здесь. Старайся, чтобы над твоей жизнью всегда оставался кусок неба, мальчуган, — добавлял он, обращаясь ко мне. — Душа у тебя милая, редкостная, артистическая, не

лишай ее того, что ей нужно.

Когда мы возвращались домой и тетя посылала спросить нас, не опоздала ли г-жа Гупиль к обедне, мы были неспособны удовлетворить ее любопытство. Зато мы расстраивали ее еще больше сообщением, что в церкви работает художник, который копирует Жильберта Злого на витраже. Франсуазу тут же отправляли к бакалейщику, но она возвращалась ни с чем, потому что не застала Теодора, который, благодаря двум своим профессиям — певчего, заодно прибиравшего в церкви, а также рассыльного в бакалейной лавке,— обладал связями в обоих мирах и, следовательно, всеобъемлющими познаниями.

— Ах, — вздыхала тетя, — хоть бы Элали поскорее пришла. Уж если не она, так и никто мне не скажет.

Элали была старая дева, хромая, хлопотливая и глухая, она “ушла на покой” после смерти г-жи де ла Бретонри, у которой служила с самого детства, и теперь обитала в комнатке возле церкви, но дома сидела редко: то шла к церковной службе, то, когда службы не было, — пособить Теодору или помолиться; остальное время она навещала больных, как, например, тетю Леони, которой она рассказывала, что было во время обедни или вечерни. Она не брезговала небольшим приработком в добавление к скромной пенсии, которую ей выплачивала семья ее бывших хозяев, и время от времени ходила на постирушки к кюре или другим заметным в комбрейском церковном мире особам. Она неизменно носила черную суконную накидку, а на голове маленький белый чепчик, совсем монашеский; щеки ее и крючковатый нос были из-за кожного заболевания почти полностью покрыты ярко-розовыми пятнами цвета бальзамина. Ее появления были огромным удовольствием для тети Леони, которая уже давно никого больше не принимала, за исключением только господина кюре. Мало-помалу тетя устранила всех посетителей, ибо все они имели в ее глазах тот недостаток, что принадлежали к одному из двух разрядов людей, которых она терпеть не могла. Одни, худшие, — от этих она отделалась раньше — были те, кто советовал ей “меньше к себе прислушиваться” и проповедовал, пускай пассивно, проявляя это лишь неодобрительным молчанием или недоверчивыми улыбками, пагубную доктрину: мол, необременительная прогулка по солнышку или добрый бифштекс с кровью (а она-то четырнадцать часов переваривала два жалких глотка минеральной воды!) принесут ей больше пользы, чем постель и лекарства. В другой разряд входили те, которые якобы верили, что она больна серьезней, чем сама думает, или что она больна именно так серьезно, как утверждает. И все, кого она после некоторых колебаний и умильных уговоров Франсуазы допускала к себе, оказывались недостойны этой милости, поскольку робко заикались: “Не кажется ли вам, что если бы вы встряхнулись немножко в погожий денек” или, напротив, на ее слова: “Я сегодня плоха, совсем плоха, друзья мои, со мной все кончено”, возражали: “Что и говорить, без здоровья и жизнь не в радость, но вы еще поскрипите, даст Бог!” — и все они могли не сомневаться, что больше их никогда не пустят. То-то Франсуаза веселилась, видя тетино потрясение, когда со своей кровати та замечала на улице Святого Духа какого-нибудь гостя, явно собравшегося ее проведать, или слышала звонок у дверей; но еще больше ее смешили — не хуже доброй шутки — тетины всегда успешные хитрости, благодаря которым та спроваживала людей, и то, с каким озадаченным видом они шли прочь, так ее и не повидав, и в глубине души Франсуаза восхищалась хозяйкой, считая ее куда выше их всех, поскольку она не желает их принимать. В общем, тетя требовала, чтобы люди одобряли ее режим, сочувствовали ее страданиям и успокаивали ее относительно будущего.

Элали была на это мастерица. Тетя могла сказать ей двадцать раз в минуту: “Со мной все кончено, милая моя Элали”, и Элали двадцать раз отвечала: “Изучив свою болезнь, как вы ее изучили, госпожа Октав, вы доживете до ста лет, мне это еще вчера говорила госпожа Сазрен”. (Одно из самых нерушимых убеждений Элали, поколебать которое не могло внушительное число опровержений, полученных на опыте, состояло в том, что г-жу Сазра звали г-жа Сазрен.)

— Сто лет мне не надо, — отвечала тетя, предпочитавшая, чтобы дням ее жизни не полагали точного предела.

При всем том Элали, как никто, умела развлечь тетю, не утомляя ее, поэтому ее посещения, происходившие, если не вмешивалось что-нибудь неожиданное, регулярно по воскресеньям, были для тети удовольствием, предвкушение которого было сначала приятно, но мгновенно становилось мучительным, как приступ голода, стоило Элали хоть чуть-чуть задержаться. Иногда это сладострастное ожидание Элали затягивалось и превращалось в пытку: тетя непрестанно смотрела на часы, зевала, на нее нападали приступы слабости. Если Элали звонила в дверь под вечер, когда на ее приход уже теряли надежду, тете чуть ли не дурно становилось. На самом деле по воскресеньям она только и думала об этом визите, и сразу после обеда Франсуаза с нетерпением ждала, когда мы уйдем из столовой и отпустим ее наверх “занимать” тетю. Но бывало и так (особенно когда в Комбре наступали теплые дни), что высокомерный полуденный час, слетев с башни св. Илария и в знак особой чести на мгновение наградив ее двенадцатью самыми драгоценными завитками своей звучной короны, уже давно отзвонил над нашим столом, над освященным хлебом, который тоже по-соседски пришел к нам прямо из церкви[71], — а мы все еще сидели над тарелками с “Тысячью и одной ночью”, отяжелев от жары и, главное, от еды. Потому что к незыблемой основе, состоявшей из яиц, отбивных, картошки, варений, печений, о которых Франсуаза даже уже не предупреждала, она — смотря по тому, что подсказывали урожай в поле и огороде, улов, прихоти рынка, любезности соседей и собственное вдохновение, так что наше меню, подобно тем квадрифолиям[72], которыми в XIII веке украшали порталы соборов, отражало понемногу и смену времен года, и случаи из жизни, — добавляла то камбалу, потому что торговка ручалась за ее свежесть, то индюшку, потому что уж больно хороша была индюшка на рынке в Руссенвиль-ле-Пен, то испанские артишоки с говяжьими мозгами, потому что в таком виде она их еще нам не готовила, то жареную баранью ногу, потому что на свежем воздухе разыгрывается аппетит, а до семи вечера еще жить и жить, то шпинат, для разнообразия, то абрикосы, потому что абрикосы сейчас еще редкость, то смородину, потому что через две недели ее уже не станет, то малину, которую нарочно принес г-н Сванн, то вишни, первые вишни, вызревшие в саду за два года, то творог со сливками, потому что когда-то я его очень любил, то миндальное пирожное, потому что вчера она его заказала, то сдобный каравай, потому что пришла наша очередь нести хлеб в церковь. Когда со всем этим было покончено, появлялся итог вдохновения и предмет особой заботы Франсуазы, — шоколадный крем, созданный специально для нас, но посвященный главным образом моему отцу, большому его ценителю, эфемерный и воздушный, как стихотворение на случай, в который она вкладывала весь свой талант. Если бы кто-нибудь отказался его отведать, сказал: “Нет-нет, я уже наелся”, он бы тут же низвел себя до уровня тех невеж, которым художник дарит свое творение, а они смотрят, сколько оно весит да из чего сделано, хотя ценностью обладают лишь намерение и автограф автора. И даже оставить хотя бы капельку на тарелке было бы такой же грубостью, как под носом у композитора подняться с места до конца пьесы.

Наконец мама говорила мне: “Ладно, сколько можно сидеть за столом, если тебе жарко на дворе, иди к себе в комнату, но сперва погуляй: не надо читать сразу после еды”. Я шел к насосу и садился там, рядом с желобом, который, как готическую купель, иногда украшала собой какая-нибудь юркая саламандра, выступая из шершавого камня своим аллегорическим веретенообразным контуром, —

сидел на скамье без спинки, в тени сирени, в том уголке сада, который через боковую калитку выходил на улицу Святого Духа и где из неухоженной, поднимавшейся двумя уступами земли выростала кухонная пристройка, — она выдавалась из дома и рядом с ним казалась отдельным домиком. Виден был ее покрытый плиткой пол, красный и сверкающий, как порфир. Она напоминала не столько логово Франсуазы, сколько храм Венеры. В пристройке громоздились приношения молочника, фруктовщика, зеленщицы, приезжавших подчас из весьма отдаленных деревушек, чтобы пожертвовать этому храму первые плоды земли своей[73]. А конек ее крыши всегда венчал голубиное воркование.

Когда-то я не задерживался в окружавшей ее священной роще, потому что, перед тем как идти к себе наверх читать, заглядывал в комнатку на первом этаже, которую занимал дядя Адольф, дедушкин брат, в прошлом военный, вышедший в отставку в чине майора; солнечные лучи проникали туда редко, и даже когда сквозь открытые окна струилась жара, внутри неизменно пахло сумрачной прохладой, сразу и лесной, и старорежимной, какую подолгу мечтательно вдыхаешь всей грудью, попадая в заброшенный охотничий домик. Но вот уже который год я не ходил больше в комнату дяди Адольфа, потому что он перестал ездить в Комбре, рассорившись с нашей семьей из-за меня, и вот как это произошло.

В Париже раз-другой в месяц меня посылали к нему в гости в тот час, когда он, одетый в простой домашний китель, доедал обед, который ему подавал слуга в тиковой куртке в сиреневую и белую полоску. Дядя брюзжал, что я давно у него не был, что его все бросили, угощал меня марципаном или мандарином; никогда не останавливаясь, мы проходили по гостиной, где никогда не было натоплено, где стены поблескивали золоченой лепниной, потолок был выкрашен в голубой цвет, что должно было напоминать небо, а мебель обита атласом, как у дедушки с бабушкой, но желтым; потом мы оказывались в комнате, которую он называл своим “рабочим кабинетом”; там по стенам были развешаны гравюры с дородными розовыми богинями на черном фоне, правящими колесницей, или попирающими земной шар, или со звездой во лбу, — такие гравюры любили во времена Второй империи, потому что считалось, будто в них есть что-то помпейское[74], потом их возненавидели, а теперь опять полюбили, по одной единственной причине, хотя приводятся и другие, а именно по той, что в них есть что-то от Второй империи. И я сидел с дядей, пока не приходил лакей и не спрашивал от имени кучера, в котором часу подавать экипаж. Тут дядя погружался в раздумье, которое восхищенный лакей боялся потревожить малейшим движением и дожидался ответа затаив дыхание, хотя ответ был всегда один и тот же. В конце концов, преодолев последние сомнения, дядя неизменно изрекал: “В четверть третьего”, а лакей повторял удивленно, но не вступая в спор: “В четверть третьего? Хорошо... Я ему передам”.

В те времена я любил театр, любил платонической любовью, потому что родители еще ни разу меня туда не брали, и я настолько смутно представлял себе, какого рода наслаждение там получают, что недалеко был от мысли, будто каждый зритель, как в стереоскоп, смотрит на сцену, видную ему одному, хотя и похожую на тысячи других, на которые смотрят другие зрители, каждый на свою.

Каждое утро я бежал к афишной тумбе и смотрел, какие спектакли объявлены. Ничего не было бескорыстнее и блаженнее тех грёз, что дарил мне каждая объявленная пьеса, — грёз, обусловленных образами, неотделимыми от слов, составлявших ее название, и цветом самих афиш, еще сырых и вздувшихся от клея, на которых это название было напечатано. Уж не говоря о таких непостижимых названиях, как “Завещание Цезаря Жиродо” и “Эдип-царь” на темно-бордовой афише “Комеди Франсез”, — но и на зеленых афишах “Опера-комик”[75] меня изумляло, до чего отличается сверкающая белоснежная эгретка на афише “Бриллиантов короны” от гладкого загадочного атласа “Черного домино”[76], а между тем родители сказали, что для первого похода в театр мне надо будет выбрать одну из этих двух пьес, и потому я, стараясь понять, какие именно радости сулит мне каждая из них, и сравнить с теми, что таятся в другой, пытался последовательно вникнуть в название обеих, поскольку ничего, кроме названий, о них не знал, и под конец моему воображению с такой силой представлялась ослепительная гордость одной пьесы и бархатистая нежность другой, что я оказывался так же неспособен решить, какая мне больше нравится, как если бы на десерт мне предложили выбрать или рис “Императрица”, или шоколадный крем.

Все мои разговоры с товарищами вертелись вокруг тех актеров, чье искусство, еще мне неведомое, было первой среди множества форм, в которой я предчувствовал явление Искусства. Мне казалось, что неопределимую важность имеют мельчайшие различия в манере того или другого актера произносить тираду и передавать ее оттенки. И смотря по тому, что мне говорили об этих артистах, я располагал их по степени таланта в списках, которые повторял сам себе целыми днями, так что они в конце концов затвердели у меня в мозгу и мешали ему своим неизменным присутствием.

Позже, в коллеже, каждый раз, когда учитель отворачивался и я писал записочку новому другу, первый мой вопрос всегда был о том, был ли он уже в театре и не кажется ли ему, что самый великий актер — Гот, за ним Делоне и т.д. И если, по его мнению, Февр шел только после Тирона, а, скажем, Делоне только после Коклена[77], внезапная способность к передвижению, которую, утратив гранитную незыблемость, приобретал у меня в уме Коклен тем, что переезжал на второе место, и чудесное проворство, благодатное оживление, которым оказывался наделен Делоне, способный отступить на четвертое, оплодотворяли и расшевеливали мой мозг, помогали ему ощутить, что он расцветает и живет.

Но если меня так занимали актеры-мужчины, если, увидав Мобана, выходявшего как-то днем из Французского театра[78], я испытал потрясение и муки любви, то в какое же бесконечное смущение повергало меня имя знаменитой актрисы, пылающее у входа в какой-нибудь театр, или в зеркальном стекле проезжавшей по улице кареты, влекомой конями в изукрашенных розами суголовных ремешках, — лицо женщины, про которую я думал, что она, может быть, актриса, и как мучительно и безнадежно силится я вообразить ее жизнь! Я расставлял по степени таланта самых знаменитых: Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлен Броан, Жанну Самари[79], но интересны мне были они все до одной. Так вот, мой дядя знал многих из них, а кроме того, знал кокоток, которых я не вполне отличал от актрис. Они бывали у него дома. И мы навещали его только по определенным дням именно потому, что в другие дни к нему ездили женщины, с которыми его семье никак нельзя встречаться, во всяком случае, так считала семья, потому что дяде, наоборот, ничего бы не стоило оказать такую любезность хорошеньким вдовам, которые никогда не были замужем, графиням с громкими именами, служившими, вероятно, всего лишь псевдонимами, и представить их моей бабушке или даже подарить им фамильные драгоценности, из-за чего у них с дедушкой уже не раз вспыхивали ссоры. Часто, когда в разговоре мелькало имя какой-нибудь актрисы, отец говорил маме с улыбкой: “Приятельница твоего дяди”; и я думал о том, что дядя мог бы избавить такого мальчишку, как я, от многолетнего испытательного срока, которому, быть может, тщетно подвергают себя важные персоны под дверьми подобной женщины, не отвечающей на их письма и приказывающей швейцару гнать их из ее особняка: дядя запросто мог представить меня актрисе, своей доброй приятельнице,

недостигаемой для многих и многих.

Таким образом, — под предлогом, что у меня изменилось расписание, да так неудачно, что я уже несколько раз не смог прийти к дяде в положенный день и еще долго не смогу, — в один из дней, не предусмотренных для наших визитов, я воспользовался тем, что родители завтракали рано, вышел из дому и, вместо того чтобы идти глазеть на афишную тумбу — туда меня отпускали одного, — поспешил к дяде. У его дверей я заметил экипаж, запряженный парой лошадей, у которых шоры были украшены красными гвоздиками, и у кучера была бутоньерка с такой же гвоздикой. С лестницы я услышал смех и женский голос, но, когда позвонил, все стихло, а потом внутри со стуком закрыли дверь. Лакей отворил мне и, казалось, смутился, сказал, что дядя очень занят и, вероятно, не сможет меня принять, но все-таки пошел доложить, и тот же голос, который я слышал раньше, произнес: “Нет, нет! Впусти его! Хоть на минутку, я буду ужасно рада. На той фотографии, что у тебя на бюро, он так похож на мать, на твою племянницу,— это же ее фотография рядом с ним? Мне хочется хоть разок глянуть на этого мальчишку”. Слышно было, как дядя ворчал, сердился, и в конце концов лакей меня впустил.

На столе стояла обычная тарелка с марципанами; на дяде был тот же, что всегда, китель, но перед ним, в розовом шелковом платье, с ожерельем крупного жемчуга на шее, сидела молодая женщина и доедала мандарин. Я покраснел от неуверенности, следует ли обращаться к ней “мадам” или “мадмуазель”, и, опасаясь даже глянуть в ее сторону из страха, как бы не пришлось вступить в разговор, подошел поцеловать дядю. Она с улыбкой посмотрела на меня, дядя сказал: “Это мой племянник”, не называя меня по имени и не говоря мне, как зовут ее, вероятно, потому, что после всех раздоров с дедушкой он по возможности старался избегать каких бы то ни было соприкосновений между семьей и подобными знакомыми.

— Как он похож на мать, — сказала она.

— Вы же видели мою племянницу только на фотографии, — сразу же мрачно возразил дядя.

— Прошу прощения, мой милый друг, но мы с ней столкнулись на лестнице в прошлом году, когда вы болели. Правда, я видела ее только мельком, а на лестнице у вас так темно, но я разглядела довольно и была восхищена. У этого юноши те же прекрасные глаза, и потом вот это, — сказала она, прочертив пальцем линию у себя над бровями. — Скажите, ваша племянница носит то же имя, что вы? — спросила она дядю.

— Он скорее пошел в отца, — пробурчал дядя, который избегал устраивать заочные знакомства, так же как личные, и даже за глаза не хотел произносить мамино имя. — Точь-в-точь отец, а еще напоминает мою бедную матушку.

— С его отцом я незнакома, — сказала дама в розовом, слегка наклонив голову, — и вашей бедной матушки, мой друг, я не знала. Вы же помните, мы познакомились вскоре после того, как вас постигло это тяжкое горе.

Я испытывал легкое разочарование, потому что эта молодая дама не отличалась от других красивых дам, которых я встречал в семье, — например, от дочки одного из наших родственников, у которого я бывал каждый год на первое января. Дядина приятельница была разве что одета получше, но у нее был тот же приветливый и живой взгляд, то же искреннее и любезное выражение лица. Я не находил в ней ничего особенно театрального, восхищавшего меня в фотографиях актрис, ничего демонического, связанного с той жизнью, которую она вела. Мне трудно было поверить, что это и есть кокотка, и уж тем более я бы не поверил, что это шикарная кокотка, если бы не видел экипаж, запряженный парой лошадей, и розовое платье, и жемчужное ожерелье и если бы не знал, что дядя знал только с дамами самого первого разбора. Но я не мог взять в толк, что за радость тому миллионеру, который подарил ей экипаж, и особняк, и драгоценности, пускать на ветер состояние ради такой простой и благопристойной особы. Однако, думая о том, какую жизнь она, должно быть, ведет, я, пожалуй, смущался при мысли о безнравственности больше, чем если бы она предстала мне в своем явном облике: меня сбивало с толку, что безнравственность остается незрима, как какой-нибудь давний тайный роман или скандал, из-за которого эта женщина некогда покинула своих добропорядочных родителей и посвятила себя всему свету, расцвела и стала красавицей, возвысилась до положения в полусвете и до известности, — эта женщина, чьи гримасы, интонации я подмечал уже раньше у многих, с кем был знаком, и на которую поэтому невольно смотрел как на девушку из хорошей семьи, просто оставшуюся без семьи.

Перешли в “кабинет”, и дядя, которого явно стесняло мое присутствие, предложил ей папиросы.

— Нет, дорогой, — отвечала она, — вы же знаете, я привыкла к тем, которые мне посылает великий герцог. Я ему говорила, что вы приревнуете. — И она извлекла из портсигара папиросы с надписями золотыми буквами на иностранном языке. — Да нет, — воскликнула она внезапно, — все-таки я встречала у вас отца этого молодого человека! Он же ваш племянник? Как я могла забыть? Какая в нем доброта, какое очарование! — прибавила она со скромным и растроганным видом. Но я подумал о том, как сурово, скорее всего, обошелся с ней отец, в котором она якобы оценила очарование, — уж я-то знал и замкнутость отца, и его холодный тон, — и это несоответствие между преувеличенной благодарностью к нему и недостатком любезности с его стороны обдало меня стыдом, словно отец поступил бестактно. Позже мне показалось, что в этом состоит одно из трогательных свойств той роли, которую играют эти праздные и трудолюбивые женщины: они все подчиняют одной цели — свое великодушие, талант, припрятанные про запас мечты сентиментальной красавицы (ведь они, точно как артистки, не воплощают в жизнь эти мечты, не втискивают их в рамки обыденности), да и золото, которое обходится им недорого, и эта цель — украшать драгоценной и утонченной оправой грубую и топорно сработанную жизнь мужчины. Вот так и эта, в курительной, где дядя принимал ее, одетый по-домашнему, расточала свое нежное тело, розовое шелковое платье, жемчуга и эту элегантность, которой веяло от дружбы с великим герцогом, и едва она прикоснулась к нескольким незначительным словам моего отца, как тут же осторожно и тонко обработала их, придала им завершенность, драгоценное название, и оправила их взглядом такой чистой воды, с таким оттенком смирения и благодарности, что они превратились в чудо ювелирного искусства, в нечто “совершенно очаровательное”.

— Ну ладно, будет, — сказал мне дядя, — тебе пора.

Я встал, мне неодолимо хотелось поцеловать руку даме в розовом, но я воображал, что это была бы дерзость, вроде похищения. Сердце мое билось, пока я гадал: “Поцеловать или не надо?” — но потом я вообще перестал раздумывать, иначе я бы вообще ничего не сделал. И слепым безрассудным движением, отмахнувшись от всех доводов, еще секунду тому назад подтверждавших правильность

моего поступка, я поднес к губам руку, которую она мне протянула.

— Какой он милый! И уже галантен, на женщин поглядывает: весь в дядю. Он будет настоящим джентльменом, — добавила она, стиснув зубы, чтобы придать сказанному легкий британский акцент. — А нельзя ли, чтобы он как-нибудь заглянул ко мне выпить а сир of tea, как говорят наши соседи англичане? Пускай только предупредит меня утром письмецом по пневматичке[80].

Я не знал, что такое “пневматичка”. Я не понимал половины слов, которые произносила дама, но боялся, что среди них прячется какой-нибудь вопрос, на который было бы невежливо не ответить, поэтому продолжал внимательно вслушиваться и от этого сильно устал.

— Нет, об этом не может быть и речи, — сказал дядя, пожимая плечами, — он занят, много работает. Он у себя в классе получает все награды, — добавил он, понизив голос, чтобы я не слышал этой лжи и не принялся ее опровергать. — Кто знает, может быть, это будет новый Виктор Гюго, знаете, или какой-нибудь Волабель[81].

— Я преклоняюсь перед людьми искусства, — подхватила дама в розовом, только они и понимают женщин... Они да немногие избранные вроде вас. Простите мое невежество, друг мой. Кто такой Волабель? Это не те тома с позолотой в застекленном книжном шкафу у вас в будуаре? Помните, вы обещали дать их мне почитать, я буду обращаться с ними очень бережно.

Дядя, ненавидевший давать книги, ничего не ответил и повел меня в переднюю. Вне себя от любви к даме в розовом, я покрыл безумными поцелуями пропахшие табаком щеки моего старенького дяди, и пока он с изрядной неловкостью, не решаясь сказать прямо, намекал мне, что ему бы, в сущности, не хотелось, чтобы я рассказывал об этом визите родителям, я объявил ему, со слезами на глазах, что память о его доброте пребудет со мной вечно и что рано или поздно придет день, когда я сумею на деле доказать ему свою благодарность. И впрямь, благодарность так прочно запечатлелась у меня в душе, что спустя два часа я сперва проронил при родителях одну — другую загадочную фразу, но мне показалось, что мои слова недостаточно внятно объясняют, каким новым величием я отныне осеял, и тогда я решил, для большей ясности, рассказать в малейших подробностях о моем недавнем визите. У меня и в мыслях не было доставить этим неприятности дяде. С какой стати, я же этого совсем не хотел. И я понятия не имел, что родители не одобряют визит, в котором я сам не видел ничего плохого. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь друг просит нас непременно передать его извинения общей знакомой, которой он сам не может написать из-за каких-то помех, а мы пренебрегаем этой просьбой, потому что сами не придаем значения его молчанию, а значит, думаем мы, и для этой знакомой оно не может быть важным. Я, как все, воображал, что чужой мозг — это пустой и послушный сосуд, что он не способен как-то по-своему откликаться на то, чем его наполняют; я и не подозревал, что, внедряя в головы родителей известие о том, с кем я познакомился у дяди, не сумею одновременно, как мне хотелось, передать им благоприятное суждение об этом знакомстве, которое вынес я сам. К несчастью, родители, оценивая дядин поступок, опирались на совершенно иные принципы, чем те, которые я пытался им внушить. Отец и дедушка гневно с ним объяснились; мне об этом стало известно стороной. Несколько дней спустя я на улице повстречал дядю, ехавшего в открытом экипаже, и на меня нахлынули горе, благодарность, угрызения совести, в которых я так хотел бы ему признаться. Рядом с их огромностью, понял я, простой поклон покажется жалким, и дядя может подумать, что я считаю, будто мой долг перед ним сводится к банальной вежливости. Я решил воздержаться от этого бесполезного жеста и отвернулся. Дядя подумал, что я это сделал по указу родителей, и так и не простил им этого; ни с кем из нас он больше не виделся до самой смерти, а умер он годы спустя.

Поэтому я больше не входил в комнату дяди Адольфа, стоявшую теперь на запоре, и мешкал на задворках кухонной пристройки, пока Франсуаза, появившись в преддверии своего храма, не скажет: “Сейчас моя судомойка вам кофе подаст и горячую воду наверх отнесет, а я пошла к госпоже Октав”, а после решал идти домой и поднимался прямо к себе в комнату читать. Судомойка была юридическим лицом, постоянно действующим институтом, которому неизменные функции сообщали определенный характер и обеспечивали преемственность, — менялось только ее преходящее обличье: дольше двух лет ни одна у нас не держалась. В год, когда мы так часто ели спаржу, судомойкой, которой обычно поручалось ее чистить, было несчастное хилое создание, и, когда мы приехали на Пасху, эта судомойка была на довольно позднем сроке беременности, так что мы даже удивлялись, зачем Франсуаза столько гоняет ее по хозяйству и с поручениями, ведь ей уже делалось трудно носить перед собой таинственную, с каждым днем все наполняющуюся корзинку, великолепная форма которой угадывалась под просторной рабочей кофтой. Эта кофта напоминала накидки, окутывающие символические фигуры на картинах Джотто[82], — фотографические копии с этих картин подарил мне г-н Сванн. Он и открыл нам глаза на это сходство и, имея в виду нашу судомойку, спрашивал: “Как поживает “Милосердие” Джотто[83]?” Впрочем, и сама она, бедняжка, растолстевшая от беременности так, что даже лицо раздалось, даже щеки стали отвислыми и квадратными, в самом деле очень напоминала этих девственниц, дюжих и мужеподобных, скорее матрон, а не девиц, в образе которых воплощены Добродетели в Капелла дель Арена. И теперь мне ясно, что падуанские Добродетели и Пороки были похожи на нее еще в одном отношении. Образ девушки возвеличивался благодаря добавлению к нему этого символа, который она несла перед собой в животе, но сама она явно не понимала, что этот символ значит, носила его как простое и неуклюжее бремя, и лицо ее несколько не отражало его красоты и смысла, — вот так и дюжая хозяйка, запечатленная в Капелла дель Арена под именем “Caritas”, репродукция которой висела у меня в Комбре на стене в классной комнате, воплощает эту добродетель, сама о том не догадываясь, и в ее волевом и заурядном лице, вероятно, сроду не проглядывало ни тени милосердия. В согласии с прекрасным замыслом художника она попирает ногами сокровища земные, — но все это с таким видом, будто просто мнет ногами виноград, выгоняя из него сок, или, еще вернее, будто взобралась на мешки, чтобы стать повыше; и свое пылающее сердце она протягивает Богу, или даже не протягивает, а просто передает, как кухарка передает из подпола штопор кому-то, кто просит ее об этом, свесившись из окна первого этажа. В лице у Зависти тем более, казалось бы, должна читаться некоторая зависть. Но и на этой фреске символ занимает столько места и изображен с таким реализмом, змея, свистящая у губ Зависти, такая толстая и так плотно заполняет ее широко разинутый рот, что лицевые мускулы Зависти растянулись, как у ребенка, надувающего шарик, и все ее внимание — и наше тоже — устремлено на ее губы, так что ей вообще некогда предаваться завистливым мыслям.

Несмотря на то что г-н Сванн так восхищался этими фигурами Джотто, я долго не находил ни малейшего удовольствия в том, чтобы в нашей классной комнате, где висели подаренные им копии, разглядывать это немилосердное Милосердие, эту Зависть, похожую на рисунок из учебника по медицине, иллюстрирующий сужение голосовой щели или язычка не то при опухоли языка, не то при введении в горло хирургического инструмента, эту Справедливость, чье землистое, убого правильное лицо точь-в-точь напоминало лица кое-каких красивых обывательниц нашего Комбре, которых я встречал у обедни, набожных, черствых, — многие из них были заранее зачислены в запас армии Несправедливости. Но позже я понял, что поразительная особенность и неповторимая красота этих фресок состояла как

раз в том, что символ хоть и занимал в них так много места, но изображался не как символ — ведь мысль, которую он воплощал, ни в чем не выражалась, — а как нечто реальное, по-настоящему пережитое или вещественно осязаемое, и придавал значению фрески большую достоверность и точность, а ее поучению большую плотность и яркость. Вот и у бедной нашей судомойки заметней всего был именно ее отягощенный бременем живот; так мысли умирающих нередко устремляются ко всему телесному, болезненному, темному, утробному, именно к той изнанке, которую смерть как раз и являет им, грубо взывая к их ощущениям, а ведь эта изнанка гораздо больше похожа на невыносимую тяжесть, удушье, жажду, чем на то, что зовется у нас идеей смерти.

Наверное, в этих падуанских Пороках и Добродетелях и впрямь было много реализма, потому что они казались мне ничуть не менее живыми, чем беременная служанка, а сама она представлялась мне такой же аллегоричной, как они. И может быть, это неучастие (по крайней мере, кажущееся) души человека в добродетели, орудием которой он служит, обретает, помимо своей эстетической ценности, какую-то не психологическую даже, а скорее, я бы сказал, физиономическую достоверность. Позже, когда мне случилось в жизни встречать, например, в монастырях, воистину живые воплощения деятельного милосердия, они обычно оказывались бодрыми, рассудительными, равнодушными и резкими, как хирург, которому вечно некогда, и на лицах у них не заметно было ни малейшего сочувствия, никакого умиления людским страданием, никакого страха причинить боль; это было лишённое всякой кротости, непривлекательное и исполненное высокого значения лицо истинной доброты.

Пока судомойка — невольно оттеняя блистательное превосходство Франсуазы, как Заблуждение, по контрасту, придает пущий блеск торжеству Истины, — подавала кофе, который, по маминому мнению, был просто горячей водой, а потом относила к нам в спальню горячую воду, на деле едва теплую, я растягивался с книжкой в руках на постели у себя в комнате, трепетно хранившей от послеполуденного солнца свою прозрачную хрупкую прохладу за неплотно притворенными ставнями, между которых солнечный блик все-таки ухитрялся протиснуть свои желтые крылышки и застревал между деревом и стеклом в углу, как уснувшая бабочка. Света едва хватало для чтения, и ослепительность солнца я чувствовал только по стуку, доносившемуся с Приходской улицы, где Камю (которого Франсуаза предупредила, что тетя “не отдыхает” и можно шуметь) заколачивал пыльные ящики, и этот стук, разносясь в таком гулком воздухе, какой бывает только в жару, казалось, рассыпал далеко во все стороны алые звезды, а еще по тому, как мухи разыгрывали для меня свой негромкий концерт, свою летнюю камерную, нет, комнатную музыку; такая музыка наводит нас на мысли о лете по-другому, чем человеческая, которая, если случайно услышать ее впервые в погожее время года, позже будет нам о нем напоминать; а эта связана с летом теснее и неразрывнее; рожденная из погожих дней, воскресая только с ними, напитанная капелькой их субстанции, она не только пробуждает их образ у нас в памяти, она удостоверяет, что они здесь, рядом, они вернулись и доступны нам в любую минуту.

Эта сумрачная прохлада моей комнаты относилась к яркому солнцу на улице, как тень относится к солнечному лучу: она была так же светоносна и разворачивала перед моим воображением полную картину лета, которой мои органы чувств, пойдя я на прогулку, сумели бы насладиться только по частям; а кроме того, прохлада хорошо гармонировала с блаженным чувством покоя: колеблемое приключениями, о которых рассказывалось в книжках, оно, несмотря ни на что, бестрепетно выдерживало толчки и напор бурного потока событий, — в таком покое находится рука, опущенная в проточную воду. Но бабушка, даже если погода вдруг портилась, налетала гроза или просто начинало накрапывать, приходила ко мне и уговаривала идти погулять. И, не желая отрываться от книги, я, так и быть, уходил читать в сад, под каштан, в маленькую плетеную беседку, и забивался вглубь, где чувствовал себя укрытым от чужих глаз, если к родителям придут гости.

И разве моя мысль не была похожа на этот закуток — и разве я не чувствовал, что даже когда я из него выглядываю, я все равно сижу в самой его глубине? На какой бы посторонний предмет я ни смотрел, между мною и этим предметом оставалось понимание того, что я его вижу; оно окружало этот предмет какой-то тоненькой нематериальной каемкой, никогда не дававшей мне по-настоящему до него дотронуться; его существование как будто растворялось в воздухе прежде, чем я к нему прикасался: так раскаленное тело, когда поднесешь его к чему-нибудь мокрому, не касается влаги, потому что всегда окружено зоной, в которой вся влага испаряется. На радужном экране, отражавшем разнообразные состояния, мгновенно вспыхивавшие в моем уме, пока я читал, — от самых глубоко запрятанных внутри меня надежд и до совершенно внешних впечатлений вроде вида, открывавшегося моим глазам за пределами сада, — самым первым и главным во мне, самым потаенным, тем непрестанно движущимся рычажком, который управлял всем остальным, была моя вера в философскую ценность и красоту книги, которую я читал, и жажда всем этим овладеть, причем неважно было, что за книга. Даже если я купил ее в Комбре, приметив в бакалейной лавке Боранжа, которая была слишком далеко от дома, так что Франсуаза не ходила туда за покупками, как к Камю, но зато там продавалось больше писчебумажных товаров и книг, — даже если я купил ее там, в лавке, где эта книга была подсунута под общую тесемку в мозаике брошюр и подписных изданий, ковром покрывавших обе створки двери, таинственной и напитанной мыслями, как соборный портал, все равно это значило, что я узнал в ней ту самую книжку, на которую обратил мое внимание учитель или товарищ, владевший, как мне в то время представлялось, секретом истины и красоты, полугаданных мною, полунепостижимых, и смутной, но неизменной целью моих размышлений было постичь этот секрет.

За этой моей основной верой, которая, пока я читал, непрестанно рвалась из меня наружу, к постижению истины, следовали эмоции, разбуженные во мне действием, в котором я соучаствовал: ведь на эти послеобеденные часы выпадало больше драматических событий, чем подчас случается за всю жизнь. Эти события разыгрывались в книге, которую я читал; правда, герои, с которыми они происходили, были, как говорила Франсуаза, “ненастоящие”. Но все чувства, которые мы переживаем под влиянием радости или невзгод настоящего живого человека, возникают в нас лишь благодаря нашему представлению об этих радостях или невзгодах; в этом и состояло открытие первого романиста: он догадался, что в механизме наших эмоций главным и важнейшим элементом является представление, поэтому, если попросту убрать из повествования реальных персонажей, это существенно улучшает дело. Как бы хорошо мы ни понимали некоего живого человека, мы воспринимаем его в основном через наши собственные ощущения, то есть сам человек остается для нас непроницаем, для наших чувств это — мертвый груз. Если на него обрушилась беда, то мы осознаём это лишь какой-то небольшой частью того общего представления, которое у нас о нем сложилось, более того — в нем самом тоже оказывается затронута лишь малая часть того представления, какое у него имеется о самом себе. Находка же первого романиста состояла в том, чтобы заменить области, недоступные для постижения, таким же количеством нематериальных составляющих, причем таких, с которыми наша душа может себя отождествить. И вот уже совершенно неважно, что поступки и чувства этих существ новой породы только кажутся нам настоящими: мы ведь воспринимаем их как наши собственные, они происходят в нас самих и, пока мы лихорадочно листаем страницы книги, управляют и частотой нашего дыхания, и пристальностью нашего взгляда. И как только по милости романиста мы придем в это состояние, в котором у

нас, как при любом уходе в себя, многократно усиливаются все чувства, когда егo начинает томить нас, как сновидение, разве что сновидение более четкое, чем во сне, и лучше запоминающееся, — вот тогда он и развязывает в нас на часок-другой все мыслимые радости и горести, которые нам удалось бы пережить разве что за долгие годы жизни, а самые глубокие из них не открылись бы нам никогда, потому что та медлительность, с которой они к нам приходят, не позволяет нам их заметить (и наше сердце меняется с течением жизни, и это горше всего; но это горе мы узнаём, только пока читаем, в воображении: в жизни сердце меняется так же медленно, как протекают иные природные явления — мы в силах разве что отмечать одно за другим разные его состояния, но зато избавлены от самого ощущения перемен).

Затем, уже на меньшую глубину, чем жизнь книжных героев, в меня проникал набросок пейзажа, того, в котором разворачивалось действие; он влиял на мою мысль куда сильнее, чем другой пейзаж, представавший глазам, когда я отрывал их от книги. Так два лета подряд я в овечьем жарой комбрейском саду, над книгой, которую тогда читал, томился по гористой и речной стране, где на каждом шагу попадаются лесоопроки, а на дне прозрачных вод гниют бревна, окруженные зарослями дикого кресса; а рядом вдоль низких оград вздымаются грозди лиловых и багряных цветов. И в эти два лета постоянно жившая у меня в мыслях мечта о женщине, которая меня полюбит, была проникнута прохладой ручьев и рек; и как бы ни рисовало мне воображение эту женщину, которую я мысленно призывал, по обе стороны от нее, как дополнительные цвета[84], сразу вырастали лиловые и багряные грозди[85].

И дело было не только в том, что образ, о котором мы мечтаем, всегда отмечен, приукрашен и обласкан отблеском посторонних красок, по случайному совпадению окружающих его в наших мечтах; ведь пейзажи из книг, которые я читал, были для меня не просто пейзажами, которые мое воображение представило мне ярче тех, что были у меня перед глазами в Комбре, пускай другими, но такими же, как те. Оттого, что автор выбрал именно эти пейзажи, и оттого, что моя мысль тянулась к его рассказу доверчиво, как к откровению, они казались мне (в отличие от наших мест и особенно нашего сада, бесхитростного плода благопристойной фантазии садовника, которую так презирала бабушка) неповторимой частью самой Природы, достойной наблюдения и изучения.

Если бы родители разрешили мне всякий раз, когда я читаю книгу, совершать путешествие в те края, которые в ней описаны, я бы решил, что сделал неоценимый шаг вперед в постижении истины. Мы чувствуем, что наша душа всегда окружает нас, но мы не заточены в ней, как в неподвижной тюрьме: скорее, мы все время стремимся куда-то вместе с нею, вечно рвемся за ее пределы, жаждем достичь внешнего мира, и нас все время томит какое-то отчаяние, и все время нам слышится один и тот же гул, но это не эхо наружных шумов, а отзвук внутренней дрожи. Мы пытаемся в самых разных вещах вновь уловить тот отблеск, которым озарила их наша душа, ведь именно этим они нам и дороги; но, разочарованные, убеждаемся, что в жизни они лишены той прелести, которой в наших мыслях наделило их соседство с определенными идеями; а иногда мы хотим повлиять на другого человека, и вот мы напрягаем все силы этой самой души, чтобы стать ловкими, блестящими, — и ясно чувствуем, что этот другой находится вне нас и нам никогда до него не добраться. Так, если я всегда воображал вокруг любимой женщины те края, которые были мне в тот миг желанней всего, то мне хотелось попасть туда по ее воле, хотелось, чтобы именно она увлекла меня в незнакомый мир, и объяснялось это не простой ассоциацией идей; нет, это были ключом все мои жизненные силы, и мои мечты о путешествии и о любви были только мгновениями в этом постоянном и неизменном биении жизни — мгновениями, которые сегодня я искусственно отделяю одно от другого, словно перерезаю на разной высоте радужную и мнимо неподвижную струю фонтана.

Наконец, продолжая отслеживать — от самого глубокого слоя до внешнего — разные состояния моей души, накладывающиеся одно на другое у меня в сознании, я, прежде чем добраться до черты горизонта, где они граничат с реальностью, обнаруживаю радости иного рода: уютно сидеть, дышать воздухом, полным вкусных запахов, и чтобы никакие гости не мешали; а когда раздастся трезвон на колокольне св. Илария, — видеть, как падает, ломоть за ломтем, запас истраченного дневного времени, пока до моего слуха не донесется последний удар, после которого я смогу подвести им итог, а после наступит долгая тишина, как будто началась в голубом небе последняя порция, отпущенная мне на чтение вплоть до вкусного обеда, который стряпает Франсуаза, а потом и обед подкрепит меня, уставшего читать и попевать за героями книги. И с каждым часом мне казалось, что прошлый трезвон раздавался всего несколько мгновений назад; самый недавний пристраивался в небе вплотную к предыдущему, и я не мог поверить, что в этой маленькой голубой дуге, зажатой между двумя золотыми отметинами, уместились шестьдесят минут. Иногда следующий час отбивали не только раньше, чем я ожидал, но еще и звонили на целых два удара больше, чем в прошлый раз; значит, один бой я пропустил, значит, что-то происходило, но не для меня; интерес к чтению охватил меня, как глубокий сон: мой одержимый слух был направлен на другое, и золотой колокол оказался стерт с лазурной поверхности тишины. Прекрасные воскресные дни под каштаном в комбрейском саду, заботливо очищенные мной от заурядных случайностей моего собственного существования, которые я заменял жизнью, полной приключений и удивительных чаяний на лоне земли, орошенной ручьями и реками, — когда я о вас думаю, вы по-прежнему воскрешаете ту жизнь в моей памяти и храните ее в себе, потому что в свое время вы постепенно обступали ее и, пока я читал дальше, а дневная жара спадала, вбирали эту жизнь в медленно меняющийся и пронизанный листвою непрерывный хрусталь ваших молчаливых, звучных, душистых и прозрачных часов.

Иногда среди бела дня меня отрывала от чтения садовникова дочка: она неслась сломя голову, опрокидывала по дороге апельсинное дерево в кадке, ранила себе палец, ломала зуб и кричала: “Идут! Идут!” — чтобы мы с Франсуазой прибежали скорей и ничего не упустили из предстоящего зрелища. Это бывало в те дни, когда через Комбре шли на маневры войска гарнизона, обычно по улице св. Хильдегарды. Покуда наши слуги, сидя в ряд на выставленных за оградой стульях, смотрели на воскресную гуляющую публику и сами перед ней красовались, садовникова дочка в зазоре между двумя дальними домами на Вокзальном проспекте успевала заметить сияние касок. Слуги торопливо уносили за ограду свои стулья, потому что, когда кирасиры шли по улице св. Хильдегарды, они занимали всю ее ширину, и конский галоп, задевая за стены домов, наполнял тротуары, затопляя их, как берега реки, когда разъяренный поток несется по ее слишком узкому ложу.

“Бедные ребята, — говорила Франсуаза, едва, бывало, успев дойти до ограды и уже в слезах, — бедная молодежь, выкосят ее, как траву в поле, подумаешь, так прямо сердце заходится”, — добавляла она, прижимая руку к груди, где заходилось сердце.

“До чего ж хороши эти юноши, и жизнь-то им не дорога, правда, сударыня?” — подзуживал садовник.

Его слова не пропадали даром.

“Жизнь не дорога? Да чем же еще дорожить, как не жизнью, единственным, чего Господь Бог другой раз не подарит. Ох ты боже мой, что

правда, то правда, они этим подарком не дорожат. Видала я таких в семидесятом году: в этих подлых войнах они совсем растеряли страх смерти; полоумные, одно слово; а после их уже ни к какому делу не приставишь, не мужчины, а львы какие-то”. (Франсуаза произносила: “ль-вы” и, с ее точки зрения, ничего лестного для людей в этом сравнении не было.)

Улица св. Хильдегарды так петляла, что издали не разглядеть было, кто по ней движется, и только в зазор между двумя домами на Вокзальной улице виднелись все новые каски, прибывавшие и блестящие на солнце. Садовнику было любопытно, много ли их там еще идет; ему хотелось пить, потому что солнце припекало. Тогда его дочка внезапно, словно выскочив из осажденной крепости, срывалась с места, добежала до угла и, сотню раз рискуя жизнью, возвращалась с пузатой бутылкой лакричной воды и с вестью, что там еще не меньше тысячи человек идут и идут со стороны Тиберзи и Мезеглиза. Франсуаза и садовник, придя к согласию, обсуждали, как следует себя вести в случае войны.

— Знаете, Франсуаза, — говорил садовник, — революция все-таки лучше войны: когда ее объявляют, на нее идут только те, кто сам хочет.

— Ох, и впрямь, так оно честнее. Садовник считал, что сразу после объявления

войны отменяют все поезда.

— Еще бы, хотят, чтобы никто не сбежал, — говорила Франсуаза.

А садовник подхватывал:

— Да уж, такие умники, — потому что, по его убеждению, война была хитрой ловушкой, которую государство пыталось подстроить народу и от которой, если бы можно было, все бы рады были разбежаться кто куда.

Но Франсуаза уже спешила назад к тете, я возвращался к книге, слуги опять устраивались у ворот и глядели, как оседает пыль и утихает переполох, поднятые проходившими солдатами. И долго еще после того, как все успокаивалось, на улицах было черно от необычайного скопления гуляющих. Перед каждым домом, даже там, где это было совершенно не принято, сидели и глазели слуги, а кое-где и хозяйева, украшая собой порог, как причудливой темной каймой, напоминающей тот черный узорный креп из водорослей и ракушек, что остается на берегу после сильного прибоя.

Но в обычные дни, напротив, ничто не мешало моему чтению. Только однажды оно было нарушено приходом Сванна и его замечанием по поводу книги нового для меня автора, Берготта[86], которую я тогда читал, и долго после этого образ женщины, о которой я мечтал, возникал передо мной не как раньше, на фоне стены, украшенной фиолетовыми веретенообразными цветами, а совершенно на другом фоне, перед порталом готического собора.

Впервые я услышал о Берготте от Блока[87], товарища, который был старше меня и вызывал у меня огромное восхищение. Когда я признался ему, что восхищаюсь “Октябрьской ночью”, он разразился оглушительным трубным хохотом и сказал: “Остерегайся раболепного преклонения перед съёром де Мюссе[88]. Субъект он весьма вредный и опасная бестия. Хотя должен признаться, что и он, и некий Расин, оба за жизнь написали по одной недурной строчке, с интересным ритмом, а главное — и для меня так это наивысшее достоинство — обе совершенно бессмысленные. Это: “Белеющий Камир и белый Олюоссон”[89] и “Она дочь Миноса, она дочь Пасифаи”[90]. Меня на них навела и примирила с этими двумя прохвостами статья моего обожаемого мэтра, папаши Леконта[91], угодного бессмертным богам. Кстати, вот книга, читать ее мне сейчас некогда, но этот выдающийся человек ее вроде бы рекомендует. Мне говорили, что автора, съёра Берготта, он почитает за субъекта весьма утонченного; его слово для меня — дельфийский оракул, хотя временами он проявляет довольно-таки необъяснимое благодушие. Почитай-ка эту лирическую прозу, и если великий чеканщик ритмов, создатель “Бхагавата” и “Борзой Магнуса”[92], сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты, дорогой мэтр, насладишься нектаром олимпийских богов”[93]. Еще раньше он с иронией в голосе попросил меня обращаться к нему “дорогой мэтр” и разрешить ему так же называть и меня. На самом-то деле нам очень даже нравилась эта игра, потому что мы еще не совсем вышли из возраста, когда веришь, что называть — то же самое, что созидать.

К сожалению, я не мог побеседовать с Блоком и попросить, чтобы он объяснил мне то, что сильно меня смущало (ведь я-то ожидал, что прекрасные стихи откроют мне истину, ни больше ни меньше), а именно — почему стихи еще прекраснее, если они совершенно бессмысленны. Дело в том, что Блока больше в дом не приглашали. Сперва его неплохо приняли. Правда, дедушка утверждал, что всякий раз, стоит мне подружиться с каким-нибудь мальчиком ближе, чем с другими, и привести его в дом, он непременно окажется евреем, причем в принципе дедушка ничего не имел против — даже его друг Сванн был еврейского происхождения, — он просто считал, что среди евреев обычно я выбираю не лучших. И вот, когда я приводил нового друга, он редко удерживался от того, чтобы не напеть “О Бог наших отцов” из “Жидовки”[94] или “Израиль, порви свои цепи”[95], без слов, разумеется (ти-ра-рам, та-рам, тарим), но я боялся, что товарищ узнает мотив и вспомнит слова.

Еще не видя их, только слыша имя, в котором часто не было ничего особо иудейского, он догадывался не только об иудейском происхождении тех моих друзей, которые в самом деле были иудеями, но даже и о том, что в родне у гостя не все в этом смысле слава богу.

— И как же зовут этого твоего друга, который к нам сегодня придет?

— Дюмон, дедушка.

— Дюмон? Ну, не знаю, не знаю... — И он затыкивал:

Стрелки, глядите зорче!

На страже стойте в тишине...

А потом искусно вворачивал несколько более точных вопросов и восклицал: “На страже! На страже!” — или, если ничего не подозревающая жертва уже прибыла и он в ходе замаскированного допроса успел незаметно исторгнуть у нее признание относительно ее происхождения, тогда, чтобы показать нам, что все ясно, дедушка довольствовался тем, что, глядя на нас, еле слышно мурлыкал:

Несмелого изразлита

Сюда не вы ли привлекли?

Или:

Земля отцов, о милый дол Хеврона[96],

или:

Да, мое богоизбранно племя.

В этих маленьких дедушкиных заскоках не было никакой неприязни по отношению к моим товарищам. Но Блок не понравился моим родным по другим причинам. Для начала он вывел из себя отца, который, видя, что он промок, с интересом спросил:

— Что там творится на дворе, господин Блок, разве шел дождь? Ничего не понимаю, барометр показывал превосходную погоду.

И вот что он получил в ответ:

— Я не могу с уверенностью вам сказать, был дождь или нет. Я живу настолько вне второстепенных физических обстоятельств, что органы моих чувств просто не дают себе труда их замечать.

— Послушай, сынок, да он же дурак, этот твой друг, — сказал мне отец, когда Блок ушел. — Куда это годится: даже не способен сказать, какая погода на дворе. Да что может быть интереснее этого! Просто болван.

Потом Блок не угодил бабушке, потому что после обеда, когда она сказала, что ей нездоровится, всхлипнул и утер слезы.

— Согласись, это не может быть искренне, он же меня совсем не знает, — сказала мне бабушка, — или у него не все дома.

Наконец, он вызвал всеобщее неудовольствие тем, что, придя на обед с опозданием в полтора часа и весь в грязи, он вместо извинений сказал:

— Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных перипетий и условного подразделения времени. Я бы охотно вернул в обиход трубки с опиумом и малайские кинжалы, но мне неизвестно назначение таких бесконечно более губительных, хотя и пошло буржуазных вещей, как часы и зонтик.

Он бы все равно приехал в Комбре опять. Конечно, не такого друга желали для меня родители; правда, в конце концов они решили, что слезы, которые он пролил из-за бабушкиного недомогания, были непритворными; но инстинктивно или по опыту они знали, что всплески нашей чувствительности не очень-то влияют на то, как мы поступаем, и на весь ход нашей жизни, и что для исполнения нравственных обязательств, для верности друзьям, для труда, для соблюдения режима более надежным фундаментом оказываются слепые привычки, чем мгновенные, пылкие и бесплодные порывы. Вместо Блока они бы хотели для меня таких товарищей, которые давали бы мне не больше, чем положено уделять друзьям по правилам буржуазной морали, которые не посылали бы мне ни с того ни с сего корзину фруктов, потому что в этот день они думали обо мне с нежностью, и пускай бы эти товарищи не умели, уступив фантазии или растрогавшись, склонить в мою пользу неподкупную чашу весов, взвешивающих долги и требования дружбы, но уж зато бы они и не перекашивали ее еще больше мне в ущерб. Идеальным примером таких натур, которые, даже видя нашу неправоту, не в силах отказать нам в том, что нам причитается, могла служить моя двоюродная бабушка, которая многие годы была в ссоре с племянницей и никогда с ней не разговаривала, но не изменяла своего завещания, в котором оставила ей все свое состояние, потому что это ведь была ее ближайшая родственница и так “полагалось”.

Но я любил Блока, родители хотели меня порадовать, неразрешимые вопросы о бессмысленной красоте дочери Миноса и Пасифаи изводили меня, и вреда от этого оказывалось больше, чем было бы от новых разговоров с Блоком, хоть мама и считала, что эти разговоры мне не на пользу. И Блока принимали бы в Комбре и дальше, если бы после того обеда он не поведал мне — эта новость впоследствии сильно повлияла на мою жизнь, добавив в нее счастья, а потом горя, — что у женщин только любовь на уме и сопротивление любой из них можно сломить, а потом не поделился со мной слухом, будто у моей двоюродной бабушки была бурная молодость и она открыто жила у кого-то на содержании. Я не удержался и пересказал эти речи родителям; в следующий раз, когда Блок появился, его выставили за дверь, а позже, когда я подошел к нему на улице, он обдал меня холодом.

Но насчет Берготта он сказал верно.

Первые дни все то, что потом я так полюбил в его стиле, словно музыкальный мотив, который позже вы будете обожать до безумия, но теперь еще не расслышали как следует, как-то до меня не доходило. Я читал его роман и не мог оторваться, но воображал, что меня интересует только сюжет, — так в первые мгновения любви стараешься ежедневно встречаться с женщиной на людях, там, где происходит что-нибудь занятное, и воображаешь, будто эти развлечения тебя и притягивают. Потом я стал замечать редкие, почти архаичные выражения, которыми он с удовольствием пользовался подчас, когда его стиль слегка приподнимали тайные токи гармонии, неясные пробы голоса; и, когда он упоминал “тщетное обольщение жизни”[97], “неверных призраков бессменное круженье”[98], “бесплодную и восхитительную муку понимания и любви”[99], “трогательные изображения, навеки облагородившие чтимые и завораживающие фасады соборов”[100], целая философия, совершенно для меня новая, открывалась для меня в этих удивительных

образах, словно они-то и будили пение арф, которые тут же вступали, аккомпанируя высокой красоте самих образов. Одно такое место у Берготта, третье или четвертое из тех, что я заметил в книге, принесло мне радость, несравнимую с той, какую доставило мне первое; я чувствовал, что эта радость родилась в более глубоких недрах моего “я”, в краю более спокойном, просторном, где словно сметены все препятствия и преграды. Как будто, признав тот самый вкус к редким выражениям, то самое музыкальное откровение, тот самый идеализм, который уже несколько раз, незаметно для меня, оказывался причиной моей радости, я уже не сознавал, что передо мной — такая-то страница такой-то книги Берготта, оставляющая одномерное изображение на поверхности моей мысли, а скорее мне казалось, что передо мной “идеальный отрывок” из Берготта, общий для всех его книг, и все аналогичные отрывки, которые можно было бы спутать с этим, придавали ему своего рода плотность, объем, от которых вырастали мои умственные силы.

В своем восхищении Берготтом я был не совсем одинок; он был любимым писателем одной очень образованной маминной подруги, а доктор дю Бульбон дочитывал его последнюю книгу, забыв о дождавшихся больных; именно из его кабинета да из парка, прилегавшего к Комбре, разлетелись первые семена восхищения Берготтом, растения тогда еще редкостного, а сегодня распространенного повсеместно, так что выросший из этих семян цветок, идеальный и примелькавшийся, вы найдете где угодно — в Европе и в Америке, даже в малой деревушке. Маминя подруга и, видимо, доктор дю Бульбон больше всего, как и я, любили в книгах Берготта тот же музыкальный поток, те старинные обороты речи и другие, очень простые и всем известные, которые он умел так кстати вставить и подчеркнуть, что становилось понятно, как они ему дороги; а в печальных местах — некоторую резкость, легкую хрипотцу в голосе. И наверное, он сам чувствовал, что в этом кроется его главное очарование. Ведь и в позднейших своих книгах, едва доходило до какой-нибудь великой истины или до имени знаменитого собора, он прерывал свой рассказ и взывал к читателю, обращался к нему с пространными мольбами и давал волю тем токам, которые в более ранних книгах оставались внутри его прозы, так что догадаться о них можно было только по ряби на поверхности, и, может быть, они были еще нежнее, еще гармоничнее прежде, пока эти токи таились в глубине и невозможно было указать точно, где рождался, где замирал их ропот. Эти отступления, которые он так любил, нравились нам больше всего. Я их знал наизусть. Когда он подхватывал нить повествования, я бывал разочарован. Заводя речь о предмете, красоты которого я до сих пор не замечал, о сосновых лесах, о буре, о соборе Парижской Богоматери, о “Гофоллии” или “Федре”[101], он всякий раз создавал образ, в котором красота эта неожиданно озаряла меня. И, чувствуя, что вселенная состоит из множества частиц, которые остались бы недоступны моему убогому восприятию, если бы он их ко мне не приблизил, — я жаждал, чтобы он высказал мнение, придумал метафору обо всем на свете, особенно о том, что мне и самому удастся повидать, а больше всего — о памятниках французской старины и некоторых морских пейзажах, потому что в своих книгах он настойчиво возвращался к ним опять и опять, то есть, очевидно, прозревал в них огромный смысл и красоту. К сожалению, я почти ни о чем не знал его мнения. Я был уверен, что оно совершенно отличается от моего собственного, потому что снисходит ко мне из неведомого мира, до которого я жаждал возвыситься; я был настолько убежден, что мои мысли показались бы этому светочу разума полной нелепостью, что вообще от них отказался, и, когда я случайно находил в какой-нибудь из его книг то, о чем я и сам уже думал, сердце мое разрывалось на части, словно сам Господь Бог в своей милости даровал мне эту мысль, признал ее справедливость и красоту. Иногда страница Берготта говорила о том же, о чем я часто писал по ночам маме и бабушке, когда мне не спалось; такая страница была словно собрание эпиграфов к моим письмам. И даже потом, когда я начал сочинять книгу, к некоторым своим фразам, вызывавшим у меня сомнение, достаточно ли они хороши и стоит ли продолжать, я находил параллели у Берготта. Но нравились они мне, только когда я вычитывал их у Берготта; а когда сочинял сам, стараясь в точности отразить то, как я понимал собственную мысль, и опасаясь, что “получится непохоже”, я только и делал, что гадал, могут ли они понравиться! Но в сущности, только такие фразы, только такие идеи я и любил. Мои беспокойные усилия, полные недовольства собой, сами были знаком этой, может быть, безрадостной, но зато глубокой любви. Кроме того, когда в чужом сочинении я неожиданно находил нечто похожее, а значит, можно было больше не придираюсь к себе, не терзаться угрызениями совести, тут-то я с восторгом разрешал себе наслаждаться этими своими фразами, как повар, который в кои-то веки свободен от стряпни и может себе позволить немного гурманства. Однажды в книге Берготта, в том месте, где он говорил о старой служанке, я наткнулся на шутку, которая на роскошном торжественном языке писателя звучала еще ироничнее, чем у меня, и все же это была та самая шутка, которую я часто повторял бабушке, говоря о Франсуазе; а в другой раз обнаружил, что в одном из своих сочинений, этих зеркал истины, он не погнушался замечанием, аналогичным тому, которое я высказывал по поводу нашего друга Леграндена (эти замечания о Франсуазе и Леграндене я, пока не набрел на такие же у своего любимого автора, готов был вымарать во имя Берготта, уверенный, что он бы счел их безынтересными), и вдруг мне почудилось, что моя смиренная жизнь и царство истины не так далеки друг от друга, как я думал, что в некоторых точках они даже совпадают, и в порыве счастья и веры в себя я заплакал над его страницами, как в объятиях вновь обретенного отца.

По книгам я представлял себе Берготта немощным, разочарованным старцем, который потерял детей и так и не смог утешиться. И вот я читал, я беззвучно выпевал его прозу, возможно, более dolce, более lento, чем она была написана, и простейшая фраза, обращаясь ко мне, звучала нежнее. Больше всего я любил его философию, я навсегда подпал под ее власть. Из-за нее я с нетерпением ждал возраста, когда поступлю в коллеж, в так называемый философский класс. Но мне хотелось, чтобы там ничего другого не делали, а жили исключительно размышлениями о Берготте, и, если бы мне сказали, что метафизики, которыми я к тому времени увлекусь, ни в чем не будут на него похожи, меня бы охватило отчаяние, как влюбленного, который хочет любить вечно, а ему толкуют о других любовницах, которые будут у него потом.

Однажды в воскресенье, когда я читал в саду, меня отвлек Сванн, который пришел к родителям.

— Что вы читаете, можно взглянуть? О-о, Берготт? Кто же вам посоветовал эти книги?

Я сказал, что Блок.

— Ах да, тот самый мальчик, я его как-то у вас видел, он так похож на портрет Магомета Второго у Беллини[102]. Поразительно: те же изогнутые брови, тот же нос с горбинкой, те же выступающие скулы. Когда он отрастит бородку, это будет то же лицо. Во всяком случае, у него есть вкус: Берготт — сплошное очарование. — И, видя, как я восхищаюсь Берготтом, Сванн, никогда не говоривший о людях, с которыми был знаком, по доброте душевной сделал для меня исключение и сказал: — Я хорошо его знаю, и если вам будет приятно, чтобы он написал несколько слов на вашей книжке, я могу его об этом попросить. — Я не посмел принять это предложение, но стал расспрашивать Сванна о Берготте: — Не могли бы вы мне сказать, какой его любимый актер?

— Какой актер, не знаю. Но знаю, что, по его мнению, ни один актер-мужчина не сравнится с Берма, которую он ставит выше всех. Вы ее видели?

— Нет, родители меня не пускают в театр.

— Очень жаль. Попросите их хорошенько. Берма в “Федре”, в “Сиде”[103] — это, конечно, всего лишь актриса, но, знаете, я не очень-то верю в “иерррархию” искусств (и я отметил про себя, как часто меня поражало в его разговорах с бабушкиными сестрами, что когда он рассуждает о серьезных вещах и употребляет выражение, которое, казалось, подразумевает мнение на важную тему, он тщательно выделяет его особой интонацией, машинальной и насмешливой, словно в кавычки берет, как будто не желая, чтобы оно исходило от него, и говоря: “Иерархия, знаете, словечко, которое любят зануды?” Но если это занудство, зачем он сам говорит “иерархия?”). Мгновение спустя он добавил: — Вас ждет возвышенное зрелище, не хуже какого угодно шедевра, ну, не знаю... не хуже, чем — и он рассмеялся, — чем “Шартрские королевы”[104]! — Его нелюбовь серьезно высказывать свое мнение всегда казалась мне чертой эlegantности и столичности, она словно противопоставлялась захолустному догматизму бабушкиных сестер; кроме того, я подозревал, что в кружке Сванна, в противовес восторженности предыдущих поколений, восстановлены в правах, и даже чрезмерно, точные мелкие факты, прежде считавшиеся вульгарными, а “фразы” объявлены вне закона. Но теперь мне почудилось что-то оскорбительное в этой особенности поведения Сванна. Он словно ни о чем не смел судить и чувствовал себя уверенно, только если мог добросовестно изложить точные сведения. Ну как же он не понимает, что приписывать такое значение точной детали — все равно значит излагать свою точку зрения. В мыслях я вернулся к тому обеду, когда мне было так грустно, потому что мама не собиралась подниматься ко мне в спальню: Сванн тогда сказал, что балы у принцессы Леонской — события совершенно незначительные. Но ведь он в подобных развлечениях и проводит жизнь. Все это показалось мне противоречивым. Для какой другой жизни приберегает он возможность высказать наконец серьезно, что он думает о том и об этом, изложить такие мнения, которые можно не брать в кавычки, и покончить с занятиями, которые сам же он, предаваясь им с педантичной любезностью, считает смехотворными? А кроме того, когда Сванн говорил со мной о Берготте, я подметил в нем что-то такое, что не было ему свойственно, а, наоборот, роднило между собой в то время всех поклонников писателя, мамину подругу, доктора дю Бульбона. Как Сванн, они говорили о Берготте: “Сплошное очарование, он такой необыкновенный, у него своя особая манера, слегка надуманная, но такая приятная! Не надо и смотреть на имя автора, его ни с кем не спутаешь”. Но никто не осмелился бы сказать: “Это великий писатель, у него большой талант”. Они вообще не говорили о его таланте. Не говорили, потому что не знали. У нас уходит очень много времени на то, чтобы распознать в непривычном лице нового писателя тот образец, который в нашем музее общих понятий носит имя “большой талант”. Именно из-за того, что лицо это такое новое, нам кажется, будто оно недостаточно похоже на то, что мы зовем талантом. Мы скажем скорее — оригинальность, очарование, изысканность, сила; а потом в один прекрасный день мы вдруг понимаем, что все это вместе и есть талант.

— А нет ли у Берготта книг, в которых бы говорилось о Берма? — спросил я Сванна.

— По-моему, что-то есть в брошюрке о Расине[105], но она, вероятно, распродана. Хотя может быть, ее переиздали. Я узнаю. Между прочим, я могу спросить у Берготта все, что вам угодно: недели не проходит, чтобы он у нас не обедал. Они большие друзья с моей дочкой. Вместе осматривают старинные города, соборы, замки.

Я не имел никакого понятия о социальной иерархии, и то, что мой отец считал невозможным встречаться с женой и дочерью Сванна, давно уже заставляло меня воображать, что нас с ними разделяет огромная дистанция, и придавало им в моих глазах дополнительное обаяние. Я жалел, что моя мама не красит волосы и не пользуется губной помадой, как г-жа Сванн, которая, как знал я со слов нашей соседки г-жи Сазра, делала это, чтобы нравиться, причем не мужу, а г-ну де Шарлюсу, и думал, что она нас, наверное, презирает, и это было мне очень обидно, особенно из-за мадмуазель Сванн: я слышал, что она очень хорошенькая, и часто мечтал о ней, всякий раз по собственному произволу наделяя ее одним и тем же прелестным личиком. Но в тот день, когда я узнал, что мадмуазель Сванн, принадлежа к избранникам природы, купается в ее неслыханных дарах, словно в родной стихии, и, к примеру, спрашивая родителей, будут ли сегодня гости к обеду, слышит в ответ два светозарных слога, имя золотого сотрапезника, хотя для нее это всего лишь старый друг семьи, Берготт; что если для меня непринужденная застольная беседа — это разглагольствования моей двоюродной бабушки, то в ее мире это сужденья Берготта обо всех на свете предметах, не попавших в его книги, тех самых, о которых мне бы хотелось услышать его пророчества; и наконец, что, когда она осматривает города, рядом с нею шагает он, окруженный незримым ореолом своей славы, подобный богам, снисходившим с небес к смертным людям, — тут-то до меня и дошло, как неслыханно взыскана судьбой мадмуазель Сванн и в то же время каким грубияном и невеждой я бы ей показался, и я так остро осознал все блаженство и всю невозможность быть ее другом, что преисполнился одновременно желанием и отчаяния. Теперь, думая о ней, я чаще всего представлял, как она перед порталом собора толкует мне значение статуй и с улыбкой, в которой сквозит одобрение, знакомит меня, своего друга, с Берготтом. И очарование мыслей, которые рождали во мне соборы, очарование холмов Иль-де-Франса и равнин Нормандии все время наплывали, словно блики, на тот образ мадмуазель Сванн, который я себе воображал: это было существо, идеально достойное любви. Вера в то, что другое существо участвует в некоей неведомой нам жизни, куда и мы можем проникнуть благодаря его любви, — вот главное условие рождения любви, вот то, чем она больше всего дорожит и чем обесценивается все остальное. Даже тем женщинам, которые утверждают, будто ценят в мужчине только внешность, видится в этой внешности излучение какой-то особенной жизни. Вот почему они любят военных или пожарных; из-за мундира они не столь придирчивы к лицу: им кажется, что сердце, которое они ласкают под доспехом, — не такое, как все, а удалое и нежное; и когда юный монарх, наследный принц, путешествует в чужих краях, для побед над самыми стойкими сердцами ему не нужен чеканный профиль, без которого было бы, пожалуй, не обойтись биржевому маклеру.

Пока я читал в саду, — моя двоюродная бабушка мысли не допускала, что этим можно заниматься в иные дни, кроме воскресенья, когда серьезные дела под запретом: например, сама она не занималась шитьем (в будний день она бы мне заметила: “С чего это ты развлекаешься чтением, сегодня все-таки не воскресенье”, придавая слову “развлекаться” оттенок ребячества и пустой траты времени), — тетя Леони, поджидая Элали, беседовала с Франсуазой. Она ей рассказывала, что сию минуту видела госпожу Гупилль “без зонтика, в том шелковом платье, которое она заказывала в Шатодёне. Если она собралась далеко и не вернется до вечерни, измокнет ее платье насквозь”.

— Все может быть, все может быть (что означало — а может быть, и не измокнет), — отвечала Франсуаза, не желая напрочь отвергать возможность более благоприятного исхода.

— Погодите-ка! — восклицала теть, хлопая себя по лбу. — Мне пришло в голову: я ведь так и не знаю, опоздала она в церковь к возношению даров или не опоздала. Авось не забуду спросить у Элали... Франсуаза, вы только гляньте, какая черная туча над колокольней и как черепица сверкает на солнце, прямо глазам больно: ясное дело, день без дождя не кончится. Иначе просто и быть не может, слишком сегодня жарко. И чем скорее польет, тем лучше: все равно, пока гроза не начнется, “Виши” не пройдет, — добавила теть, подразумевая, что желание ускорить прохождение воды через ее организм несравненно важнее для нее, чем сохранность платья г-жи Гупиль.

— Все может быть, все может быть.

— И ведь на площади в дождь не особенно и укроешься. Как, уже три часа? — внезапно ахала теть, бледнея. — Значит, вечерня уже началась, а про пепсин-то я забыла! Теперь понятно, почему “Виши” не действует.

И, схватившись за переплетенный в фиолетовый бархат и оправленный в золото молитвенник, в спешке роняя из него отделанные пожелтевшей кружевной бумажной каемкой картинки, которыми были заложены праздничные дни, теть глотала капли и поспешно принималась читать священные тексты, понимать которые ей слегка мешало беспокойство о том, успеет ли пепсин, принятый с таким опозданием, догнать минеральную воду и вывести ее вон. “Три часа, прямо не верится, как время бежит!”

Тихий стук в стекло, словно что-то ударило в него, а потом легонько просыпалось, словно из верхнего окна бросают песок, и песчинки все больше, в их стуке появляются стройность и размеренность, он становится плавным, звучным, мелодичным, всеобъемлющим: пошел дождь.

— Ну, Франсуаза, что я говорила? Как полило! И мне послышалось, будто колокольчик на садовой калитке звякнул, сходите туда, гляньте, кому не сидится дома в такую погоду.

Франсуаза возвращалась:

— Это госпожа Амеде (моя бабушка), она сказала, что немного пройдет. Хотя дождь так и льет.

— Меня это не удивляет, — замечала теть, возводя глаза к небу. — Я всегда говорила, что она без царя в голове. Вот уж не хотелось бы мне сейчас вместо нее под дождь.

— Госпожа Амеде у нас особенная, — кротко отзывалась Франсуаза, приберегая до случая, когда будет разговаривать с другими слугами, соображение, что у моей бабушки “не все дома”.

— Уже и Святые Дары выносили! Не придет Элали, — вздыхала теть. — Побойтся, в непогоду-то.

— Да ведь еще нет пяти часов, госпожа Октав, еще только полпятого.

— Полпятого? А мне уже пришлось поднять занавески, а то тьма-тьмуша. И это в полпятого! Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов! [106] Ах, Франсуаза, милочка, видно, Бог и впрямь на нас прогневался. И то сказать, люди в наше время чересчур распустились. Как говорил мой бедны* Октав, Бога забыли, вот он кары на нас и посылает

Жаркий румянец заливал тетины щеки: являлась Элали. К сожалению, не успевала она войти, как Франсуаза возвращалась в комнату с улыбкой, соответствующей, по ее разумению, той радости, которую неминуемо вызовут у тети ее слова; она отчеканивала каждый слог, чтобы показать, что она, пускай косвенной речью, передает, как положено хорошей прислуге, те самые слова, которыми соблаговолил воспользоваться посетитель:

— Господин кюре почтет за честь и удовольствие повидать госпожу Октав, если она не отдыхает, конечно. Господин кюре не хотел бы оказаться в тягость. Господин кюре внизу, я его в залу свела.

На самом деле визиты кюре не так уж радовали теть, как представлялось Франсуазе, и ликование, которым всякий раз с готовностью расцветало ее лицо, когда она докладывала о кюре, не вполне соответствовало чувствам больной. Кюре (превосходный человек — жаль, что мне не так уж много привелось с ним беседовать, потому что, ничего не смысля в искусстве, он знал зато множество этимологических толкований [107]) привык сообщать видным посетителям сведения о комбрейской церкви (он даже намеревался написать книгу о приходе Комбре) и своими длинными, до бесконечности повторяющимися объяснениями утомлял теть. А уж когда он совпадал с Элали, его посещение оказывалось ей и вовсе некстати. Ей больше хотелось насладиться обществом Элали, а не принимать всех гостей разом. Но она не смела отказать кюре и только намекала Элали, чтобы та задержалась после кюре и посидела еще.

— Господин кюре, а что это говорят, у вас в церкви какой-то художник установил мольберт и пишет копию витража. Я вон уже до каких лет дожила, можно сказать, а такого не слыхивала. И чего только люди не выдумают в наши дни! Да витражи — самое безобразное, что есть в нашей церкви.

— Я не сказал бы, что самое безобразное — это витражи: в Святом Илари, конечно, есть на что посмотреть, но много и такого, что вконец обветшало, ведь мою несчастную базилику одну на всю епархию ни разу не реставрировали! Бог ты мой, ну ладно паперть грязная и ветхая, смотрится она, что ни говори, величественно; шпалеры с Есфирью тоже держатся, я лично за них и двух су не дам, но знатоки считают, что они уступают только санским [108]. Пожалуй, и впрямь, не считая некоторых чересчур реалистичных деталей, автору не откажешь в наблюдательности. Но о витражах я и слушать не хочу. Какой толк в таких окошках, через которые и свет-то не проходит, и хуже того, они бросают отблески непонятно какого цвета, которые слепят глаза, и это в нашей-то церкви, где буквально все плиты положены на разном уровне, причем мне их отказываются заменить, потому что, видите ли, это все надгробья аббатов Комбре и сеньоров Германтских, древних графов Брабантских! Прямых предков нынешнего герцога Германта, да и герцогини тоже, — она ведь урожденная Германт и замуж вышла за своего кузена. (Моя бабушка, которая настолько не интересовалась важными персонами, что вечно путала их имена, всякий раз, как при ней называли герцогиню Германтскую, утверждала, что, кажется, она в каком-то родстве с г-

хой де Вильпаризи. Все покаявались со смежу; бабушка пыталась обороняться, ссылаясь на письмо, сообщавшее о каком-то семейном событии: “Сдается мне, что там упоминались Германты”. И в этом единственном случае я объединялся с другими против нее, не в силах поверить, что между ее подругой по пансиону и отпрыском Женевьевы Брабантской может быть какая-то связь.) Возьмите Руссенвиль — сегодня это крестьянский приход, а ведь в древние времена городок процветал благодаря производству фетровых шляп и стальных часов. Кстати, относительно этимологии Руссенвиля у меня есть сомнения. Можно предположить, что первоначальное название его было Рувиль (Radulfi villa), как Шатору (Castrum Radulfi), но об этом как-нибудь в другой раз. Ну так вот. В тамошней церкви великолепные витражи, прямо как современные, да хоть этот впечатляющий “Въезд Луи-Филиппа в Комбре”, ему бы самое место было в Комбре — он, говорят, не уступает витражам Шартра[109]. Я как раз вчера виделся с братом доктора Перспье; он ценитель подобных вещей, так вот он считает, что тот витраж превосходной работы. Я и говорю этому художнику, весьма, кстати, любезному, и кистью он, похоже, владеет блестяще: “Да что такого необычного вы нашли в этом витраже, который даже темнее прочих?”

— Я уверена, что если вы попросите у его высокопреосвященства новый витраж, — вяло отзывалась тетя, подумывая о том, что все это начинает ее утомлять, — он вам не откажет.

— Как бы не так, госпожа Октав, — отвечал кюре. — Ведь именно его высокопреосвященство первый обратил внимание на этот злополучный витраж и доказал, что там изображен Жильберт Злой[110], сир де Германт, прямой потомок Женевьевы Брабантской, также происходившей из Германтов, которому святой Иларий дарует отпущение грехов.

— Не понимаю, где там святой Иларий?

— Ну как же, разве вы не замечали в углу витража даму в желтом платье? Так вот, это и есть святой Иларий, которого, как вы знаете, в некоторых провинциях зовут святым Илье, святым Элье, а в Юре даже святым Илией[111]. Кстати, все эти искажения имени sanctus Hilarius, в сущности, отнюдь не самые забавные из превращений, которые претерпели имена праведников. Вот ваша покровительница, дорогая Элали, sancta Eulalia, — знаете, во что она превратилась в Бургундии? Просто-напросто в святого Элигия: святая превратилась в святого[112]. Представляете себе, Элали, чтобы вас после смерти сделали мужчиной?

— Господин кюре все шутит.

— Брат Жильберта, Карл Заика, государь благочестивый, но рано потерявший отца, Пипина Безумного[113], скончавшегося от последствий душевной болезни, вершил верховную власть со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине, так что, если в каком-нибудь городе ему не нравился отдельный человек, он мог истребить весь город до последнего жителя. Жильберт, желая отомстить Карлу, приказал сжечь комбрейскую церковь, самую первую, ту, которую обещал выстроить на месте могилы святого Илария Теодоберт[114], если Всевышний ниспошлет ему победу; было это, когда он, отправляясь на войну с бургундами, покидал в окружении придворных свой загородный дом неподалеку отсюда, в Тиберзи (Theodeberciacus). От той церкви уцелела только крипта, куда вас, должно быть, водил Теодор, а остальное Жильберт сжег. Затем он разбил незадачливого Карла с помощью Вильгельма Завоевателя[115] (кюре произносил на старинный лад “Вилельма”), поэтому к нам сюда приезжает много англичан. Но кажется, он так и не завоевал симпатии жителей Комбре, потому что они накинулись на него после богослужения и отрубили ему голову. Кстати, у Теодора можно взять почитать книжку, в которой все это объясняется.

Но бесспорно, любопытнее всего в нашей церкви вид, который открывается с колокольни, — великолепный вид. Вам, конечно, при вашей хрупкости, я бы не посоветовал карабкаться по нашим девятисто семи ступеням, что составляет ровно половину знаменитого Миланского собора. Тут и здоровяк устанет, тем более что идти приходится согнувшись в три погибели, чтобы не разбить себе голову, и попутно обираешь всю паутину с лестницы. Во всяком случае, вам бы надо было закутаться хорошенько, — продолжал он, не замечая, с каким негодованием встречена тетей идея, что она способна вскарабкаться на колокольню, — потому что, когда доберешься до верху, там такой ветрище! Некоторые утверждают, будто там веет смертельным холодом. И все равно по воскресеньям там всегда компании, которые иногда приезжают даже из очень дальних мест, восхищаются красотой панорамы и возвращаются очарованные. Да вот в ближайшее воскресенье, если погода продержится, наверняка будет народ по случаю молебнов[116]. В общем, надо признать, что обзор оттуда открывается феерический, в таком, знаете, необычном ракурсе — так что все приобретает совершенно особый отпечаток. В ясную погоду видно до самого Вернейля. Главное, одновременно охватываешь взглядом то, что обычно можно увидеть только по отдельности, например течение Вивонны и укрепления Сент-Ассиз-де-Комбре, от которых ее заслоняет стена огромных деревьев, или, скажем, разные каналы Жуи-ле-Виконт (Gaudiacus vice comitis, как вы понимаете). Всякий раз, когда я ездил в Жуи-ле-Виконт, я видел один кусок канала, потом завернешь за угол — и виден другой кусок, но тогда уже не виден первый. Уж как я ни пытался их мысленно совместить, особых результатов это не давало. А с колокольни святого Илария другое дело: видно, что эти каналы — целая сеть, пронизывающая всю округу. Только воду не разглядеть, просто что-то наподобие огромных щелей, которые так точно делят городок на четверти, ну прямо круглая булка, еще целая, но уже надрезанная. Но на самом-то деле, чтобы представить себе все как есть, хорошо бы одновременно быть и на колокольне святого Илария, и в Жуи-ле-Виконт.

Кюре так утомлял тетю, что, как только он удалялся, ей приходилось спрашивать и Элали.

— Вот, Элали, милая, — говорила она слабым голосом, вытаскивая монету из маленького кошелька, который лежал у нее под рукой, — это чтобы вы не забывали меня в своих молитвах.

— Ах, госпожа Октав, даже и не знаю, брать или нет, вы же знаете, что я не за тем прихожу! — говорила Элали всякий раз так нерешительно и застенчиво, словно в первый раз, и всякий раз с напускным неудовольствием, которое сместило тетю, но было ей скорее приятно, потому что, если когда-нибудь Элали принимала монету с чуть меньшей досадой, чем обычно, тетя говорила:

— Не понимаю, что случилось с Элали: я ей дала то же, что и всегда, а она вроде была недовольна.

— Как бы то ни было, думаю, что жаловаться ей не на что, — вздыхала Франсуаза, которой было свойственно считать мелочью все, что перепало от тети ей и ее детям, и сокровищами, безумно расточаемыми на неблагодарную особу, — монетки, которые каждое воскресенье перекочевывали в ладонь Элали, да так незаметно, что Франсуазе никогда не удавалось их увидеть. Не то чтобы Франсуаза

исходивала на деньги на деньги тетья давала Элали. Тетино богатство и так давало ей огромные преимущества: она ведь знала, что богатство хозяйки заодно возвышает и украшает в глазах окружающих и ее служанку и что она, Франсуаза, пользовалась почетом и уважением в Комбре, Жуи-ле-Виконт и прочих местах благодаря многочисленным тетиним фермам, частым и продолжительным визитам кюре, а также удивительному количеству выпиваемых тетей бутылок “Виши”. Она скупилась только ради тети; если бы она управляла тетиним состоянием (что было ее мечтой), она бы обороняла его от вмешательства посторонних с материнской свирепостью. Впрочем, Франсуаза готова была смириться с тетиним неисправимым великодушием, с тем, что хозяйка не отказывала себе в удовольствии раздавать деньги, — но пусть бы, по крайней мере, благодетельствовала богатым. Возможно, Франсуаза полагала, что поскольку богачи не нуждаются в тетиних подарках, их нельзя заподозрить в том, что они лишь ради подарков ее любят. К тому же, если подношения делались людям, располагающим большими средствами, — г-же Сазра, г-ну Сванну, г-ну Леграндену, г-же Гупиль, людям “того же ранга”, что моя тетья, “подходящим” людям, — она считала, что это входит в ритуал странной и блистательной жизни богачей, которые ездят на охоту, дают балы, обмениваются визитами, — тех, на кого она смотрит с восхищенной улыбкой. Но совсем другое дело, если адресатами тетиних благодеяний оказывались, по выражению Франсуазы, “такие же люди, как я, ничем не лучше меня”, — этих она сильнее всего презирала, если только они не называли ее “госпожа Франсуаза” и не считали себя “хуже ее”. И когда она видела, что тетья, вопреки ее советам, поступает по-своему и тратит деньги — во всяком случае, Франсуаза в это верила — на недостойных людей, те дары, которые она сама получала от тети, представлялись ей ничтожными по сравнению с воображаемыми суммами, которые поступали в пользу Элали. Не было в окрестностях Комбре мало-мальски порядочной фермы, которую, как предполагала Франсуаза, Элали не могла бы купить на доходы от визитов к тете. Правда, Элали строила такие же предположения насчет несметных тайных богатств Франсуазы. Обычно после ухода Элали Франсуаза пускалась на ее счет в беспощадные прорицания. Она ее ненавидела, но боялась и почитала себя обязанной, когда Элали появлялась, обходиться с ней любезно. После ухода Элали она отыгрывалась, никогда, правда, не называя Элали по имени, зато изрекая дельфийские пророчества или сентенции общего характера, под стать Екклесиасту, но так, чтобы от тети не ускользнуло, в кого они метят. Глянув из-за краешка шторы, закрылась ли за Элали дверь, она приговаривала: “Втируши знают, как подлизаться, чтобы их звали и совали им подачки, но погодите, придет день и Господь на небе их всех покарает”, — и метала взгляды искоса с многозначительностью какого-нибудь Иоаса, который произносит, имея в виду исключительно Гофолию:

Иссохнет, как поток, неправедного счастье[117].

Но когда Элали и кюре являлись одновременно и бесконечный визит кюре истощал тетины силы, Франсуаза выходила из спальни вслед за Элали со словами:

— Отдохните, госпожа Октав, вид у вас ужас какой усталый.

А тетья даже не отвечала, вздыхая так, будто это был ее последний вздох, и прикрыв глаза, как мертвая. Но не успевала Франсуаза спуститься, как дом оглашал яростный четырехкратный звонок сонетки и тетья, приподнявшись в постели, кричала:

— Элали уже ушла? Представляете, ведь я позабыла у нее спросить, поспела ли госпожа Гупиль в церковь до возношения Даров! Скорее бегите за ней!

Но Франсуаза не успевала догнать Элали и возвращалась ни с чем.

— Какая досада! — говорила тетья, качая головой. — Самое важное забыла спросить!

Так проходила жизнь моей тети Леони, всегда одинаковая, в сладком однообразии, которое сама она с притворным пренебрежением и глубоко запрятанной нежностью называла “мое прозябание”. Всеми оберегаемое, — не только дома, где все на опыте убедились, что бессмысленно советовать ей, как правильней заботиться о здоровье, и мало-помалу примирились с тем, что надо это “прозябание” просто уважать, но даже и в деревне, где упаковщик, прежде чем заколачивать ящики, посылал к Франсуазе узнать, не “отдыхает” ли тетья, — один раз это прозябание все же оказалось в тот год нарушено. Как созревает незаметно для всех и неожиданно срывается с ветки притаившийся плод, так однажды ночью у судомойки начались роды. Но боли у нее были нестерпимые, а в Комбре не было акушерки, и пришлось Франсуазе до рассвета отправляться за акушеркой в Тиберзи. Вопли служанки помешали тете отдыхать, а Франсуаза, хотя расстояние было невелико, пришла домой очень поздно, и тетья без нее намучилась. И вот мама сказала мне утром: “Поднимись к тете, узнай, не нужно ли ей чего”. Я вошел в первую комнатку и в открытую дверь увидел тетю, она спала, лежа на боку; я слышал, как она слегка похрапывает. Я уже хотел потихоньку уйти, но, вероятно, произведенный мною шум вторгся в ее сон и “переключил скорость”, как говорят об автомобилях, потому что музыка храпа на секунду стихла и возобновилась тоном ниже; потом тетья проснулась и вполборота повернула ко мне лицо, так что теперь я его видел; на нем отражался ужас; ей явно снился какой-то кошмар; ей было меня не видно с кровати, и я застыл на месте, не зная, подойти ближе или уйти прочь; но она уже как будто стряхнула морок и осознала, что испуг ее вызван обманчивым сновидением; ее лицо просветлело от улыбки, исполненной радости и набожной благодарности Богу, по чьему соизволению жизнь менее жестока, чем сны, и, по привычке вполголоса говорить сама с собой, когда ей казалось, что рядом никого нет, она прошептала: “Слава тебе, Господи! Всех-то неприятностей, что судомойка рождает. А мне-то, мне-то снилось, будто воскрес бедняга Октав и заставляет меня каждое утро ходить на прогулку!” Ее рука протянулась к четкам на ночном столике, но не достала до них, потому что тетю уже опять сморила дрема; успокоившись, она заснула, и я крадучись вышел из спальни; и ни она, ни кто другой так и не узнал, что я слышал. Когда я говорю, что, не считая редчайших событий, таких как эти роды, тетья прозябала без особых перемен, я не принимаю в расчет отступлений от правил, всегда одних и тех же, регулярно повторявшихся в неизменном виде, что вторгались в однообразие жизни однообразием второго порядка. Например, по субботам, когда Франсуаза во второй половине дня ходила на рынок в Руссенвиль-ле-Пен, обед подавали на час раньше. И тетья настолько привыкла к этому еженедельному нарушению ее привычек, что оно вошло у нее в привычку наравне с другими. Она к этому так, по выражению Франсуазы, “пообвыкнула”, что ежели бы в субботу ей довелось ждать обычного времени для обеда, ее бы это настолько же “выбило из колеи”, как в другие дни перемещение обеда на час раньше. И вообще мы все чувствовали, что этот перенос субботнего обеда на час раньше придавал субботе особое, снисходительное и довольно-таки славное выражение лица. В тот момент, когда по правилам надо бы ждать обеда еще час, мы все уже знали, что через несколько секунд перед нами предстанут преждевременный брюссельский салат, льготный омлет, незаслуженный бифштекс. Наступление этой асимметричной субботы было одним из тех мелких внутренних, местных, почти гражданского значения событий, которые в ходе спокойной жизни в лоне замкнутого общества связывают всех незримыми узами и становятся излюбленной темой разговоров, шуток,

легкомысленных рассказов: оно запросто могло бы послужить ядром легендарного цикла, будь у кого-нибудь из нас склонность к эпическому творчеству[118]. С самого утра, еще не одетые, мы с упоительной солидарностью пользовались любым предлогом, чтобы напомнить друг другу — весело, благодушно и патриотично: “Не будем терять времени, не забудем, что сегодня суббота!” — куда тетя, беседуя с Франсуазой и думая о том, что день будет тянуться дольше обычного, говорила: “Приготовьте-ка им хороший кусок телятины, ведь сегодня суббота”. Если в пол-одиннадцатого кто-нибудь по рассеянности доставал часы со словами: “Ну, до обеда еще полтора часа”, — все были в восторге, что приходится ему возражать: “Да что вы, помилуйте, вы забыли, что сегодня суббота!” — и потом веселились еще добрых четверть часа и сговаривались, кому идти наверх к тете и рассказать ей об этой ошибке, чтобы ее позабавить. Даже лицо неба словно менялось[119]. Солнце, понимая, что нынче суббота, после обеда на час дольше фланировало в поднебесье, и когда кто-нибудь, решив, что идти гулять уже поздно, говорил: “Как, еще только два часа?” — видя, как с колокольни св. Илария слетели два колокольных удара (которые обычно не застают ни души на безлюдных по случаю обеденного времени или послеобеденного сна дорогах, вдоль быстрой светлой реки, с которой ушли даже рыболовы, и в одиночестве улетают в пустые небеса, где замешкались только несколько ленивых облачков), все хором ему отвечали: “Вас сбивает с толку то, что мы обедали на час раньше, вы же знаете, что сегодня суббота!” Изумление варвара (так мы называли всех, кто не знал, чем отличаются субботы), который, желая поговорить с моим отцом, пришел в одиннадцатый и застал нас за столом, смешило Франсуазу, как мало что в жизни. Ее забавляло, как это озадаченный посетитель не знает, что по субботам мы обедаем раньше, но еще больше она веселилась (в глубине сердца полностью сочувствуя этому мелкому шовинизму), видя, как отец, не представляя себе, что варвар может быть не осведомлен, давал ему, удивленному тем, что мы все уже в столовой, одно-единственное объяснение: “Да ведь сегодня суббота!” Добравшись в своем рассказе до этого места, она утирала набегавшие от хохота слезы и, желая продлить себе удовольствие, пересказывала диалог дальше, выдумывала, что ответил гость на эту “субботу”, ничего не объяснявшую. А мы мало того что не жаловались на эти добавления — нам хотелось больше, и мы говорили: “Погодите, он же сказал что-то еще. Первый раз вы рассказывали подробнее”. Даже моя двоюродная бабушка отрывалась от рукоделия, поднимала голову и смотрела поверх пенсне.

А еще субботы отличались тем, что по этим дням в мае мы после ужина ходили на богородичные службы.

Иногда мы встречали там г-на Вентейля, весьма не одобрявшего “достойную сожаления неопрятность, усвоенную молодыми людьми согласно духу нашего времени”, так что мама внимательно смотрела, нет ли каких огрехов в моем туалете, а затем мы отправлялись в церковь. Боярышник я полюбил, помню, как раз на богородичных службах. Он был не просто в церкви — святом месте, но куда мы хотя бы имели право ходить, — а прямо в алтаре, неотделимый от таинства, в честь которых вершили с его участием торжественные богослужения, и там, среди подсвечников и священных сосудов, тянул свои веточки, изысканно между собой переплетенные и вдобавок украшенные гирляндами листьев, среди которых, как по шлейфу невесты, были рассыпаны пучки бутонов ослепительной белизны. Но, смея взглянуть на них разве только украдкой, я чувствовал, что все эти пышные изыски — живые и что сама природа, вырезая зубчики на листьях, добавляя к ним в виде последнего украшения эти белые бутоны, порадела о том, чтобы это убранство было достойно сразу и народного праздника, и мистического торжества. В вышине тут и там раскрывались с беспечным изяществом их венчики, небрежно сберегая, словно последнюю дымчатую накидку, пучок тонких, как осенние паутинки, тычинок, которые обволакивали их сплошным туманом, и, следя за ними, пытаясь мысленно повторить миг их расцветания, я воображал, как быстро и ветрено встряхивает головой беленькая девушка: точки зрачков, кокетливый взгляд, легкомыслие, стремительность. Г-н Вентейль с дочкой подходили к нам и садились рядом. Он был из хорошей семьи, когда-то учил игре на рояле бабушкиных сестер, а после смерти жены, получив наследство, перебрался в окрестности Комбре и часто бывал у нас в доме. Но из-за преувеличенной стыдливости он перестал к нам ходить, чтобы не встречаться со Сванном, который, по его словам, “женился неподобающим образом, как нынче модно”. Моя мама, узнав, что он сочиняет музыку, как-то сказала ему из любезности, что хорошо бы, когда она будет у него в гостях, чтобы он сыграл ей что-нибудь свое. Г-ну Вентейлю это доставило бы огромную радость, но вежливость и доброта его доходили до обостренной щепетливости: он вечно ставил себя на место других людей и боялся им наскучить и показаться эгоистом, если сделает то, чего ему хочется, или даже просто намекнет на свое желание. В тот день, когда родители отправились к нему с визитом, я пошел вместе с ними, но мне разрешили остаться на свежем воздухе, а дом г-на Вентейля, Монжувен, прилепился к поросшему кустарником холму, так что, спрятавшись в кустах, я очутился вровень с гостиной на втором этаже, в полуметре от окна. Я видел — когда г-ну Вентейлю доложили о родителях, он поспешно выставил ноты на рояль, на видное место. Но как только родители вошли, он убрал ноты и сунул в угол. Вероятно, он боялся, как бы они не подумали, что он хотел их увидеть только для того, чтобы сыграть им свои сочинения. Мама за время визита несколько раз напоминала ему об их уговоре, но он только повторял: “Понятия не имею, кто поставил на рояль эти ноты, им здесь не место” — и переводил разговор на другие предметы, просто потому, что эти предметы меньше его интересовали. Его единственной страстью была дочь; она была похожа на мальчика и выглядела такой крепкой и здоровой, что трудно было удержаться от улыбки, глядя, как отец окружает ее заботой и норовит набросить ей на плечи лишнюю шаль, запас которых всегда держит под рукой на всякий случай. Бабушка обратила наше внимание на то, что во взгляде этого нескладного веснушчатого подростка часто сквозило нечто кроткое, деликатное, почти робкое. Сказав что-нибудь, она сама слушала свои слова как бы ушами тех, кому она их говорила, тревожилась, вдруг не так поймут, и видно было, как на мальчишеской физиономии “своего парня” просвечивают, проступают, словно водяной знак на бумаге, тонкие черты заплаканной девушки.

Когда, уходя из церкви, я преклонил колени перед алтарем, то потом, поднимаясь, вдруг почувствовал горько-сладкий миндальный запах, исходивший от боярышника, и тут я заметил на цветах золотистые пятнышки и вообразил, что под ними-то и скрывается, наверное, этот запах: так у миндального пирожного вкус прячется под корочкой, а у щек мадмуазель Вентейль — под веснушками. Хотя цветы боярышника стыли в неподвижном безмолвии, этот пульсирующий запах был словно гудение их напряженной жизни, от которой алтарь трепетал, точь-в-точь деревенская изгородь, где шевелятся живые усики, о которых я вспоминал, глядя на рыжеватые тычинки, будто хранившие весеннюю злобу насекомых, сегодня уже преобразенных в цветы, и их докучную власть.

Выходя из церкви, мы останавливались перед папертью поболтать с г-ном Вентейлем. Он вмешивался в возню мальчишек, задиравших друг дружку на площади, брал под защиту маленьких, читал нравоучения старшим. Его дочка говорила нам низким своим голосом, как она рада нас видеть, и казалось, что жившая внутри нее более чувствительная сестра краснеет от слов легкомысленного симпатяги, которые могут навести нас на мысль, будто она умоляет, чтобы мы ее пригласили в гости. Отец набрасывал ей на плечи плащ, они садились в открытый двухколесный экипаж, которым она сама правила, и оба возвращались в Монжувен. Ну а мы в этот день не шли напрямик домой, благо назавтра предстояло воскресенье и вставать надо было только к обедне, поэтому, если светила луна и было тепло, отец, желая поразить наше воображение, вводил нас через церковный холм на долгую прогулку, которая моей маме, плохо умевшей

иногда мы шли до самого виадука, чьи огромные каменные шаги начинались у вокзала и воплощали для меня безнадежность изгнания из цивилизованного мира, потому что каждый год, когда мы ехали из Парижа, нам советовали, когда начнется Комбре, смотреть повнимательнее, чтобы не пропустить станции, готовиться заранее, потому что стоянка всего две минуты, а потом поезд уйдет на виадук, туда, где кончается христианский мир, последним рубежом которого был для меня Комбре. Мы возвращались по привокзальному бульвару, там были самые приятные виллы в нашем городке. В каждом саду лунный свет, как Юбер Робер[120], рассыпал свои беломраморные полуразрушенные ступени, фонтаны, незатворенные решетки. Лунный луч разрушал здание телеграфа. От всей постройки оставалась только полуразрушенная колонна, хранившая, правда, красоту нетленной руины. Я еле тащился, я засыпал на ходу, благоухание лип представлялось мне чем-то вроде награды, которая дается ценой такой усталости, что и стараться не стоит. Из-за ворот, далеко отстоявших друг от друга, время от времени принимались лаять собаки, разбуженные нашими одинокими шагами, — я и теперь вечерами иногда слышу такой же лай, — а между этими вспышками лая, вероятно, притаился и привокзальный бульвар (с тех пор как на его месте разбили комбрейский городской сад), потому что, где бы я ни был, как только собаки начнут перекликаться и вторить друг другу, я так и вижу и бульвар, и липы, и освещенный луной тротуар.

Внезапно отец останавливал нас и спрашивал у матери: “Ну-ка, где мы?” Она уже еле шла, но, гордясь мужем, ласково признавалась, что не имеет об этом ни малейшего понятия. Он пожимал плечами и смеялся. А потом показывал нам, словно достав из кармана своего пиджака заодно с ключом — маленькую заднюю калитку нашего сада, неожиданно выраставшую прямо перед нами, словно она, вместе с углом улицы Святого Духа вышла нам навстречу, туда, где кончались все эти незнакомые улицы. Мать с восхищением говорила: “Какой ты умница!” И с этого момента мне уже не приходилось делать ни шагу, земля сама шла мне под ноги в этом саду, в котором так давно уже все, что я делал, не требовало сознательного внимания: Привычка принимала меня в объятия и несла в постель, как маленького.

Для тети субботний день, начинавшийся на час раньше, да притом без Франсуазы, проходил медленнее, чем любой другой, и все-таки она с самого начала недели нетерпеливо ждала, когда наступит этот день со всеми его новостями и развлечениями, какие еще были по силам ее ослабшему и полубезумному телу. Однако нельзя сказать, что она не мечтала иногда о более значительных переменах, что не случалось ей, в виде исключения, переживать такие часы, когда жаждешь чего-то другого, чем то, что есть, и когда те, кому нехватка энергии или воображения мешает самим изобрести принцип обновления, молят у наступающей минуты или у звонящего в дверь почтальона принести им что-нибудь новенькое, пускай даже неприятность, волнение, горе; когда чувствительность, которую счастье заставило замолчать, как робкую арфу, хочет отозваться под чьими-нибудь, пускай грубыми, пальцами — даже если от этого она разобьется; когда воля, которая с таким трудом отвоёвывала себе право беспрепятственно уступать своим желаниям, своим огорчениям, хотела бы цвырнуть бразды в руки всевластных событий, пускай и жестоких. Силы моей тети иссякали от малейшего усилия, а возвращались по капельке, во время отдыха, и потому, вероятно, их запас восполнялся слишком медленно: месяцы проходили, пока она не начнет ощущать этот легкий излишек, который у других избывается в деятельности, а ей не по силам было понять и решить, как его истратить. Не сомневаюсь, что в эти моменты — подобно тому как время от времени у нее непременно возникало желание заменить пюре картошкой “бешамель” просто ради того удовольствия, которое доставит ей затем возвращение к ежедневному пюре, от которого она не “уставала”, — из нагромождения этих монотонных дней, которые так любила, рождалась у нее надежда на домашний катаклизм, мгновенный, но чреватый для нее одной из тех перемен, всю спасительность которых она сознавала, но на которые никогда бы не решилась сама. Она любила нас по-настоящему, ей было бы приятно нас оплакивать; мечта о том, что вот если бы в тот миг, когда она хорошо себя чувствует и не обливается потом, ей сообщили, что дом горит, и мы все уже погибли в огне, и скоро камня на камне не останется, но она еще успеет без особой спешки спастись, если сразу встанет, — такая мечта нередко, должно быть, одушевляла ее надежды: она долго и скорбно упивалась всей той нежностью, которую она к нам питала, и тем, как ошеломлена будет вся деревня, когда она пойдет во главе нашей траурной процессии, мужественная и придавленная горем, живой мертвец, и это второстепенное преимущество словно добавлялось к преимуществу куда более драгоценному, состоявшему в том, что она решалась вовремя, не теряя времени, не поддаваясь изнурительным колебаниям, переезжать на лето на ее очаровательную ферму в Миругрен, где был водопад. В одиночестве, корпя над бесконечными пасьянсами, она, несомненно, обдумывала всевозможные события такого рода, но они никогда не наступали (а если бы и наступили, то привели бы ее в отчаяние с самого начала, с самой первой мельчайшей неожиданности, с первого же слова дурной вести, интонацию которого потом уже невозможно забыть, со всего, на чем лежит отпечаток реальной смерти, настолько непохожей на логическую и абстрактную возможность смерти), и вот, время от времени, чтобы придать жизни больше интереса, она отыгрывалась на том, что вводила в нее выдуманные превратности, за которыми со страстью следила. Ей нравилось внезапно вообразить, что Франсуаза ее обворовывает, и как она сама пускается на хитрости, чтобы в этом убедиться, как ловит Франсуазу с поличным; привыкнув во время своих одиноких карточных занятий играть и за себя, и за противника, она сама себе произносила за Франсуазу сконфуженные извинения и отвечала на них с таким пылом негодования, что, войдя в этот момент, кто-нибудь из нас заставлял ее в поту, со сверкающими глазами, со съехавшим париком, из-под которого проглядывал голый череп. Возможно, иногда Франсуаза слышала из соседней комнаты обращенные к ней язвительные сарказмы, изобретение которых недостаточно облегчило бы душу моей тети, если бы они остались совершенно нематериальными и если бы, проборматывая их вслух, она не придавала им больше правдоподобия. Иногда тете даже этого “спектакля в кровати”[121] было мало, она хотела, чтобы ее пьесы разыгрывали живые актеры. Тогда в воскресенье, при таинственно затворенных дверях, она поверяла Элали свои сомнения в честности Франсуазы, свое намерение от нее отделаться, а в другой раз — поверяла Франсуазе подозрения в неверности Элали, которую скоро на порог перестанут пускать; спустя несколько дней она охладевала к вчерашней наперснице и дружилась с предательницей, хотя, впрочем, на следующем представлении им опять предстояло поменяться ролями. Но подозрения, которые ей подчас внушала Элали, оставались минутными вспышками и быстро угасали без пищи, поскольку Элали не жила в доме. Иначе было с Франсуазой, чье присутствие тетя постоянно чувствовала под тою же крышей, причем, опасаясь простудиться, если встанет с постели, она не осмеливалась сойти в кухню и проверить обоснованность своих подозрений. Мало-помалу ее ум отвергал все другие занятия, кроме одного: пытаться отгадать, чем каждый миг занимается Франсуаза и что пытается от нее скрыть. Она подмечала самые мимолетные изменения в ее лице, противоречия в том, что та говорила, желания, которые та, казалось, хотела утаить. И тетя показывала ей, что она разоблачена; она находила единственное слово, от которого Франсуаза бледнела, и вонзала это слово прямо в сердце несчастной — жестокая забава. А в другое воскресенье какое-нибудь разоблачение из уст Элали — как те открытия, что внезапно совершают прорыв в развитии молодой науки, катившей до этого по наезженной колее, — доказывало тете, что ее подозрения еще сильно преуменьшены. “Ну, Франсуаза-то небось знает, позволили вы ей взять карету или нет”. — “Я ей — взять карету!” — восклицала тетя. — “Да мне-то откуда знать, я же видела, как она едет в карете, лопаясь от гордости, на рынок в Руссенвиль. Я и подумала, что карету ей дала госпожа Октав”. Постепенно дошло до

того, что Франсуаза и моя тетя, как зверь и охотник, только и делали, что пытались обхитрить друг дружку. Моя мать опасалась, как бы у Франсуазы не выработалась настоящая ненависть к тете, которая обижала ее со всей мыслимой грубостью. Как бы то ни было, Франсуаза все больше привыкала уделять исключительное внимание мельчайшим тетиним словам и движениям. Когда ей нужно было что-нибудь у тети спросить, она долго колебалась, не зная, как к ней подступиться. А когда излагала ходатайство, то украдкой следила за тетей, пытаясь по выражению ее лица угадать, что та думает и как решит. И вот ведь что: какая-нибудь артистическая натура, кто-нибудь начитавшийся мемуаров семнадцатого века и решивший подражать великому королю, воображает, что приблизится к цели, если сочинит себе генеалогию, восходящую к славному историческому роду, и вступит в переписку с царствующими домами современной Европы, но на самом деле этот человек все дальше уходит именно от того, чего понапрасну ищет в формальном и потому безжизненном сходстве, — а эта провинциальная старая дама, все время откровенно угождая своим непреодолимым маниям и своей злости, порожденной праздностью, даже и не думая никогда о Людовике XIV, добилась того, что ее самые пустяковые дневные занятия: пробуждение, завтрак, отдых — приобретали, благодаря пронизывающему их деспотизму, частицу той самой увлекательности, которую Сен-Симон подмечал в “механике” версальской жизни[122], и, вне всякого сомнения, ее молчание, тень благорасположения или высокомерия на ее лице были со стороны Франсуазы предметом такого же страстного, такого же боязливового толкования, как молчание, благорасположение или высокомерие короля, когда придворный или даже самые высокородные вельможи подают ему прошение на повороте версальской аллеи.

Однажды в воскресенье, после того как мою тетю одновременно навестили кюре и Элали, а потом она отдохнула, мы все поднялись к ней пожелать спокойной ночи и мама посочувствовала ей, что вот, мол, вечно ей не везет и гости приходят все сразу.

— Я знаю, Леони, что все опять устроилось не наилучшим образом, — мягко сказала она, — и все ваши посетители сошлись вместе.

На что двоюродная бабушка тут же возразила: “Невелика беда, лучше перебрать, чем недобрать!” — потому что, с тех пор как дочь хворала, она думала, будто ее долг — подбадривать больную, представляя ей все с наилучшей стороны. Но тут в разговор вступил мой отец:

— Я хочу воспользоваться тем, что вся семья в сборе, — сказал он, — и кое-что вам рассказать, чтобы не повторять потом каждому по отдельности. Боюсь, что мы поссорились с Легранденом: сегодня утром он едва со мной поздоровался.

Я не остался слушать рассказ отца, потому что г-на Леграндена мы с ним встретили вместе после обеда, и пошел на кухню спросить, что будет на обед, — это было моим ежедневным развлечением, вроде газетных новостей, и возбуждало меня, как программа праздника. Утром, когда г-н Легранден проследовал мимо нас, сопровождая владелицу соседнего замка, которую мы знали только в лицо, отец на ходу поклонился ему — любезно и вместе с тем сдержанно; г-н Легранден едва ответил и как-то удивился, словно не узнал нас, и посмотрел при этом, как смотрят люди, которые не хотят быть любезными и окидывают вас неожиданно долгим и глубоким взглядом с таким видом, словно заметили вас на обочине бесконечной дороги и на таком дальнем расстоянии, что ограничились чуть заметным кивком, соответствующим вашему марионеточному размеру.

Причем дама, которую Легранден сопровождал, была особа добродетельная и уважаемая; и речи быть не могло о том, что у него с ней интрижка и он стесняется, что его застигли с поличным, поэтому отец не мог взять в толк, чем он не угодил Леграндену. “Мне было бы жаль, если бы оказалось, что я его обидел, тем более что среди всех этих разодетых людей он, в его однобортном пиджачке, в мягком галстуке, выглядел буднично, воистину просто, и вид у него был какой-то простодушный, и мне это в нем так нравится”. Но семейный совет единодушно решил, что отцу показалось или что Легранден в этот миг думал о другом. Впрочем, опасения отца рассеялись уже на следующий вечер. Когда мы возвращались с долгой прогулки, у Старого моста мы заметили Леграндена, который по случаю праздников на несколько дней задержался в Комбре. Он подошел к нам, протянув для приветствия руку: “Знаете ли вы, господин книжник, — обратился он ко мне, — такой стих Поля Дежардена:

Леса уже черны, а небеса светлы[123].

Не правда ли, необыкновенно точное описание этого времени дня? Вы, наверно, никогда не читали Поля Дежардена. Почитайте его, мой мальчик; нынче он, как мне говорили, превращается в монаха-проповедника, но долгое время он был прозрачайшим акварелистом.

Леса уже черны, а небеса светлы...

Пускай небеса пребудут всегда светлы над вами, мой юный друг; и, даже когда для вас, как для меня теперь, наступит время черных лесов и быстро наступающей темноты, вы будете утешаться, как я теперь, поднимая глаза к небесам”. Он достал из кармана папиросу и долго не сводил глаз с горизонта. Потом вдруг отрезал: “Прощайте, друзья” — и отошел.

В тот час, когда я спускался узнать меню, уже затевался обед, и Франсуаза, командуя силами природы, превратившимися в ее подручных, как в феериях, где гиганты нанимались в повара, разбивала угли в плите, варила на пару картошку и томила на огне до полной готовности в глиняной посуде заготовленные заранее кулинарные шедевры: из больших бадей, чанов, тазов и мисок они поступали в горшки для дичи, в формы для выпечки и плошки для сметаны, проходя, таким образом, через целую коллекцию утвари всех размеров. Я останавливался поглазеть у стола, за которым судомойка только что лущила горох, — горошины были выложены в ряд в определенном количестве, как зеленые шарики в какой-нибудь игре; но восхищение мое вызывала спаржа с ультрамариновым и розовым отливом: цвет ее колосков, чуть тронутых легкими мазками лиловой краски и лазури, ближе к ножке — еще испачканной, к стати, землей питомника — неощутимо смягчался какими-то неземными переливами. Мне казалось, что небесные оттенки этих колосков выдают их истинную природу: на самом деле это неведомые восхитительные создания, которые для забавы превратились в овощи, и сквозь маскарадный костюм их съедобной твердой плоти в этих красках разгорающейся зари, в этих радужных эскизах, в этом угасании голубых вечеров мерцает их драгоценная суть, которую я потом узнавал снова, когда всю ночь после обеда, за которым я их ел, они забавлялись своими шутками, поэтическими и грубыми, как шекспировская феерия, преображая мой ночной горшок в вазу с благовониями[124].

Бедному Милосердию Джотто (как называл Сванн нашу судомойку) Франсуаза поручала “ощипывать” спаржу, стоявшую перед ней в корзине, и вид у судомойки был такой горестный, словно она страдала от всех земных невзгод; а легкие лазурные короны, опоясывавшие

стельки спаржи поверх розовых уник, вырисовывались тонко, звездочка за звездочкой, словно цветы в венке или в корзинке у падуанской Добродетели на фреске. А Франсуаза тем временем поворачивала на вертеле очередную курицу, и эти куры, которых она одна умела жарить так вкусно, разносили далеко по всему Комбре аромат ее заслуг и, когда она подавала их нам на стол, довершали мое о ней особое представление, в котором надо всем господствовала кротость, так что даже аромат этой плоти, которой она умела придать такую елейность и нежность, казался мне благоуханием одной из ее добродетелей.

Но в тот день, когда отец обсуждал на семейном совете встречу с Легранденом, Милосердие Джотто еще тяжело болело после родов и не могло встать; оставшись без помощницы, Франсуаза запаздывала с обедом. Когда я спустился на кухню, она была в чулане, выйдившем на задний двор, и резала курицу, каковая своим отчаянным и вполне понятным сопротивлением, сопровождаемым, однако, воплями разгневанной Франсуазы: “Ах, мерзавка! Ах, мерзавка!” — с которыми та пыталась перерубить ей шею, несколько нарушала тот витавший вокруг нашей служанки ореол неземной кротости и елейности, которыми воссияют за обедом корочка этой самой курицы, расшитая золотом, словно риза, и ее драгоценный сок, словно источаемый дароносицей. Когда курица перестала биться, Франсуаза собрала кровь, которая текла, не угашая ее злости, еще раз гневно передернулась и, глядя на труп врага, последний раз сказала: “Ах, мерзавка!” Я вернулся наверх весь дрожа; мне хотелось, чтобы Франсуазу немедленно выставили за дверь. Но кто же мне приготовит такие теплые булочки, такой ароматный кофе и даже... ту же курицу?.. И все на самом деле предавались таким же низким расчетам, как я. Ведь тетя Леони знала — о чем я тогда еще не подозревал, — что Франсуаза, которая без единого слова жалобы отдала бы жизнь за свою дочку и племянников, ко всем остальным относится с удивительным бессердечием. Тетя держала ее, несмотря на это, потому что, зная о ее жестокости, ценила ее службу. Постепенно мне открылось, что за кротостью, серьезностью, добродетельностью Франсуазы таятся кухонные трагедии, — так история обнаруживает, что царствования королей и королев, изображенных на церковных витражах с молитвенно сложенными руками, отмечены кровавыми эпизодами. Я понял, что, не считая родных, люди вызывали у нее тем больше жалости своими несчастьями, чем дальше эти люди от нее отстояли. Потоки слез, которые она проливала, читая газету, над злоключениями незнакомых людей, быстро иссыкали, если она могла яснее представить себе человека, которого оплакивала. В одну из ночей сразу после родов у судомойки приключились жестокие колики; мама услышала, как она стонет, встала и разбудила Франсуазу, которая равнодушно объявила, что все эти крики — комедия и что судомойка “строит из себя барыню”. Врач, опасавшийся таких приступов, вложил закладку в наш медицинский справочник на той странице, где они описаны, и сказал нам туда заглянуть за указаниями о первой помощи. Мать послала Франсуазу за книгой и велела не выронить закладку. Прошел час, а Франсуазы все не было; мать возмутилась, решив, что она легла спать, и попросила, чтобы я сам сходил в библиотеку. Я пошел и застал там Франсуазу: ей захотелось поглядеть, о чем говорится в месте, заложенном закладкой, и теперь она читала клиническое описание приступа и рыдала над мучениями неизвестной больной из книжки. На каждом болезненном симптоме, упомянутом автором книги, она причитала: “Ой-ой-ой! Святая Богоматерь, да как это можно, чтобы Господь Бог допускал несчастных так мучиться! О-о-о, бедняжка!”

Но когда я ее позвал и она вернулась к постели, на которой мучилось Милосердие Джотто, слезы у нее сразу высохли; она не узнавала ни того приятного чувства жалости и умиления, которое было ей хорошо знакомо по чтению газет, ни другого подобного удовольствия в той досаде и раздражении, которые испытываешь, поднимаясь среди ночи ради какой-то судомойки, и вид тех самых страданий, над описанием которых она только что плакала, исторгал у нее только недовольное брюзжание и даже отвратительные колкости; когда ей показалось, что мы ушли и не услышим ее слов, она сказала: “А нечего было заниматься, чем она занималась, вот и не было бы ничего! Повеселиться захотелось? Пускай теперь и отдувается. Видать, парень был Богом обиженный, если на такую польстился. Ох, правду говорили в мамашиной деревне: “Кобелю и псица — красная девица”. Когда ее внука слегка прихватывал насморк, она ночью, даже больная, не ложилась, а шла посмотреть, не нужно ли ему чего, возвращалась пешком четыре лье до рассвета, чтобы успеть на работу, но зато эта самая любовь к семье и желание обеспечить будущее величие своего дома превращались, когда дело касалось ее политики по отношению к другим слугам, в неукоснительное правило — никому не позволять втираться к тете, и вопросом чести для нее было никого к тете не подпускать; она предпочитала, даже сама прихварывая, лишний раз подняться к ней с бутылкой “Виши”, лишь бы не открывать доступ в хозяйскую спальню судомойке. И как перепончатокрылое, описанное Фабром[125], оса-землеройка, которая, чтобы обеспечить детей свежим мясом после своей смерти, призывает на помощь своей жестокости анатомию и ловит жуков-долгоносиков и пауков, а потом с изумительным знанием дела и сноровкой пронзает им нервные центры, управляющие движением лапок, чтобы парализованное насекомое, возле которого она откладывает яйца, служило личинкам, когда они вылупятся, легкой добычей, безобидной, неспособной на бегство и сопротивление, но без малейшей гнильцы, так и Франсуаза, в угоду своей неуклонной воле сделать дом невыносимым для всех слуг, измышляла настолько искусные и безжалостные хитрости, что немало лет прошло, прежде чем мы узнали, почему в то лето почти каждый день ели спаржу: от ее запаха у несчастной судомойки, которой поручено было ее чистить, начинались такие жестокие приступы астмы, что в конце концов ей ничего не осталось, как от нас уйти.

Увы! В конце концов мы оказались вынуждены изменить мнение о Леграндене. С той встречи на Старом мосту, после которой отцу пришлось признаться в своей ошибке, прошло некоторое время, и вот в одно прекрасное воскресенье, выходя после обедни из церкви, куда вместе с шумом и солнцем уже просочился дух суетности, так что даже г-жа Гупиль, г-жа Перспье и другие (которые совсем недавно, когда я слегка опоздал, даже не взглянули в мою сторону, целиком уйдя в молитву, будто вообще меня не заметили, хотя их ноги в то же время ловко подвинули скамеечки, мешавшие мне пройти на место) затевали с нами разговоры громким голосом о предметах вполне мирских, словно мы уже вышли на площадь, — так вот, выходя, мы увидели на залитой солнцем паперти, возвышающейся над пестрой сутолокой рынка, Леграндена: муж той дамы, с которой мы встретили его недавно, как раз представлял его жене другого крупного землевладельца наших мест. Весь облик Леграндена излучал пылкое воодушевление; он склонился в глубоком поклоне, а после даже немного откинулся назад, несколько отклонив свой корпус от исходной стойки; такому поклону его, вероятно, обучил муж его сестры, г-жи де Камбремер. При этом быстром выпрямлении зад Леграндена — я и не предполагал, что он у него такой мясистый, — колыхнулся порывистой мускулистой волной; и, не знаю почему, эта зыбь чистой материи, эта сугубо плотская волна, лишенная всякого духовного начала и обуреваемая низкой услужливостью, сразу выстроила в моем уме возможность совершенно другого Леграндена, чем тот, которого мы знали. Та дама попросила его что-то передать ее кучеру, и, пока он шел к карете, на лице у него еще сохранялся отпечаток робкой радости и преданности. Он улыбался, витая в каких-то мечтах, потом поспешно вернулся к даме и, поскольку шел он быстрее обычного, его плечи смешно качались то влево, то вправо, и он, отрешившись от всех других забот, отдался этому движению, похожий на заводную игрушку, заведенную счастьем. Между тем мы прошли по паперти и почти уже с ним поравнялись; хорошее воспитание не позволяло ему отвернуться, но его внезапный взгляд, затуманенный глубокой мечтательностью, усталый в такую дальнюю точку горизонта, что он никак не мог нас заметить, так что и здороваться с нами был не обязан. Его лицо по-прежнему хранило печать простодушия, мягкий однобортный пиджачок ненароком словно заблудился среди ненавистой роскоши. И повязанный бантом галстук в

горошек, с которым играл ветерок на площади, трепетал на Легограндене, как знамя его гордого уединения и благородной независимости. Когда мы входили в дом, мама спохватилась, что мы забыли про торт, и попросила нас с отцом вернуться и сказать, чтобы его скорее доставили. Возле церкви мы разминулись с Легогранденом, который шел в обратную сторону, ведя к карете все ту же даму. Он прошел мимо нас, не прерывая разговора с собеседницей, и краешком своего голубого глаза слегка подмигнул нам как-то одними веками, так что знак этот, не отвлекая мускулы лица, остался для собеседницы совершенно незаметным; но, стремясь накалом чувства компенсировать тесноватое пространство, отведенное им для выражения этого чувства, Легогранден сверкнул предназначенным для нас краешком лазури с таким задором, с таким благодушием, что это уже было больше чем шутка и граничило с лукавством; он утончил деликатность дружбы до заговорщицкого подмигивания, до намеков, до вещей подразумеваемых, до тайного сообщничества; и наконец вознес заверения в дружбе аж до признаний в нежности, до заверений в любви, тайно и незримо для владельцы замка ради нас одних зажигая томностью влюбленный зрачок на ледяном лице.

Как раз накануне он попросил родителей отпустить меня сегодня вечером к нему в гости. “Составьте компанию вашему старому другу, — сказал он мне. — Позвольте мне вдохнуть аромат вешних цветов из дальних стран вашего отрочества, которые цвели когда-то и для меня: это как букет, присланный нам другом, странствующим в краях, куда нам нет возврата. Приносите примулы[126], кашку, лютики, приносите птичий хлеб — из него собран любовный букет бальзаковской флоры[127], — и непременно пасхальный цветок, маргаритку[128], и белые как снег хлопья калины, что начинают благоухать в аллеях вашей двоюродной бабки, когда в саду еще белеют ключья апрельского позднего снега. Приносите шелковистые ризы лилий, достойные Соломона[129], и разноцветную эмаль аютиных глазок, но главное — приносите с собой ветер, еще свежий от последних заморозков, пускай под ним приотворится для двух мотыльков, с утра поджидающих на пороге, первая роза иерусалимская[130]”.

Домашние колебались, надо ли все-таки посылать меня к Легограндену. Но двоюродная бабушка отказалась верить, что он мог проявить нелюбезность. “Вы же сами признаете, что у нас в гостях он всегда держится запросто, совсем не по-светски”. Она объявила, что на всякий случай, даже если предположить худшее и он в самом деле повел себя нелюбезно, лучше сделать вид, что мы ничего не заметили. По правде сказать, мой отец и сам, хоть поведение Легограндена его и задело, все еще не был уверен, правильно ли он все понял. Так всегда бывает, когда поведение или поступок обнажат нечто скрытое в самой глубине человеческого характера: они не вяжутся с речами, которые мы слышали от этого человека раньше, мы не можем подтвердить их признанием виновного — потому что он ни в чем не признается; нам остается только полагаться на свидетельства наших чувств, и, вспоминая этот отдельный и противоречивый случай, мы колеблемся, можно ли им доверять; и сам поступок — а ведь только он и важен — часто оставляет у нас некоторые сомнения.

Мы ужинали с Легогранденом на террасе; светила луна. “Не правда ли, — сказал он мне, — в тишине есть нечто прекрасное; сердце мое изранено, а если верить автору романов, которые вы потом прочтете, израненным сердцам подобают лишь сумрак и тишина[131]. Вот видите ли, дитя мое, наступает в жизни такой час, от вас еще очень далекий, когда усталым глазам под силу лишь один свет — тот, который источает и смешивает с темнотой сегодняшняя прекрасная ночь; это час, когда слух уже не в силах внимать иной музыке, кроме той, что играет лунный свет на флейте тишины”. Я слушал речи г-на Легограндена, которые мне всегда так нравились; но, смущенный воспоминанием о женщине, которую недавно заметил в первый раз, и думая теперь, когда я узнал, что Легогранден связан с несколькими местными аристократами, что, возможно, он знаком и с этой дамой, я сказал: “А вы знакомы с владелицей... с владелицами замка Германт[132]?” — и я был счастлив уже тем, что, произнося это имя, наделяю его неким могуществом потому только, что извлек его из своей мечты и подарил ему независимую, облеченную в звуки жизнь. Но при имени “Германт” я увидел, как в голубых глазах нашего друга появилась маленькая коричневая отметина, словно их пронзило невидимое острие, между тем как остальная часть зрачка отозвалась на ее появление новыми потоками лазури. Тени у него под глазами потемнели, расплылись. Но губы, очерченные горькой складкой, спохватились быстрее и сложились в улыбку, между тем как взгляд оставался страдальческим — взгляд прекрасного мученика, пронзенного стрелами. “Нет, я с ними незнаком”, — сказал он, и этот простой и, в сущности, столь неудивительный ответ прозвучал у него не легко и естественно, как можно было ожидать, — нет, он произнес его с ударением на каждом слове, склонившись ко мне и качая головой, с настойчивостью, которую вносят в неправдоподобное утверждение, чтобы в него поверили, как будто то, что он незнаком с Германтами, — нелепое недоразумение, и одновременно с напыщенностью, как человек, который не может замалчивать обстоятельство, для него мучительное, и предпочитает объявить о нем вслух, чтобы другие подумали, что это признание не причиняет ему никаких затруднений, что оно легкое, приятное, непосредственное, и он, возможно, не столько смиряется с этим обстоятельством — то есть с отсутствием отношений с Германтами, — сколько сам того хотел, следуя какой-нибудь семейной традиции, нравственному принципу или мистическому желанию, воспрещающему ему вот именно общаться с Германтами. “Нет, — заговорил он опять, в пояснение собственной интонации, — нет, я их не знаю, я и не хотел никогда, я всегда стремился сохранять полную независимость; в глубине души я старый яacobинец, вы же знаете. Многие предлагали мне помочь, говорили, что напрасно я не езжу в замок Германт, что я выгляжу невежей, старым медведем. Но такая репутация меня совершенно не пугает, ведь все это правда! В глубине души я люблю на всем свете только несколько церквей, две-три книги, немногие картины да лунный свет в тот час, когда ветерок вашей молодости приносит мне аромат цветочных клумб, которых моим старым глазам уже не различить”. Я не совсем понимал, почему не ходить в гости к незнакомым людям — значит дорожить своей независимостью и по какой причине это делает вас невежей и медведем. Но я понимал, что Легогранден не вполне правдив, когда говорит, что любит только церкви, лунный свет да молодость; он очень даже любит людей из замков и до того боится им не понравиться, что не смеет показать им, что дружит с буржуа, сыновьями нотариусов или биржевых маклеров, предпочитая, чтобы истина, если ей суждено открыться, вышла наружу в его отсутствие, отдельно от него и “заочно”; он был снобом. Разумеется, ничего этого не звучало никогда в его разговоре, который так любили мои родители и я сам. И если я спрашивал: “Вы знаете Германтов?” — тот, красноречивый, Легогранден отвечал: “Не знаю и никогда не стремился”. К сожалению, он отвечал вторым, потому что другой Легогранден, которого он тщательно прятал у себя внутри, которого не показывал, потому что этот другой Легогранден знал про нашего, про его снобизм, компрометирующие истории, — другой Легогранден уже успевал ответить уязвленным взглядом, оскалом рта, преувеличенной серьезностью ответа, тысячью стрел, которыми наш Легогранден оказывался мгновенно истыкан и ослаблен, как святой Себастьян снобизма: “Увы! Как вы меня терзаете, нет, я не знаю Германтов, не бередите мою невыносимую боль”. И поскольку этот ужасный Легогранден, этот Легогранден-шантажист, не владея прекрасным языком нашего Легограндена, владел иным языком, куда более доходчивым, — ведь этот язык состоял из произвольных реакций, — то, бывало, не успев красноречивый Легогранден заткнуть ему рот, как тот, другой, уже высказался, и нашему другу было уже поздно сокрушаться о дурном впечатлении, которое, должно быть, произвели разоблачения его альтер эго, он мог лишь попытаться как-то их сгладить.

И это, конечно, не означает, что г-н Легогранден кривил душой, когда обрушивался на снобов. Откуда ему было знать, что он сноб, по

крайней мере, сам бы он об этом не догадался, потому что мы знаем всегда только о чужих страстях, а все то, что нам удается узнать о наших собственных, сообщают нам другие люди. Эти страсти воздействуют на нас лишь исподволь, через воображение, подменяющее наши первые побуждения другими, более приличными. Снобизм Леграндена никогда не советовал ему почаще навещать какую-нибудь герцогиню. Он настраивал воображение Леграндена так, чтобы эта герцогиня представлялась ему наделенной всеми достоинствами. Легранден приближался к герцогине, воображал, будто уступает всем чарам ее ума и добродетели, кои неведомы презренным снобам. И только другие знали, что сам он сноб; не в силах понять посредническую роль его воображения, они видели сразу и светскую суетность Леграндена, и ее первопричины.

Теперь дома у нас уже не питали иллюзий насчет г-на Леграндена, и мы сильно от него отделились. Мама бесконечно забавлялась каждый раз, когда ловила Леграндена с поличным на грехе, в котором он не сознавался, который он продолжал называть непростительным, — на снобизме. Отцу же не удавалось так спокойно и весело смириться с амбициями Леграндена; и, когда в какой-то год думали послать меня на каникулы с бабушкой в Бальбек, он сказал: «Неприменно упомяну при Леграндене, что вы поедете в Бальбек; посмотрим, предложит ли он вам повидаться с его сестрой. Он, наверное, не помнит, как говорил нам, что она живет оттуда в каких-нибудь двух километрах». Бабушка считала, что на морском курорте надо с утра до вечера быть на пляже, вдыхать соленый ветер и ни с кем не знаться, потому что визиты и променады только отнимают время у морского воздуха, поэтому она, наоборот, просила, чтобы Леграндену не говорили о наших планах, представляя себе уже, как г-жа де Камбремер, его сестра, нагрянет в гостиницу, а мы-то как раз собрались на рыбалку, и вот уже нам приходится сидеть в четырех стенах и ее принимать. Но мама смеялась над ее опасениями, про себя думая, что опасность не так велика и Легранден не слишком-то поспешит сводить нас со своей сестрой. Причем нам даже не пришлось говорить с ним о Бальбеке: Легранден сам, не подозревая, что мы можем питать малейшее намерение отправиться в те края, в один прекрасный вечер угодил в ловушку, когда мы повстречались на берегу Вивонны.

— Тучи сегодня прелестного цвета, фиолетового, синего, не правда ли, дружище, — сказал он моему отцу, — и синева даже не воздушная, а скорее цветочная, как лепестки цинерарии, как странно видеть ее в небе. А вон то розовое облачко, у него ведь тоже цветочный оттенок, не то гвоздики, не то гортензии. Никогда мне не выпадали столь богатые наблюдения над атмосферной флорой, ну разве что на Ла-Манше, между Нормандией и Бретанью. Там, близ Бальбека, в совершенной глуши, есть бухточка, совершенно очаровательная, где закаты обычные для страны Ож[133], красные с золотом, никакой индивидуальности, ничего значительного, хотя не скажу о них дурного слова, но зато в этой сырой и мягкой атмосфере вечерами мгновенно распускаются несравненные небесные букеты, голубые и розовые, — и бывает, что не блекнут часами. А иногда тут же облетают, и тогда опять такая красота — видеть небо, усеянное бесчисленными разлетевшимися лепестками, желтыми или розовыми. В этой бухте, ее называют опаловой, золотые пляжи кажутся еще мягче, потому что прикованы, как белокуроые Андромеды[134], к ужасным скалам окрестных склонов, к этому зловещему побережью, которое славится множеством кораблекрушений, у которого каждую зиму не одно суденышко находит гибель в морских волнах. Бальбек! Древнейший геологический костяк нашей земли, воистину Ар-мор[135], Море, край земли, проклятый край, так хорошо описанный Анатодем Франсом[136] — волшебником, которого нашему другу надо бы прочесть, — под вечными туманами, воистину как страна киммерийцев в «Одиссее»[137]. И какое наслаждение совершать экскурсии в разные первобытные и такие красивые уголки буквально в двух шагах от Бальбека — хотя в самом-то Бальбеке уже строятся гостиницы, наслаиваются на древнюю прекрасную землю, но ведь земля все та же!

— А у вас есть знакомые в Бальбеке? — сказал отец. — Наш мальчик как раз туда собирается на два месяца с бабушкой, а может быть, с ними поедет и моя жена.

Легранден, застигнутый этим вопросом врасплох в тот момент, когда его глаза были устремлены на отца, не мог их сразу отвести, но с каждой секундой все пристальнее — и с печальной улыбкой — впиваясь ими в глаза своего собеседника, с выражением дружбы и чистосердечия и с таким видом, что вот, мол, он не боится смотреть ему прямо в лицо, смотрел, казалось, прямо сквозь это лицо, словно оно стало прозрачным, и видел в этот миг где-то далеко впереди цветное облачко, создававшее ему мысленное алиби и свидетельствовавшее, что в тот самый миг, когда его спрашивают, нет ли у него знакомых в Бальбеке, он думает о другом и не слышал вопроса. Обычно такие взгляды вызывают у собеседника вопрос: «О чем вы задумались?» Но мой любопытный, раздраженный и жестокий отец продолжал свое:

— Если вы так хорошо знаете Бальбек, у вас, наверное, есть в тех краях друзья?

Сияющий взгляд Леграндена последним отчаянным усилием достиг пределов нежности, неопределенности, искренности и рассеянности, но, понимая, вероятно, что теперь ему уже ничего не остается, как ответить, он сказал нам:

— У меня друзья повсюду, где сходятся вместе отряды деревьев, раненых, но не побежденных, и с трогательным упорством молят безжалостные к ним, немилосердные небеса.

— Я не это имел в виду, — перебил отец, упорный, как деревья, и безжалостный, как небеса. — Я хочу сказать, на случай, если с моей тещей что-нибудь случится или ей покажется одиноко в незнакомом месте, есть ли у вас там знакомые?

— Там, как и везде: знаю всех и не знаю никого, — отвечал Легранден, который так скоро не сдавался, — многое мне знакомо, но мало кто знаком. Но и неодушевленные предметы кажутся там живыми существами, со своим неповторимым характером, с тонкой натурой и словно разочарованные жизнью. Подчас это небольшой замок — вы встретите его на скале, у дороги, где он остановился, чтобы лицом к лицу сойтись со своей печалью, — вечером, еще розовым, когда встает золотая луна и парусники, что плывут домой, бороздя радужную воду, вздымают на мачтах ее отблески и украшаются ее флажками; подчас одинокий скромный домик, некрасивый, быть может, застенчивый с виду, но романтический, прячущий от чужих глаз какую-нибудь нетленную тайну счастья и разочарования. Этот край, в котором нет правды, — добавил он с макиавеллиевским лукавством, — этот край чистого вымысла — неподходящее чтение для ребенка, и я бы наверняка не советовал ехать туда моему юному другу с его чувствительным сердцем, которое и так уже сильно к печали. Климат любовных признаний и бесплодных сожалений годится разочарованному старику вроде меня, а неокрепшей натуре все это вредно. Поверьте мне, — настойчиво повторил он, — воды этой бухты, уже наполовину бретонской, еще могут, пожалуй, производить болеутоляющее действие на сердце вроде моего, утратившее первоизданность, на сердце, пораженное неисцелимой раной. Но в вашем возрасте, юноша, они противопоказаны. Спокойной ночи, соседи, — добавил он и покинул нас с той уклончивой внезапностью, которая

была у него в привычке, а потом обернулся, погрозил пальцем и подвел итог своей консультации: — Никакого Бальбека до пятидесяти лет, да и тогда еще посмотрим по состоянию сердца! — выкрикнул он.

В последующие встречи отец опять заводил с ним тот же разговор, терзал его вопросами, но это был напрасный труд: совсем как тот прохвост-эрудит, не ленившийся тратить на создание фальшивых палимпсестов столько труда и учености, что сотая доля этих усилий могла бы обеспечить ему куда более прибыльное, и притом почетное, положение[138], г-н Легранден, если бы мы упорствовали и дальше, в конце концов выстроил бы целую этику пейзажа и небесную географию Нижней Нормандии, лишь бы не признаваться нам, что в двух километрах от Бальбека живет его родная сестра, и не давать нам рекомендательного письма, написать которое было бы ему не так страшно, будь он совершенно уверен — а он мог быть в этом уверен, зная характер моей бабушки,— что мы им не воспользуемся.

Мы всегда возвращались с прогулок пораньше, чтобы успеть до ужина навестить тетю Леони. Весной, когда темнеет рано, мы, проходя по улице Святого Духа, еще видели отсвет заката на окнах дома, а вдали — пурпурную полосу в глубине рощи, обступившей холм с распятием возле церкви, а еще дальше — ее же, отраженную в пруду; эти алые краски, часто сопутствуя довольно холодной погоде, связывались у меня в сознании с алым огнем, на котором жарилась курица, — так поэтическое удовольствие от прогулки сменялось у меня удовольствием от вкусной пищи, тепла и отдыха. Летом, наоборот, когда мы шли домой, солнце еще не садилось; и, пока мы навещали тетю Леони, его свет, клонясь все ниже и входя в окно, задерживался между большими шторами и обнимал их, пробивался сквозь них, просачивался, инкрустировал кусочками золота лимонное дерево комода, проникал в комнату наискосок, так что в комнате стоял мягкий полумрак, словно в густом подлеске. Но бывали изредка дни, когда к нашему приходу комод успевал уже растерять свою мимолетную инкрустацию; и уже не было, когда мы вступали на улицу Святого Духа, никакого отсвета заката на стеклах, и пруд у подножия распятия успевал уже утратить красные отблески, местами он уже был опаловый, и длинная лунная дорожка, все расширяясь и растрескиваясь от ряби на воде, пересекала его от края и до края. Тогда, подходя к дому, мы замечали на пороге силуэт, и мама мне говорила:

— О боже, Франсуаза нас высматривает: тетя беспокоится, значит, мы запоздали.

И не тратя времени на раздевание, мы поскорее поднимались к тете Леони, чтобы ее успокоить и показать ей, что, в противоположность тому, что она себе вообразила, с нами ничего не случилось, а просто мы ходили “в сторону Германта”, а когда мы пускались в эту прогулку, тетя же и сама прекрасно знала: невозможно рассчитать заранее, когда мы вернемся домой.

— Вот, Франсуаза, — говорила тетя, — говорила же я вам, что они пошли в сторону Германта! Боже мой, как они, наверное, проголодались! А ваше баранье жаркое, небось, совсем перестоялось и стало жесткое. Возвращаться домой в такое время, где это видано! Взяли да пошли в сторону Германта!

— Но я думала, что вы знаете, Леони, — говорила мама. — Я думала, Франсуаза видела, как мы уходили через садовую калитку.

Дело в том, что вокруг Комбре было две “стороны”, куда можно было ходить гулять, причем настолько противоположные, что даже путь туда лежал через разные выходы, смотря куда мы собирались: в сторону Мезеглиз-ла-Винез, что у нас называлось также в сторону Сванна, потому что дорога шла мимо имения Сванна, и в сторону замка Германт. Мезеглиз-ла-Винез, по правде сказать, так и остался мне неведом; я только представлял себе, в какой он “стороне”, да видал тамошних обитателей, которые навевались по воскресеньям на прогулку в Комбре; ни тетя, ни мы их в самом деле “совсем не знали” и по этому признаку причисляли к “людям, которые, скорее всего, явились из Мезеглиза”. А вот об имени Германт мне предстояло в свое время узнать больше, но лишь много позже; и все мое отрочество Мезеглиз оставался для меня недоступным, как горизонт, ускользавший от взгляда, как бы далеко мы ни зашли по бугристой земле, уже совсем непохожей на комбрейскую, а Германт представлялся мне понятием скорей идеальным, чем реальным, где-то там, в своей собственной “стороне”, вроде абстрактного географического термина, как линия экватора, как полюс, как восток. Пойти в сторону Германта, если хочешь попасть в Мезеглиз, или наоборот показалось бы мне тогда выражением, настолько же лишенным смысла, как пойти на восток, если хочешь попасть на запад. Поскольку отец всегда говорил про сторону Мезеглиза, что не знает вида

на долину красивей, чем оттуда, а про сторону Германта — что это типичный речной пейзаж, я так и представлял их себе как два отдельных мира, по-своему цельных и стройных, как бывает только с порождениями нашего сознания; мельчайшая частица каждого из этих миров представлялась мне драгоценной и доказывала их особое совершенство, между тем как вся дорога туда, пока не вступишь на священную почву одной из этих стран, — эта совершенно материальная дорога, вдоль которой они простирались, как идеальный вид на долину и идеальный речной пейзаж, не стоила того, чтобы на нее смотреть: так зрителю, влюбленному в драматическое искусство, неинтересны улочки вокруг театра. Но главное, чем я их мысленно разделял, было не расстояние во сколько-то километров, а расстояние между двумя участками моего мозга, которыми я о них думал, одно из тех сотворенных умом расстояний, которые не просто отдаляют, а разделяют и перемещают в другой план. И разграничение было тем более непреложным, что наш обычай никогда не ходить в один и тот же день, на одной и той же прогулке, в обе стороны, а только или в сторону Мезеглиза, или в сторону Германта, замыкал их, так сказать, вдали друг от друга, в обширных пространствах разных дней, не сообщавшихся между собой.

Когда собирались в сторону Мезеглиза, пускались в путь не слишком рано и не обращали внимания на тучи, потому что прогулка предстояла не такая уж долгая и далеко не уведет; выходили через главные ворота тетиного дома на улицу Святого Духа, как по всем другим делам. Здоровались с оружейником, бросали письма в почтовый ящик, по дороге передавали Теодору от Франсуазы, что у нее вышло растительное масло или кончился кофе, и покидали город по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды вокруг парка г-на Сванна. Мы еще не успевали подойти к парку, а нас уже приветствовал запах сирени, словно выходявший навстречу чужеземцам. Сама сирень, сквозь гущу зеленых и свежих сердечек-листьев, с любопытством высовывала из-за ограды парка свои султаны из сиреневых или белых перьев, и эти султаны, омытые солнцем, даже в тени сверкали от солнечных бликов. Несколько кустов, наполовину спрятанных за черепичным домиком, который назывался домик Лучников и где жил сторож, простирали свои розовые минареты выше его готической островерхой крыши. Нимфы весны показались бы вульгарными рядом с этими юными гуриями, хранившими в здешнем французском саду живые и чистые краски персидских миниатюр. Мне хотелось обнять их гибкий стан и притянуть к себе звездчатые кудряшки благоуханных головок, но мы проходили не останавливаясь, ведь родители больше не бывали в Тансонвиле, с тех пор как Сванн женился, и, чтобы не казалось, что мы заглядываем в парк, мы не шли по той дороге, которая, огибая парк, ведет прямо в поле, а

— Сворачивали на другую, которая идет туда же, но в обход, так что нам приходилось делать крик. Однажды дедушка сказал отцу:

— Помнишь, Сванн вчера сказал, что его жена и дочка уезжают в Реймс, а он уж заодно съездит на сутки в Париж? Давай пройдем вдоль парка, дамы все равно в отъезде, а нам ближе.

Перед оградой мы на миг остановились. Пора сирени близилась к концу; отдельные грозди еще испускали из высоких сиреневых люстр хрупкие пузырьки цветов, но сплошь и рядом в листве, где всего неделю назад еще бурлил их благоуханный водоворот, теперь, почернев и опав, увядала пустая пена, сухая и без запаха. Дедушка показывал отцу, что в этих местах осталось по-прежнему, а что изменилось с тех пор, как они гуляли здесь с г-ном Сванном в день, когда у того умерла жена, и не преминул рассказать об этой прогулке еще раз.

Прямо перед нами аллея, обсаженная настурциями и залитая ярким солнечным светом, поднималась в гору — к дому. Направо простирался парк; здесь земля, наоборот, была ровная. Там темнел в тени деревьев пруд, вырытый еще родителями Сванна; но как ни вмещивайся человеческое искусство в природу, все равно это природа; есть места, которые всегда устанавливают вокруг себя свою суверенную власть, водружают свои древние эмблемы посреди парка, словно вдали от любых человеческих поселений, и вокруг них неизбежно воцаряется безлюдье, заданное самим их расположением, и наслаивается на сделанное людьми. Так, у начала аллеи, которая поднималась от пруда, сам собой сплелся живой нежно-голубой венок из растущих в два ряда незабудок и барвинка, он охватывал залитую мягким светом поверхность пруда, а шпажник, клоня с королевской небрежностью листья-шпаги, простирал свой озерный скипетр и лилейные лохмотья фиолетовых и желтых цветов над мокроногим посконником и водяным лютиком.

Из-за отъезда мадмуазель Сванн — лишавшего меня пугающей возможности увидеть, как она появляется в конце аллеи, быть узнанным и навлечь на себя презрение юной удачницы, которая дружит с Берготтом и вместе с ним осматривает соборы, — осмотр Тансонвиля меня совершенно не заинтересовал в тот первый раз, когда я там очутился, но, с точки зрения дедушки и отца, как раз благодаря ее отсутствию имение ненадолго стало еще удобнее и привлекательнее для осмотра, чем всегда, а день — еще благоприятнее для прогулки в ту сторону: так день без единого облачка исключительно благоприятствует походу в горы; мне хотелось, чтобы их расчеты рухнули, чтобы мадмуазель Сванн с отцом чудом возникли перед нами так быстро, что нам бы уже было не убежать и пришлось бы с ней знакомиться. Вот почему, заметив неожиданно, словно знак ее возможного присутствия, корзинку, забытую рядом с удочкой, поплавок которой покачивался на воде, я поспешил отвлечь внимание дедушки и отца в другую сторону. Впрочем, г-н Сванн нам говорил, что отлучаться ему не стоило бы, потому что у них сейчас гостит какая-то семья: удочка могла принадлежать кому-нибудь из гостей. В аллее не было слышно ничьих шагов. Рассекая крону какого-то непонятого дерева, невидимая птица изощрялась в стараниях скоротать дневные часы, вонзаясь одной нескончаемой нотой в окружающее безлюдье, но ответ не оставлял никаких сомнений, ей рикошетом возвращались удвоенная тишина и неподвижность, и казалось, что ей наконец-то удалось навсегда остановить мгновение, которое она старалась прожить поскорее. Свет так безжалостно падал с застывшего неба, что хотелось ускользнуть от его внимания; мошкара непрестанно будоражила дрему сонной воды, грезившей, вероятно, о каком-нибудь воображаемом Мальстреме[139] и растравлявшей во мне ту тревогу, в которую меня поверг пробковый поплавок: его, казалось, стремительно затягивало в безмолвные просторы отраженного неба; он стоял почти вертикально, и казалось, вот-вот утонет, и я уже задавался вопросом, может быть, несмотря на все мое стремление познакомиться с мадмуазель Сванн и одновременно ужас перед этим знакомством, я должен все-таки предупредить ее, что у нее клюет, — но тут мне пришлось бегом догонять отца и дедушку, которые звали меня, удивляясь, что я не иду за ними по тропинке, ведущей в поле. Оказалось, что она вся так и гудит от аромата боярышника. Изгородь была словно череда часовен, почти не различимых под охапками цветов, громоздившихся на алтарях; под ними солнце накладывало на землю световую решетку, словно проходя сквозь оконный переплет; запах распространялся от них такой елейный, такой неудержимый, как будто я стоял перед алтарем Богородицы, и каждый цветок, принарядившись, рассеянно протягивал свой искрящийся букет тычинок, тонких и сияющих ребрышек в стиле пламенеющей готики, как те, что в церкви окружали кружевными перилами амвон или переплеты витража, и распускался белой плотью цветущей земляники. Какими простодушными деревенщинами покажутся в сравнении с ними цветы шиповника, которые через несколько недель тоже выберутся на яркий солнечный свет по той же сельской тропинке, наряженные в однотонный шелк обдуваемых ветерком алых блуз.

Но напрасно я застывал перед боярышником, нюхал, впивался в него мыслью, не знавшей, как с ним быть, терял и вновь находил невидимый и застывший запах, подстраивался к ритму, в котором были разбросаны его цветы, — тут и там они возникали в приступе юного веселья, разделенные неравными промежутками, какими бывают иногда музыкальные интервалы, и дарили мне свое очарование с неизбывной щедростью, но дальше не пускали, подобно тем мелодиям, которые играешь сто раз подряд и все равно не в силах глубже проникнуть в их тайну. На мгновение я отворачивался, чтобы потом подступить к ним со свежими силами. Я продолжал преследование до самого откоса, который по ту сторону изгороди круто шел вверх, к полям, обгоняя какой-нибудь потерявшийся мак да несколько отставших по лености васильков, которые там и тут украшали склон своими цветками, как кайма шпалеры, на которой намеком намечен тот пасторальный узор, что восторжествует на полотнище; еще редкие, разбросанные, как уединенные домики, предупреждающие, однако, что город близко, они предупреждали об огромном пространстве, где бушует пшеница, где барашками ходят облака, и при виде одного — единственного мака, который вздернул и полощет по ветру на своей мачте красный флажок над черным бакеном маслянистой земли, у меня начинало стучать сердце, как у путешественника, когда он замечает на низком берегу первую прохудившуюся лодку, которую латает конопатчик, и, еще не видя, кричит: "More!"

Потом я опять возвращался к боярышнику, как к произведению искусства, которое, как считается, можно понять лучше, если ненадолго от него отвлечься, но напрасно я выставлял ладони как раму, чтобы видеть только цветы боярышника: чувство, которое они во мне возбуждали, оставалось темным и неясным, и напрасно оно стремилось от меня отделиться и припасть к цветам. Они не помогали мне прояснить это чувство, и я знал, что никакие другие цветы не могли его угодить. И вдруг, даря мне ту радость, какую мы испытываем, когда находим у нашего любимого художника совершенно неожиданное полотно или когда нас подводят к картине, прежде знакомой нам только в виде карандашного наброска, когда музыка, слышанная раньше только на рояле, раздается затем облаченная всеми красками оркестра, дедушка сказал: "Ты же любишь боярышник, погляди — а этот куст розовый: красиво!" В самом деле, это был боярышник, но розовый, еще прекраснее белого. Он тоже был в праздничном уборе, какие надевают на церковные, то есть единственно настоящие, праздники, в отличие от мирских не привязанные по прихоти случая к произвольному дню, не предназначенному именно для них и в котором нет ничего особо праздничного; но убор этого куста был еще пышнее, потому что цветы, прикрепленные к ветке друг над другом, так чтобы не оставалось ни одного свободного места, подобно гирлянде помпонов, украшающих пастуший жезл в стиле рококо, были

цветные”, то есть, согласно комбрийской эстетике, выше качеством, если судить по разнице в ценах в “магазине” на Площади или у Камю, где розовые бисквиты были дороже обыкновенных. Я и сам любил намять земляники в творог со сливками, чтобы он стал розовый. И эти цветы как раз выбрали один из таких оттенков, не то съедобных, не то нежных и нарядных, как платье для большого праздника, чье очевидное превосходство проявляется в том, что они больше нравятся детям, а потому в них всегда сохраняется для детского глаза что-то более живое и естественное, чем в других оттенках, даже когда дети поймут, что полакомиться тут нечем и к портнихе это тоже не понесешь. И я это, конечно, сразу почувствовал, так же, как перед белым боярышником, но с еще большим восхищением: это ощущение праздника в цветах — подлинное, в нем нет ничего от искусственности человеческих изделий; сама природа простодушно выразила его со всей наивностью деревенской лавочницы, украшающей алтарь для крестного хода, когда перегружала куст этими провинциальными розетками в стиле помпадур, слишком уж нежной расцветки. Поверху ветвей, как на тех кустиках роз в горшочках, утопающих в бумажном кружеве, которые во время больших праздников сияют и лучатся на алтаре, роилось множество маленьких бутонов чуть более бледного оттенка; бутоны приоткрывались, и внутри, как на дне чаши розового мрамора, были видны красные прожилки; в этих бутонах, еще больше, чем в цветах, жила особая, неистребимая сущность розового боярышника, который, где бы ни распускался, где бы ни цвел, всегда останется розовым. Он вплетался в изгородь, но так же выделялся в ней, как девушка в праздничном платье среди людей, одетых по-домашнему, которые останутся дома, он был совершенно готов к майскому празднику Девы Марии и, казалось, уже участвовал в нем — сияющий и улыбочивый в новеньком розовом платье, восхитительный католический куст.

Сквозь изгородь была видна аллея парка, окаймленная жасмином, анютиными глазками и вербеной, между которыми левкои распахивали свои свежие розовые кошельки, душистые и блеклые, как старинная кордовская кожа, а на гравии чертил круги длинный зеленый поливочный шланг, и из его отверстий вертикально вздымался над цветами, пронизывая их аромат влагой, призмобразный веер разноцветных брызг. Внезапно я остановился, я не мог ступить ни шагу, как бывает, когда видение не только предстает нашим глазам, но взывает к более глубокому восприятию и полностью поглощает. Белокурая, почти рыжая девочка, которая только что, похоже, вернулась с прогулки и держала в руке садовую лопатку, смотрела на нас, подняв усыпанное розовыми веснушками лицо. Ее черные глаза блеснули; я тогда не умел, да и позже не научился раскладывать общее сильное впечатление на конкретные детали; мне не доставало так называемой наблюдательности, чтобы, например, составить себе понятие о цвете этих глаз, поэтому долгое время всякий раз, когда я опять о ней думал, мне помнилось, что ее глаза блестят, как яркая лазурь, потому что она была белокурая; и может быть, если бы глаза у нее были не такие черные — что поражало с первого взгляда, — я бы не влюбился, как это со мной случилось, главным образом в ее синие глаза.

Сперва я устремил на нее такой взгляд, которым говорили не только глаза: в него, как в окошко, тревожно и ошеломленно выглядывали все мои чувства, а сам взгляд хотел тронуть, захватить, увести за собой тело, на которое он был направлен, и душу заодно; потом, испугавшись, что сию секунду дедушка и отец заметят девочку и подзовут меня, велют бежать вперед, я бросил на нее второй взгляд, бессознательно умоляющий, который пытался привлечь ко мне ее внимание, познакомить ее со мной! Она стрельнула глазами вперед и вбок, желая составить мнение о дедушке и отце, и, наверное, решила, что мы смешные, потому что отвернулась и с видом безразлично-презрительным стала в сторонку, чтобы ее лицо не попадало в их поле зрения; и пока они, не замечая ее, шли вперед и обгоняли меня, она бросала в мою сторону долгие взгляды, без особого выражения, но пристальные и словно скрывавшие усмешку, — исходя из привитых мне понятий о хорошем воспитании я мог их истолковать только как свидетельство обидного презрения, а рука ее в то же время изобразила неприличный жест, которому в общественном месте по отношению к незнакомому лицу мой маленький кодекс манер давал только одно значение — намеренной дерзости.

— Ну, пошли, Жильберта, что ты там делаешь? — крикнула пронзительным и властным голосом дама в белом, которую я сперва не заметил, а на некотором расстоянии от нее какой-то незнакомый мне господин в тиковом костюме уставился на меня глазами навывкате; и девица, внезапно перестав улыбаться, взяла лопатку и ушла, не обернувшись в мою сторону, с послушным, непроницаемым и замкнутым видом.

Так прошло передо мной имя “Жильберта”, данное мне как талисман, чтобы когда-нибудь с его помощью отыскать ту, которую он только что превратил из смутной тени в живую девушку. Так прошло оно, изреченное поверх жасмина и левкоев, острое и свежее, как брызги из зеленого шланга; оно пролетело по зоне чистого воздуха и очертило ее пределы, и напитало ее, и расцветило радугой тайны, окружавшей жизнь девочки, которую звали этим именем счастливицы, что жили и странствовали рядом с ней; и под розовым боярышником на высоте моего плеча обнаружило передо мной самую суть их близости, для меня такой мучительной, — к ней, к тому, чего я не знал в ее жизни, потому что был посторонним.

На миг (пока мы шли прочь и дед бормотал: “Бедный Сванн, какую роль они ему отвели: заставили уехать, чтобы ей побыть вдвоем со своим Шарлюсом, потому что ведь это же он, я его узнал! И малышку вмещивают во все эти гнусности!”), когда деспотический тон, которым мать говорила с Жильбертой — а та в ответ промолчала, — открыл мне, что ей приходится подчиняться, что она не превосходит всех и вся, это впечатление немного смягчило мою боль, подало некоторую надежду и уменьшило любовь. Но очень скоро любовь опять воспряла во мне как отклик моего униженного сердца, хотевшего возвыситься до Жильберты или принизить ее до себя. Я ее любил, я жалел, что у меня не хватило времени и вдохновения обидеть ее, причинить ей боль, сделать так, чтобы она меня запомнила. Она показалась мне такой красивой, что мне хотелось вернуться и крикнуть, выпятив грудь: “Вы уродина, просто чучело, на вас смотреть противно!” Тем временем я уходил прочь, и навсегда, как первый образец счастья, согласно незыблемым законам природы недостижимого для детей вроде меня, уносил с собой образ рыжей девочки, усыпанной веснушками, с лопаткой в руках, девочки, которая смеется, бросая на меня долгие взгляды, хитрые и непонятные. Звук ее имени уже зачаровал то место под розовым боярышником, где его вместе услышали она и я, и эти чары уже охватили, пропитали, пронизали своим ароматом все, что к ней приближалось, — ее бабушку с дедушкой, которых мои имели неизреченное счастье знать, божественную профессию биржевого маклера, мучительный квартал Елисейских Полей, где она жила в Париже. — Леони, — сказал дедушка, когда мы вернулись домой, — жаль, что тебя сейчас не было с нами. Ты бы не узнала Тансонвиля. Неловко было, а то бы я срезал для тебя ветку розового боярышника, ты же его так любишь. — И дедушка рассказал тете Леони всю нашу прогулку, не то желая ее развлечь, не то потому, что еще не потерял надежды выманить ее из дому. Она ведь когда-то очень любила это имение, а кроме того, Сванн оставался последним, кого она еще принимала, когда для всех ее двери уже закрылись. Он и теперь справлялся, как она поживает (и спрашивал, нельзя ли ее повидать), а она передавала, что чувствует себя усталой, но в другой раз пригласит его к себе; вот так и в тот вечер она сказала: “Да, как-нибудь в хорошую погоду я съезжу в экипаже до ворот парка”. Она говорила искренне. Ей хотелось бы опять увидеть Сванна и Тансонвиля; но сил у нее оставалось как раз на

то, чтобы хотеть; осуществление этого желания их превозмозило. Иногда в хорошую погоду к ней возвращалось немного бодрости, она вставала, одевалась; не успевала она перейти в другую комнату, как усталость возвращалась, и она требовала, чтобы ее уложили. У нее уже началась — просто это случилось раньше обычного — великая отрешенность, свойственная старости, когда старость готовится к смерти, прячется в свою хризалиду; подчас такую отрешенность можно наблюдать в конце очень затянувшихся жизней даже между бывшими влюбленными, любившими когда-то сильнее некуда, между друзьями, которых соединяли самые духовные узы, но вот начиная с какого-то года они перестают выезжать или выходить из дому, без чего невозможно повидаться, перестают писать друг другу и знают, что в этом мире им уже не встретиться. Тетя, должно быть, отлично знала, что не увидит больше Сванна, что никогда больше не выйдет из дому, но, вероятно, это пожизненное затворничество сильно облегчалось для нее тем, что, с нашей точки зрения, должно было делать его особенно мучительным: оно было вынужденным, потому что она сама чувствовала, как силы у нее с каждым днем убывают, и из-за слабости каждое действие, каждое движение оборачивалось для нее усталостью или даже страданием, а потому бездействие, уединение, тишина приносили ей освежающую и благословенную отраду покоя.

Тетя не поехала смотреть изгородь с розовым боярышником, но я то и дело спрашивал родителей, поедет ли она и часто ли она ездила в Тансонвиль раньше, стараясь навести их на разговоры о родителях и дедушке с бабушкой мадмуазель Сванн, которые представлялись мне великими, как боги. Это имя, Сванн, казалось мне почти мифологическим, и, разговаривая с родителями, я мучительно мечтал услышать его из их уст, я не смел произнести его сам, но сводил беседу к темам, которые вращались вокруг Жильберты и ее семьи, имели к ней какое-нибудь отношение, чтобы не чувствовать себя изгнанным от нее уж совсем далеко; ни с того ни с сего я притворялся, что думаю, например, будто должность моего деда уже до него принадлежала нашей семье или что изгородь с розовым боярышником, которую хотела увидеть тетя Леони, находится на общинных землях, и вынуждал отца поправлять мое утверждение, говорить, как бы вопреки мне, как бы по собственному почину: “Да нет, эту должность занимал отец Сванна, эта изгородь относится к парку Сванна”. И мне приходилось переводить дух, — слишком глубоко запечатлелось во мне это имя, оно давило и почти душило меня, когда его при мне произносили: оно мне казалось более емким, чем любое другое, потому что с каждым разом, когда я мысленно его проговаривал, оно делалось все тяжелее. Это имя приносило мне наслаждение, и меня смущало, что я смею вымогать это наслаждение у родителей, ведь наслаждение было так огромно, что им, наверное, стоило больших усилий мне его доставить, причем усилий безвозмездных, ведь самим им это никакой радости не приносило. Поэтому я переводил разговор на другую тему, как подсказывала мне скромность. И совесть. Как только они называли имя Сванн, я находил в нем все те удивительные обольщения, которые сам же в него вкладывал. И тогда мне вдруг казалось, что родители не могут их не чувствовать, что они усвоили мою точку зрения, что они уже и сами заметили, простили, переняли мои мечты, и я страдал оттого, что победил и развратил их.

В том году родители наметили день для возвращения в Париж немного раньше обычного; с утра перед отъездом, собираясь меня фотографировать, завили мне волосы, аккуратно надели на меня шляпу, которой я еще ни разу не носил, и бархатное пальтишко; но потом мать искала меня повсюду и нашла в слезах на тропинке, прилегающей к Тансонвиллю: я прощался с боярышником, обнимал колючие ветки и, уподобясь трагической принцессе, которой тяжело бремя этого убора, не испытывая никакой благодарности к тем, кто в прилежанье злом собрал мне волосы и завязал узлом[140], топтал ногами сорванные папилютки и новенькую шляпу. Мать не тронулась моими слезами, но при виде раздавленной шляпы и погубленного пальтишка невольно вскрикнула. Я не слышал. “Бедненький мой боярышничек, — говорил я сквозь слезы. — Ты-то не хотел меня огорчить, ты-то не заставлял меня уезжать. Ты-то мне никогда ничего плохого не делал! Вот я тебя и буду всегда любить”. И, утирая слезы, я обещал боярышнику, что, когда вырасту большой, не стану жить так бессмысленно, как другие взрослые, и даже в Париже в начале весны, вместо того чтобы ходить по гостям и слушать глупости, буду уезжать в деревню смотреть на первые цветы боярышника.

Когда ходили в сторону Мезеглиза, то, выйдя в поля, уже не расставались с ними всю прогулку. По ним невидимым бродягой вечно разгуливал ветер, для меня он был особым комбрейским гением[141]. Каждый год в день нашего приезда, чтобы почувствовать, что я здесь, в Комбре, я поднимался ему навстречу, туда, где он шебуршил нивы, и бегал за ним следом. В сторону Мезеглиза всегда было по пути с ветром: на этой выпуклой равнине на протяжении многих лет ему не мешали никакие изменения рельефа. Я знал, что мадмуазель Сванн часто ездит на день-другой в Лан, и, хотя до Лана было несколько лье, расстояние словно сокращалось отсутствием преград, и когда ясным днем я видел, как один, как один же порыв ветра, начинаясь у самого горизонта, пригибает самые дальние колосья, теплой волной пробегает по всему огромному пространству и с ропотом укладывается среди эспарцета и клевера к моим ногам, то мне казалось, что эта общая для нас обоих равнина сближает, объединяет нас, и я думал, что этот порыв ветра пронесся мимо нее, что он нашептывает мне послание от нее, которое я не в силах понять, и я целовал его на лету. Налево была деревушка Шампье (если верить юре, *Camprus Pagani*). Направо за хлебами виднелись две кружевные сельские колокольни св. Андрея-в-полях, заостренные, облупившиеся, выщербленные, в паутине трещин, желтеющие и шероховатые, сами как два колоса.

Через равные интервалы, среди неповторимого узора листьев, которые не спутаешь с листьями никакого другого фруктового дерева, яблони распахивали широкие лепестки белого атласа или развешивали букеты робких, краснеющих бутонов. В стороне Мезеглиза я впервые заметил круглую тень, которую отбрасывают яблони на залитую солнцем землю, и те неосозаемые золотые шелковинки, которые тклет наискосок закат под каждым листом, — я видел, как отец рассекает их на ходу тростью, но они оставались на месте.

Иногда в предвечернем небе проплывала белая как облако, луна, — украдкой, без блеска, как актриса, которой еще не пора на выход, и вот она в городском платье смотрит из зала, как играют ее товарищи, и ступевалась, не желая, чтобы на нее обращали внимание. Я любил находить ее изображение на картинах и в книгах, но эти произведения искусства очень отличались — по крайней мере в первые годы, пока Блок не приучил мои глаза и мысль к более утонченным гармониям, — от тех, где луна показалась бы мне прекрасной сегодня и где тогда бы я ее не узнал. К примеру, какой-нибудь роман Сентина[142], пейзаж Глейра, на котором она серебряным серпом четко вырисовывается в небе[143], — книги и картины, простодушные и несовершенные, как мои собственные впечатления: бабушкиных сестер, например, возмущала моя любовь к такому искусству. Они полагали, что детям надо предлагать — а дети, доказывая, что у них хороший вкус, должны прежде всего любить — те произведения, которыми мы бесспорно восхищаемся в зрелости. Очевидно, они представляли себе эстетические достоинства как материальные предметы, которые невозможно не заметить — достаточно открыть глаза и не надо ждать, пока медленно вырастишь нечто подобное в собственном сердце.

В стороне Мезеглиза, на берегу большого пруда, прислонившись к поросшему кустарником холму, расположился Монжувен — дом, в котором жил г-н Вентейль. На дороге мы часто встречали его дочку, которая во весь опор правила открытым экипажем. Начиная с

какого-то года мы уже встречали ее не одну, а с подругой старшей ее, о которой шла в наших краях дурная слава; в конце концов подруга совсем перебралась в Монжувен. Говорили: “Наверно, бедный господин Вентейль ослеп от любви к дочке, как это он не обращает внимания на пересуды и позволил дочке поселить в доме такую особу — это он-то, которого неуместное слово оскорбляет! Он говорит, что это выдающаяся женщина, воплощенное благородство и что в ней проявились бы необыкновенные способности к музыке, если бы она их развивала. Можно не сомневаться: с его дочкой она не музыкой занимается”. Г-н Вентейль именно так о ней и говорил, и в самом деле, поразительно, как восхищаются душевными качествами человека родственники того, с кем этот человек связан узами плоти. Физическая любовь, так несправедливо опороченная, настолько проявляет в каждом человеке мельчайшие крохи доброты, самоотверженности, что это бросается в глаза всем, кто находится рядом. Доктор Перспье, которому его густой голос и густые брови позволяли сколько угодно играть роль человека коварного, на которого он вообще-то не был похож, и при этом не вредить своей непоколебимой и незаслуженной репутации ворчуна-благодетеля, потешал до слез юре и всех остальных, изрекая сварливо: “Ладно! Она, мадмуазель Вентейль, видите ли, музыкой занимается со своей подругой. Вам это как будто странно. Не знаю, не знаю. Мне папаша Вентейль еще вчера говорил. Имеет же она право любить музыку, эта девица. Я не из тех, кто станет на пути деток, у которых призвание к искусству, да и Вентейль тоже. И потом, он и сам занимается музыкой с подругой своей дочери. Черт побери, у них там в этом вертепе такая музыка! А чего вы смеетесь? Просто эти люди со своей музыкой перестарались. Я на днях встретил папашу Вентейля у кладбища. Он на ногах не держался”.

Не мы одни видели, что г-н Вентейль в тот период избегал знакомых, отворачивался, завидев их; он состарился в несколько месяцев, с головой ушел в свое горе, неспособен был ни на какое усилие, если оно не было направлено на счастье дочери, он проводил целые дни на могиле жены — трудно было не понять, что он умирает с горя, и, разумеется, он не мог не знать, какие ходят слухи. Все он знал, а возможно, и верил этим слухам. Наверное, любой человек на свете, каким бы ни был он добродетельным, способен, покоряясь сложным обстоятельствам, ужиться рядом с грехом, который он самым решительным образом осуждает, ужиться, не до конца узнавая его в том обличье, которое принял этот грех, чтобы проникнуть в его жизнь и заставить его страдать, — например, не обратив внимания, что однажды вечером существо, которое он по множеству причин любит, скажет нечто странное или поведет себя необъяснимым образом. Но для такого человека, как г-н Вентейль, было, наверно, еще мучительнее смиряться с некоторыми вещами, которые ошибочно считают уделом мира богемы, хотя на самом деле они случаются всякий раз, когда некий порок хочет найти для себя место и подходящие условия и развивается в ребенке по воле самой природы, иногда просто потому, что так соединились в нем отцовские и материнские черты, вроде того, как определяется цвет его глаз. Но из того, что г-н Вентейль знал о поведении своей дочери, не следует, что он меньше перед ней преклонялся. Факты не проникают в мир, где живет наша вера; не из фактов она родилась, не фактам ее и разрушить; факты могут навязывать вере самые упорные разоблачения, ничуть ее не ослабляя, — так лавина несчастий и болезней, беспрестанно обрушивающихся на семью, не заставит ее членов усомниться ни в доброте их Бога, ни в талантах их врача. Но когда г-н Вентейль думал, как они с дочерью выглядят в глазах других людей, во что превратилась их репутация, когда он пытался представить себе, какое место отводит им людское мнение, тут он становился на точку зрения общества и представлял себе все именно так, как подбало жителю Комбре, то есть видел себя и дочку среди самых последних подонков общества, и от этого его манеры очень скоро приобрели отпечаток униженности, почтения к тем, кто выше его и на кого он смотрел снизу вверх (пускай раньше они были гораздо ниже), во всем его поведении сквозили неуверенные попытки дотянуться до их уровня, — таково бывает чисто механическое следствие всякого упадка. Однажды мы шли со Сванном по комбрейской улице, а г-н Вентейль внезапно свернул из-за угла и слишком быстро очутился перед нами лицом к лицу, так что избежать нас было уже нельзя; и Сванн, с милосердием светского человека, который, находя опору в гордыне, способен махнуть рукой на все свои нравственные предрассудки и видит в чужом позоре только повод выразить этому человеку свое расположение, которое тем больше щекочет самолюбие того, кто его выказывает, что он понимает, насколько оно драгоценно для того, к кому обращено, — Сванн долго беседовал с г-ном Вентейлем, хотя до того и слова с ним не сказал, и, прежде чем проститься, предложил ему прислать как-нибудь дочку в Тансонвиль сыграть что-нибудь. Два года назад такое приглашение возмутило бы г-на Вентейля, но теперь оно преисполнило его такой признательности, что он счел себя обязанным именно из благодарности не последовать этому приглашению. Любезность Сванна по отношению к его дочке показалась ему сама по себе такой почетной и восхитительной поддержкой, что он подумал — лучше ею не воспользоваться, а сохранить для себя, платонически, во всей ее прелести.

Когда Сванн нас покинул, г-н Вентейль сказал: “Какой изумительный человек! — с восторженным обожанием, точь-в-точь как умные и хорошенькие буржуазные дамы, которые почитают герцогиню и восхищаются ею, пускай она глупа и безобразна. — Изумительный! Какая жалость, что он таким неподобающим образом женился!”

И тогда, поскольку даже самые искренние люди не чужды лицемерия и, говоря с кем-нибудь, отстраняются от своего мнения о нем, которое высказали бы у него за спиной, мои родители вместе с г-ном Вентейлем стали сокрушаться о браке г-на Сванна, и все это ради соблюдения принципов и приличий (проявлявшихся уже хотя бы в том, что они сообщая зывали к этим принципам и приличиям как добропорядочные люди сходных взглядов), да притом еще делая вид, будто в Монжувене все их придерживаются. Г-н Вентейль не прислал дочку к Сванну. И больше всех об этом жалел Сванн. Потому что каждый раз, расставаясь с г-ном Вентейлем, он вспоминал, что давно уже хочет у него спросить об одном человеке, его однофамильце и, как он полагает, родственнике. И теперь он твердо решил, что не забудет и спросит у г-на Вентейля, когда тот пришлет дочку в Тансонвиль.

Из двух наших прогулок по окрестностям Комбре прогулка в сторону Мезеглиза была более короткой, и ее приберегали на случай ненадежной погоды, поэтому получалось, что климат в Мезеглизе довольно дождливый, и мы никогда не теряли из виду опушку руссенвильского леса, в чаще которого можно было укрыться.

Часто солнце пряталось за тучу, ее овал расплывался, края желтели. Было по-прежнему ясно, но сияние исчезало, и жизнь в полях, казалось, замирала, а деревушка Руссенвиль с удручающей четкостью и завершенностью врезала в небо рельеф белых гребней своих кровель. Ветерок вздымал ввысь ворона, и он падал вниз уже где-нибудь далеко; и на фоне побелевшего неба лесные дали казались еще более синими, словно нарисованными на гризайли, украшающей зеркала над камином в старинных домах.

А иногда заряжал дождик, которым угрожал нам капуцин, выставленный в витрине магазина оптики[144]; капли воды, как перелетные птицы, взлетающие всей стайей, тесными рядами падали с неба. Дождевые капли не бросаются враспылку, не снуют во время дальнего перелета туда-сюда, а наоборот, каждая держится своего места, тянет следом соседку, и небо в такие минуты темней, чем когда улетает стая ласточек. Мы прятались в лесу. Потом путешествие капель уже вроде бы заканчивалось, но все еще продолжали прибывать новые

стнаницы, самые хилые и медлительные. Тут мы выходили из кувриля, где они еще продолжали нежиться в листве; земля уже почти успевала высохнуть, разве что какая-нибудь капля замешкается, поиграет на прожилках листа, повиснет на самом кончике, сверкая на солнце, и вдруг как соскользнет с ветки и с размаху шлепнется вам на нос.

Часто мы вперемешку с каменными святыми и патриархами прятались под сводами св. Андрея-в-полях. До чего французская была эта церковь! Над дверьми виднелись святые, короли-рыцари с лилией в руке, сцены свадеб и похорон — они были изображены так, как, должно быть, представлялись Франсуазе. Кроме того, скульптор воспроизвел несколько анекдотов из жизни Аристотеля и Вергилия [145], — вот так же Франсуаза на кухне любила поговорить о Людовике Святом, словно о хорошем знакомом, и норовила сравнением с ним посрамить дедушку с бабушкой, не таких “справедливых”. Ясно было, что понятия средневекового скульптора и средневековой крестьянки (уцелевшей в неизменности до XIX века), их представления о древней и христианской истории, у обоих одинаково смутные и бесхитростные, пришли к ним не из книг, а прямымиком из старинного, никогда не прерывавшегося, искаженного, неузнаваемого и живого устного предания. А кроме того, в готических статуях св. Андрея-в-полях мне виделось пророческое изображение другого комбрийского жителя, юного Теодора. Франсуаза бесспорно признавала связавшую их общность корней и времен: когда тетя Леони чувствовала себя так плохо, что Франсуазе одной было не повернуть ее в постели, не перенести в кресло, она не допускала судомойку подняться и “выслужиться” перед тетей, а звала Теодора. И вот, в этом пареньке, который слыл, и не без оснований, шалопаем, жила та же душа, что в скульптурных украшениях св. Андрея-в-полях, душа, преисполненная того самого благоговения, которое, с точки зрения Франсуазы, полагалось питать к “бедным больным” и к “ее бедной хозяйке”: потому-то, истово и простодушно приподнимая тетину голову на подушке, он был точь-в-точь похож на ангелочков с нижнего барельефа, что толпились со свечами в руках вокруг Богородицы на смертном одре, — словно каменные лица статуй, серые и голые, как деревья зимой, были только дремотным запасником, готовым в жизни расцвести бесконечным множеством народных лиц, праведных и плутоватых, как физиономия Теодора, раздумывавшихся, как спелые яблоки. У одной святой, не прижатой к камню, как те ангелочки, а стоявшей на цоколе, будто на табурете, — чтобы не ставить ноги на сырой пол, — были пухлые щеки, твердая грудь, круглившаяся под ее одеянием, как спелая виноградная гроздь, выпирающая из рогожи, маленький лоб, короткий задорный нос, глубоко посаженные глаза, и вся она была ни дать ни взять местная крестьянка, крепкая, невозмутимая и работающая. Это сходство, пронизывавшее статую неожиданной для меня кротостью, часто подтверждала какая-нибудь деревенская девушка, забегавшая, как мы, в церковь укрыться от дождя, и мне чудилось, что она, так же как вот эти побеги постенника рядом с каменной листвой, оказалась здесь нарочно, чтобы можно было судить о правдивости произведения искусства, сопоставляя его с живой природой. Перед нами лежал Руссенвиль, обетованная земля или зачатое царство, в стены которого я никогда не проникал, и бывало, что у нас дождь уже прошел, а Руссенвиль все еще, как библейское селение, маялся под стрелами грозы, наискось поражавшими жилища его обитателей; а бывало и так, что Бог Отец уже даровал ему прощение и ниспосылал на него то длинные, то короткие, будто лучи из дароносицы в алтаре, золотые бахромчатые стебли своего вновь проглянувшего солнца.

Иногда погода совсем портилась, надо было возвращаться и сидеть дома взаперти. Тут и там далеко в полях, похожих на море из-за сумрака и сырости, одинокие дома, прилепившись к склону холма, тонувшего во тьме и в потоках воды, сверкали, как будто это кораблики, свернув паруса, застыли в открытом море на всю ночь. Но что за беда, дождь, гроза! Ненастье летом — это просто прихоть, мимолетное настроение хорошей погоды, основной и неизменной, совершенно непохожей на хорошую погоду зимой — неустойчивую и зыбкую; летняя, наоборот, воцарялась на земле, укреплялась густыми кронами, по которым дождь может стекать, не разрушая их упрямой веселости, и на несколько месяцев развешивала прямо на деревенских улицах, на стенах домов и садовых оградах свои шелковистые фиолетовые и белые флаги. Я сидел в малой гостиной, читал и ждал ужина, и слышно было, как вода стекает с наших каштанов, но я знал, что ливень только лакирует их листья и что они никуда не денутся и как неперменные знаки лета всю дождливую ночь останутся на месте порукой ненарушимой хорошей погоды; и пускай себе льет дождь — завтра над белой оградой Тансонвиля будет колыхаться такое же множество маленьких листьев в форме сердечек; и я без печали смотрел, как тополь на улице Першан отчаянно молит о чем-то грозу и бьет ей поклоны; и я без печали слушал, как в глубине сада, в сирени, воркуют последние отголоски грома.

Если погода была ненастная с самого утра, родители отказывались от прогулки и я сидел дома. Но позже я взял за правило в такие дни ходить сам в сторону Мезеглиз-ла-Винез; это было в ту осень, когда нам пришлось приехать в Комбре по поводу наследства тети Леони, потому что она наконец умерла, отчего возликовали и те, кто говорил, что в могилу ее сведет нездоровый образ жизни, и те, кто всегда утверждал, что болезнь ее органическая, а вовсе не мнимая; теперь, после ее кончины, скептикам ничего не оставалось, как склониться перед этой очевидностью, и никто особенно не огорчился ее смертью, кроме одного — единственного существа, люто горевавшего. За те две недели, что длилась последняя тетина болезнь, Франсуаза не отходила от нее ни на миг, не раздевалась, никому не позволяла за ней ухаживать и не отошла от ее тела, пока ее не похоронили. Тогда мы поняли: страх, в котором жила Франсуаза, страх перед тетиними грубостями, подозрениями, гневом выработал у нее чувство, которое мы принимали за ненависть, а на самом деле это была благоговейная любовь. Ее истинная хозяйка, чьи решения невозможно было предусмотреть, а хитрости расстроить, с сердцем таким добрым и таким ранимым, ее повелительница, ее таинственная и всесильная государыня ушла навсегда. Мы все по сравнению с ней мало что значили. Давно прошло то время, когда мы начали приезжать на каникулы в Комбре и в глазах Франсуазы были наделены таким же авторитетом, как тетя. Той осенью, целиком поглощенные формальностями, которые надо было уладить, беседами с нотариусами и арендаторами, родители почти не имели времени выйти из дому, да и погода тому не благоприятствовала, поэтому на прогулки в сторону Мезеглиза они стали отпускать меня одного, закутанного от дождя в огромный плед, который я охотно накидывал на плечи, тем более что его шотландская клетка приводила в негодование Франсуазу, у которой в голове не укладывалось, что расцветка моего одеяния не имеет ничего общего с трауром, да ей и вообще не слишком-то нравилось, как мы горюем по тете, потому что мы не устроили пышных поминок и говорили о ней тем же голосом, что всегда, а я иногда даже напевал. Я уверен, что в книге — тут я сам ничуть не отличался от Франсуазы — траур в духе “Песни о Роланде” или портала св. Андрея-в-полях вызвал бы у меня симпатию. Но как только Франсуаза оказывалась неподалеку, какой-то бес науськивал меня ее раздражать; под малейшим предлогом я сообщал ей, что жалею о тете потому, что она была, несмотря на чудачества, добрая женщина, а мог бы ее и ненавидеть, хоть она и моя тетя, и ничуть не огорчаться ее смертью, — в книге такие речи мне самому показались бы совершенно неуместными.

Франсуазу обуревали, словно поэта, смутные мысли о горе, о семейных воспоминаниях; не умея возразить на мои теории, она оправдывалась: “Уж и не знаю, как сказать-то”, и я выслушивал это признание с насмешливым и безжалостным ликованием, достойным доктора Перспье; а если она добавляла: “Все ж таки она вам сродственница, надо же уважать сродственников”, — я пожимал плечами и говорил себе: “Ну и я хорош спорю с неграмотной теткой, она и говорить-то правильно не умеет”, — то есть я судил Франсуазу, принимая

самую пошлую и расхожую точку зрения, которая многие люди, когда рассуждают беспристрастно, решительно презирают, но иногда в банальных жизненных ситуациях сами ведут себя ровно таким образом.

Прогулки мои той осенью были тем приятнее, что гулять я уходил после долгих часов, проведенных над книгой[146]. Когда я уставал, просидев все утро в гостиной за чтением, я накидывал на плечи плед и уходил: тело мое, вынужденное долго оставаться в неподвижности, но накопившее тем временем запас энергии и скорости, испытывало затем потребность, как запущенный волчок, тратить их направо и налево. Стены домов, тансонвильская изгородь, деревья в руссенвильском лесу, кусты, к которым притулился Монжувен, принимали удары зонта или трости, слушали радостные выкрики, причем и то и другое на самом деле просто передавало мои смутные мысли, которые меня воодушевляли и которым не удавалось пробиться к свету и обрести покой, потому что вместо медленного и трудного пути размышления они избирали более легкий выход и мгновенно выплескивались наружу. Когда мы пытаемся выразить свои чувства, то на деле нам обычно удается лишь избавиться от них, дав им выход в каких-то неясных формах, что не помогает нам их понять. Когда я пытаюсь подвести итог всему, чем я обязан стороне Мезеглиза, тем скромным открытиям, для которых она служила мимолетным обрамлением или незаменимой вдохновительницей, я вспоминаю, что именно той осенью, во время одной из тех прогулок, возле заросшего кустарником склона, защищающего Монжувен, я был впервые потрясен несоответствием между нашими впечатлениями и их обычным выражением. После дождя и ветра, с которыми я весело сражался целый час, я вышел на берег монжувенского пруда, к маленькой хижине с черепичной крышей, где садовник г-на Вентейля хранил садовый инвентарь; солнце только что вновь проглянуло, и его омытые ливнем золотые блестки заново сверкали в небе, на деревьях, на стене хижины, на ее еще мокрой черепичной крыше, по коньку которой прогуливалась курица. Ветер дул, распластывал по земле сорные травы, пробившиеся у подножья стены, и ерошил перья курицы; и те и другие под его порывами развеивались во всю длину со всей небрежностью неодоушевленной легкой материи. К пруду на солнце вернулась вся его зеркальность, и черепичная крыша набрасывала на него сеть розовых прожилок — я такого никогда раньше не видел. И, глядя, как вода и поверхность стены отзываются бледной улыбкой на улыбку небес, я радостно вскрикнул, размахивая свернутым зонтиком: “Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты!” Но при этом я чувствовал, что долг мой — не отделяться невнятными выкриками, а яснее разобраться в своем восхищении.

И тут же — благодаря крестьянину, который шел мимо уже сильно не в духе, а когда чуть не получил зонтиком по голове, помрачнел еще больше и неодобрительно ответил на мое: “Славная погода, не правда ли, в такой денек и прогуляться приятно”, — я узнал, что одни и те же чувства не возникают одновременно в предустановленном порядке у всех людей. Позже, всякий раз, когда после долгого чтения на меня нападала охота поболтать, оказывалось, что приятель, к которому мне не терпелось пристать с разговорами, только что вдоволь наслаждался беседой с кем-нибудь другим и теперь мечтает, чтобы его оставили в покое. Если случилось мне думать о родителях с нежностью и принимать самые благоразумные решения, которые бы их порадовали, то родители в это самое время ухитрились узнать о каком-нибудь моем мелком грешке, о котором сам я забыл, и строго меня отчитывали в тот самый миг, когда я набрасывался на них с поцелуями.

Иногда к тому воодушевлению, в которое я приходил, когда был один, добавлялось еще одно чувство, которое я не мог отделить от первого: оно возникало из желания, чтобы передо мной очутилась крестьянская девушка и чтобы ее можно было обнять. И среди прочих самых разных мыслей именно эта вдруг доставляла мне особенную радость, причем я даже не успевал точно понять ее причину, она мне казалось просто доведенным до предела удовольствием от остальных моих размышлений. Я и это удовольствие тоже приписывал всему, что мелькало в это время в моем сознании, — розовому отражению черепичной крыши, сорнякам, деревне Руссенвиль, в которую давно уже хотел сходить, деревьям в ее лесу, колокольне ее церкви, этому новому смятению, которое только потому и делало их все для меня более желанными, что мне казалось, будто источник смятения — в них, а само это беспокойство только стремится поскорее принести меня к ним, надувая мой парус неведомым мне могучим попутным ветром. Но если мечта о женщине добавляла для меня к чарам природы нечто более захватывающее, чары природы зато давали простор, которого недоставало женским чарам. Мне казалось, что красота деревьев — это еще и женская красота, казалось, что женский поцелуй раскроет мне душу этих просторов, и деревни Руссенвиль, и книг, прочитанных в этом году; воображение мое набиралось сил от соприкосновения с чувственностью, а чувственность распространялась по всем уголкам воображения, и желанию моему уже не было пределов. А кроме того — как бывает, когда размечтаешься на лоне природы, когда привычки теряют силу, а наши абстрактные понятия о вещах отступают в сторону и мы глубочайшей верой верим в оригинальность, в неповторимую жизнь того уголка земли, где оказались, — кроме того, проходящая, к которой взывало мое желание, виделась мне не просто случайной представительницей огромного множества женщин, а несомненным и естественным порождением этой самой земли. Потому что в те времена земля и живые существа — все, что было не я, — казались мне драгоценнее, важнее, реальнее, чем это представляется зрелому человеку. И я не отделял землю от живых существ. Меня тянуло к крестьянке из Мезеглиза или Руссенвиля, к рыбачке из Бальбека, как тянуло в Мезеглиз или Бальбек. Наслаждение, которое они могли мне подарить, показалось бы мне менее настоящим, я бы в него не поверил, если бы я по своему произволу изменил условия встречи. Познакомиться в Париже с рыбачкой из Бальбека или крестьянкой из Мезеглиза было бы все равно что получить ракушки, которых я не видел на пляже, папоротник, которого я не нашел в лесу, это было бы все равно что убавить от наслаждения, подаренного женщиной, все другие радости, которыми окутало его мое воображение. Но блуждать вот так по руссенвильскому лесу без единой крестьянки, которую можно было бы обнять, — значило не понимать тайных сокровищ этих лесов, их глубинной красоты. Девушка, которую я не видел иначе как в вихре листвы, — она сама была для меня как местное растение, только более сложного вида, чем остальные, и ее строение позволяло до конца распробовать глубинный вкус этих краев. Мне нетрудно было поверить в это (и в то, что ласки, которыми она могла меня к этому привести, были бы тоже особого рода, и насладиться ими я не мог бы ни с кем, кроме нее), поскольку мне еще долго предстояло пребывать в том возрасте, когда не умеешь мысленно отделить само наслаждение от разных женщин, с которыми его испытал, когда еще не сводишь его к общему понятию, которое после заставит видеть в них лишь взаимозаменяемые источники удовольствия, от которых ничего не зависит. Оно еще не существовало в моем сознании отдельно, само по себе, не было целью, ради которой бросаешься навстречу женщине, не было причиной смятения, которое испытываешь с ней рядом. Да мы не очень-то и думаем о том наслаждении, которое нам предстоит; нам кажется, что нас просто манят ее чары, потому что мы думаем не о себе, а только о том, чтобы выйти за пределы самих себя. Но, смутно ожидаемое, тайное и неотступное, в миг своего осуществления это блаженство доводит до такого накала все прочие удовольствия — скажем, от нежных взглядов или от поцелуев подруги, — что кажется нам чем-то вроде порыва благодарности за ее сердечную доброту и за то, что она так трогательно оказала нам предпочтение, которое мы измеряем теми благодеяниями, тем счастьем, что на нас снизошло.

Увы, напрасно я умолял руссенвильскую замковую башню, чтобы она выслала мне навстречу какое-нибудь дитя из ее деревни; напрасно

я просил ее, единственную наперсницу первых моих времен, когда наверху нашего комбрейского дома, в комнате, пахнувшей ирисом, где ничего, кроме этой башни, не видно было в раме приоткрытого окна, выходявшего прямо на нее, я, с героическими колебаниями путешественника, пускающегося в экспедицию, или отчаявшегося самоубийцы, изнемогая, прокладывая внутри самого себя неведомую и, казалось, гибельную дорогу, пока на листьях дикой черной смородины, протянутых ко мне, не возникнет естественный след, как будто по ним проползла улитка. Напрасно я молил теперь далекую башню. Напрасно, держа пространство в поле зрения, я впивался в него взглядами, которые желали воссоздать в нем женщину. Я мог идти хоть до паперти св. Андрея-в-полях; никогда мне не попадалась крестьянка, а ведь если бы я шел с дедушкой и не мог остановиться с ней поговорить, я бы непременно ее встретил. Я бесконечно вглядывался в ствол дальнего дерева, из-за которого она вот-вот появится и пойдет ко мне; созерцаемый горизонт оставался пустынным, темно, внимание мое было безнадежно приковано к этой бесплодной почве, к этой истощенной земле, словно желая вобрать в себя те существа, которые в ней таились; и вот, не в силах смириться с тем, что вернусь домой, так и не сжав в объятиях такой желанной женщины, я признавался себе, что остается все меньше и меньше надежды повстречать ее на пути, и понимал наконец, что пора повернуть назад, в Комбре; теперь уже не от веселья, а от ярости я колотил по деревьям в руссенвильском лесу, из-за которых появлялось не больше живых созданий, чем из-за деревьев, намалеванных на холсте панорамы. А впрочем, если бы и повстречал — разве я посмел бы с ней заговорить? Мне казалось, что она бы приняла меня за сумасшедшего; я уже не верил, что другие могут разделить со мной неосуществленные желания, которые я вынашивал во время этих прогулок, — не верил, что эти желания могут возникнуть не у меня одного. Теперь они уже казались мне чисто субъективными прожегками моего темперамента, бессильными и призрачными. У них уже не было никакой связи с природой, с действительностью, которая отныне теряла все очарование, весь смысл и оставалась просто условным обрамлением моей жизни, как обрамлен романый вымысел тем вагоном, на скамье которого читает пассажир, убивая время.

Близ Монжувена я пережил спустя несколько лет еще одно впечатление, оставшееся тогда невнятным, но из этого впечатления, возможно, родилось у меня спустя годы понятие о садизме. Позже будет видно, что, по совершенно другим причинам, памяти об этом впечатлении было суждено сыграть важную роль в моей жизни. Погода стояла очень теплая; родители отлучились на целый день и сказали, что я могу гулять, сколько захочу; я пошел к монжувенскому пруду, где мне нравилось смотреть на отражение черепичной крыши в воде, растянулся там в тени и уснул в кустах на склоне, спускавшемся к дому, там, где когда-то ждал отца, пока он был в гостях у г-на Вентейля. Когда я проснулся, было уже почти темно, я хотел встать, но увидел мадмуазель Вентейль (насколько я мог ее узнать — я не так часто видел ее в Комбре, да и видел-то давно, когда она была еще ребенком, только превращавшимся в девушку): она, вероятно, только что вошла в ту комнату, где ее отец когда-то принимал моего и где у нее теперь была маленькая гостиная; она оказалась прямо передо мной, в нескольких сантиметрах от меня. Окно было приоткрыто, лампа зажжена, я видел каждое ее движение, а она меня не видела, но если бы я двинулся с места, кусты бы затрещали, она бы услышала и подумала, что я нарочно спрятался и подглядываю.

Она была в глубоком трауре, потому что незадолго до того умер ее отец. Мы не нанесли ей визита, мама не захотела, в силу единственной добродетели, которая в ней умеряла доброту, — стыдливости; но она очень жалела мадмуазель Вентейль. Мама вспоминала печальный конец жизни г-на Вентейля, поглощенного с головой сперва заботами о дочке, которую он пестовал, как мать или нянька, а потом страданиями, которые дочь ему причиняла; перед глазами у нее стояло измученное лицо старика, какое было у него все последнее время; она знала, что он навсегда отказался от мысли переписать на белом свои произведения последних лет, жалкие пьески старого учителя фортепьяно, бывшего деревенского органиста, которые, как нам казалось, сами по себе не имели, конечно, никакой ценности, но мы их не презирали, потому что для него-то они имели огромную ценность и были смыслом его жизни, пока он не посвятил эту жизнь дочери; так что его пьескам, большей частью даже не записанным, хранившимся только в его памяти, а то нацарапанным на отдельных листах, неразборчивым, суждено было остаться неизвестными; думала мама и о другой жертве, еще более мучительной, на которую был обречен г-н Вентейль, — о том, как ему пришлось пожертвовать надеждой на честную, уважаемую и счастливую жизнь дочери; когда ей предстало все это безысходное отчаяние бывшего фортепьянного учителя бабушкиных сестер, она испытывала настоящее горе и с ужасом думала о том, насколько мучительнее должно быть горе мадмуазель Вентейль, смешанное с раскаянием, — ведь она, в общем-то, и свела отца в могилу. “Бедный господин Вентейль, — говорила мама, — он жил и умер ради дочери, и никакой награды! Разве что за гробом ему воздастся, но как? Ведь, кроме как от дочери, ему и не нужно было никакой награды”.

В глубине гостиной мадмуазель Вентейль, на камине, стоял маленький портрет ее отца; она быстро подошла к нему, и в этот миг раздался стук экипажа, подъехавшего по дороге; она кинулась к кушетке, села, подтащила к себе маленький столик и поставила на него портрет; так когда-то г-н Вентейль перенес поближе ноты той музыки, которую хотел сыграть своим родителям. Скоро вошла ее подруга. Мадмуазель Вентейль не встала ей навстречу, закинула обе руки за голову и отодвинулась к другому краю кушетки, словно освобождая для подруги место. Но вскоре она почувствовала, что будто бы навязывает подруге место, которое той, может быть, и некстати. Она подумала, что, возможно, подруге захочется сесть подальше от нее, на стул, ей показалось, что ее поведение нескромно, ее деликатное сердце всполошилось; она вновь заняла всю кушетку, закрыла глаза и принялась зевать, показывая, что прилегла только потому, что ей хочется спать. Несмотря на грубоватую и властную фамильярность в ее обращении с подругой, я узнавал те заискивающие и скованные движения и ту же порывистую совестливость, что и у ее отца. Вскоре она встала и сделала вид, что хочет закрыть ставни, но у нее не получается.

— Оставь, не закрывай, жарко, — сказала подруга.

— Ну прямо мучение, нас же увидят, — возразила мадмуазель Вентейль.

Но она, вероятно, догадалась, что подруга подумает, будто она произнесла эти слова только для того, чтобы в ответ услышать что-то другое, то, что она в самом деле жаждала услышать, но из скромности хотела, чтобы подруга сделала первый шаг и сказала это сама. Мне не видно было ее глаз, но, наверное, она смотрела с тем самым выражением, которое так нравилось моей бабушке, когда поспешно добавила:

— Когда я говорю “увидят”, я имею в виду “увидят, как мы читаем”, это же мучение — думать, что за тобой следят чужие глаза, пускай даже ты ничего особенного не делаешь.

Инстинктивное великодушие и невольная предупредительность заставляли ее удержаться от заранее заготовленных слов, хоть ей

казалось, что без них то, чего ей хотелось, не исполнимо. И робкая умоляющая девственница в глубине ее души все время оттесняла неотесанного нахального солдафона и заклинала его уняться.

— Да, очень даже может быть, что вот сейчас, в этой многолюдной глуши, на нас кто-нибудь смотрит, — иронически заметила подруга. — А хоть бы и так, — добавила она (считая своим долгом лукаво и нежно подмигнуть в подкрепление реплики, которую выпалила единым духом, зная, что это понравится мадмуазель Вентейль, и по доброте своей стараясь, чтобы ее слова прозвучали как можно циничнее), — пускай видят, еще и лучше.

Мадмуазель Вентейль вздрогнула и встала. Ее сердце, совестливое и ранимое, не умело без подготовки подсказать ей слова, совместимые с тем, чего требовала ее чувственность. Она как можно дальше отталкивалась от своей истинной душевной природы в поисках языка, естественного для порочной девицы, какой она желала быть, но слова, которые, по ее представлениям, произнесла бы от души такая девица, в ее устах казались ей фальшивыми. И то небольшое, что она себе позволяла, звучало нарочито, потому что ее привычная застенчивость парализовала робкие попытки дерзости и сбивалась на “Может, тебе холодно, может, тебе жарко, может, тебе хочется побыть одной и почитать?”.

— Кое-кто, по-моему, настроен сегодня весьма похотливо, — сказала она в конце концов, вероятно повторяя фразу, слышанную раньше от подруги.

Тут мадмуазель Вентейль почувствовала, что подруга целует ее в вырез шелковой блузки, негромко вскрикнула, вырвалась, и они принялись вприпрыжку гоняться друг за другом, взмахивая широкими рукавами, словно крыльями, и ворковать, и чирикать, как влюбленные птицы. В конце концов мадмуазель Вентейль упала на кушетку, и подруга накрыла ее всем телом. При этом она оказалась спиной к столику, на котором стоял портрет бывшего учителя музыки. Мадмуазель Вентейль поняла, что подруга его не увидит, если не привлечь ее внимания, и сказала, словно только что заметила:

— Ой! Портрет отца все видит, не знаю, кто его сюда поставил, я двадцать раз говорила, что здесь ему не место.

Я вспомнил, что этими самыми словами г-н Вентейль говорил моему отцу про свои ноты. Вероятно, портрет постоянно служил для ритуального кощунства, потому что подруга отозвалась фразой, явно входившей в их литургический канон:

— Оставь, не трогай, он уже не станет к нам приставать. Ты же не боишься, что эта мерзкая обезьяна опять начнет хныкать и надевать на тебя пальто, если увидит тебя здесь перед открытым окном?

Мадмуазель Вентейль с мягким упреком отвечала: “Ну ладно, ладно”, и в этом ответе выразилась ее природная доброта — не потому, что было заметно, насколько ее возмущает, когда подобным образом говорят об ее отце (это чувство она явно привыкла — кто знает, с помощью каких софизмов? — заглушать в себе в такие минуты), но потому, что, не желая показаться эгоисткой, она словно по доброй воле ограничивала то удовольствие, которое подруга старалась ей доставить. И потом, быть может, ей самой, такой откровенной и доброй, чудилась в этой улыбочивой сдержанности в ответ на богохульства, в этом лицемерном и нежном упреке та особенно подлая в своей слащавости испорченность, которую она стремилась на себя напустить. Но ей было не устоять перед этим соблазном — нежностью подруги, столь беспощадной к беззащитному покойнику; она вспрыгнула на колени к подруге и целомудренно подставила ей лоб для поцелуя, словно дочь — матери, в упоении от этого взлета к самым вершинам жестокости, который они совершали, похищая у г-на Вентейля, лежащего в могиле, даже его отцовство. Подруга обхватила ее голову руками и послушно поцеловала в лоб, причем это послушание давалось ей легко, потому что она очень любила мадмуазель Вентейль и желала как-то скрасить такую печальную теперь жизнь сироты.

— Знаешь, что я хочу сделать этому старому уроду? — сказала она, беря портрет.

И она шепнула что-то, я не слышал что, на ухо мадмуазель Вентейль.

— Нет, не посмеешь.

— Плюнуть не посмею? Вот на это? — нарочито грубо сказала подруга.

Дальше я ничего не слышал, потому что мадмуазель Вентейль как-то устало, неловко, деловито, бесхитростно и печально подошла и затворила ставни, но теперь я знал, какую награду после смерти получил от дочери г-н Вентейль за все, что вытерпел от нее при жизни.

И все-таки позже мне пришло в голову, что, если бы г-н Вентейль мог наблюдать эту сцену, он бы все равно не перестал верить в доброту дочери, и, вероятно, не был бы так уж неправ. Конечно, на первый взгляд мадмуазель Вентейль была исчадием зла — такие замашки можно было, кажется, встретить разве что у садистки; скорее при свете лампы в бульварном театре, чем при обычной лампе в настоящем загородном доме увидишь, как девушка заставляет подругу плевать на портрет отца, который только ради нее и жил; но ведь и в жизни эстетика мелодрамы строится на садизме. На самом деле, память и волю покойного отца могла бы так же безжалостно оскорбить и другая девушка, причем без всякого садизма, но эти оскорбления не свелись бы у нее к такому недвусмысленному символическому акту, столь примитивному и простодушному; преступность ее поведения была бы незаметна для окружающих, да и для нее самой: она бы творила зло, не признаваясь себе в этом. Но, вопреки очевидности, зло в сердце у мадмуазель Вентейль, хотя бы поначалу, не было беспримесным. У такой садистки, как она, зло доходит до артистизма — вещь невозможная в глубоко порочной натуре, у которой зло засело глубоко внутри и кажется ей вполне естественным: она его даже не замечает; кощунство над добродетелью, над памятью мертвых, над дочерней нежностью не доставило бы такой девушке святотатственного наслаждения, поскольку она не возводила бы все это в культ. Садисты типа мадмуазель Вентейль так бесспорно сентиментальны, так от природы добродетельны, что малейшее чувственное наслаждение представляется им чем-то дурным, привилегией негодяев. И ради того чтобы хоть на миг разрешить себе этот грех, они пытаются влезть в шкуру негодяев сами и то же самое навязывают своему сообщнику, лишь бы на миг поверить в иллюзию, будто они ускользнули из-под надзора своей слишком совестливой и нежной души в бесчеловечный мир наслаждения. И, видя, насколько это для нее невозможно, я понимал, как ей этого хотелось. В тот самый миг, когда она желала быть совсем другой, чем отец,

все в ней напомидало мне старое учителя музыки — его склад ума и манеру говорить. Не столько над его фотографией она кощунствовала, избрав ее орудием наслаждения, сколько над собственной похожестью на отца, над синими глазами его матери, которые он передал ей как фамильную драгоценность, над своими милыми повадками, над всем тем, что стояло между ней и этим наслаждением и мешало просто осуществить то, к чему ее влекло, над речью и образом мыслей, которые отгораживали мадмуазель Вентейль от ее порока, потому что совершенно с ним не гармонировали и мешали ей разглядеть всю огромную разницу между ним и тем множеством правил хорошего воспитания, которым она обычно подчинялась. Не то чтобы зло как таковое обещало ей наслаждение или привлекало к себе; нет — ей казалось, что само наслаждение несет в себе зло. Наслаждение всегда сопровождалось у нее дурными мыслями, которые в другое время не касались ее чистой души, и в конце концов она стала думать, что в любом удовольствии есть что-то бесовское, стала приравнивать его к Злу. Может быть, мадмуазель Вентейль и чувствовала, что в душе ее подруга не совсем испорчена и не вполне искренне произносит все свои богохульства. Но, целуя это лицо, она была рада целовать улыбку и взгляд, проникнутые низостью и пороком; эти улыбки и взгляды, пускай притворные, воспроизводили порочные и низкие черты, присущие совсем не тем душам, что полны доброты и страдания, а тем, что выбрали жестокость и наслаждение. Это позволяло ей на минуту вообразить, что она всерьез играет в те самые игры, в которые играла бы с такой же бесчеловечной сообщницей другая девушка, в самом деле питавшая эти варварские чувства к памяти отца. Она бы, может, не думала, что зло — такое редкостное, небывалое, нездешнее состояние, куда так тянет сбежать, если бы она заметила, что и в ней самой, и в других людях живет безразличие к страданиям, которые мы сами причиняем, — ведь как его ни называй, а именно оно является самым страшным и обычным проявлением жестокости.

Ходить в сторону Мезеглиза было довольно просто, иное дело — в сторону Германта, потому что это была долгая прогулка и хотелось знать наверняка, какая погода нас ждет. Когда казалось, что установились ясные дни; когда Франсуаза, в отчаянии оттого, что ни капли дождя не проливается на “бедный урожай” и только редкие белые облачка плавают по спокойной и синей поверхности неба, стонала: “Ну прямо акулы разыгрались, ишь головы задирают! Нет бы дождик устроить для бедных земледельцев! А потом, когда хлеба пойдут в рост, вот тут дождь припустит, кап да кап, без передышки, и какая ему разница, на что капать, пускай хоть в море”; когда отец неизменно начинал получать благоприятные ответы от садовника и от барометра — вот тогда за обедом говорилось: “Завтра, если погода будет хорошая, пойдем в сторону Германта”. Выходили сразу после завтрака через садовую калитку и попадали на улицу Першан, узкую, поворачивавшую под острым углом, заросшую колосками травы, в которых день-деньской занимались ботаникой несколько пчел, такую же странную, как ее название, от которого словно першило в горле и от него-то, как мне казалось, происходили ее удивительные особенности и колючая самобытность, — на улицу, которую напрасно было бы искать в сегодняшнем Комбре, где на ее месте возвышается школа. Но мои мечты (подобно архитекторам, ученикам Виолле-ле-Дюка[147], которые, считая, что под амвоном эпохи Возрождения и под алтарем семнадцатого века отыскивали следы романских хоров, возвращают всему зданию тот вид, в котором оно должно было быть в двенадцатом веке) не оставляют камня на камне от позднейшей постройки, заново прокладывают и “воссоздают” улицу Першан. Впрочем, для ее восстановления имеются данные поточнее тех, какими обычно располагают реставраторы: несколько картин, сохранившихся в моей памяти, последних, наверное, уцелевших и обреченных на скорое уничтожение картин Комбре времен моего детства, трогательных, поскольку сам Комбре запечатлел их во мне перед тем, как исчезнуть, и в трогательности своей похожих — если можно сравнить этот неведомый портрет с теми прославленными изображениями, репродукции с которых любила мне дарить бабушка, — на те старинные гравюры “Тайной вечери”[148] или то полотно Джентиле Беллини[149], на которых шедевр Леонардо да Винчи или портал св. Марка показаны такими, какими их уже не увидишь.

Проходили по Птичьей улице, мимо старой гостиницы “Пронзенная птица”, в просторный двор которой вкатывали порой в семнадцатом веке кареты герцогинь Монпансье, Германтской и Монморанси, когда им доводилось приезжать в Комбре судиться с арендаторами или принимать от вассалов присягу в верности. Входили в аллею, где между деревьями виднелась колокольня св. Илария. И мне хотелось присесть там и на весь день погрузиться в чтение, слушая колокола: настолько там было хорошо и спокойно, что, когда раздавался звон, казалось, будто он не нарушает дневной безмятежности, а освобождает день от всего, чем он был заполнен, и что колокольня с беспечной и добросовестной точностью человека, которому нечем больше заняться, лишь знает себе отжимает эту полноту безмолвия, как только в ней от жары неспешно и самым естественным образом соберется еще несколько золотых капель, — отжимает, чтобы потом претворить их в звуки и уронить.

Но пленительней всего в стороне Германта было то, что почти все время рядом с нами вилась Вивонна. Первый раз через нее перебирались минут десять спустя после выхода из дому, по мосточку, называвшемуся Старый мост. На другой день после нашего приезда, в пасхальное утро после проповеди, если погода была хорошая, я, пока длилась предпраздничная утренняя неразбериха, в которой из-за соседства с готовящимися роскошествами не убранная еще домашняя утварь казалась и вовсе неприглядной, бежал туда, чтобы поглядеть на реку, которая уже разгулиwała в небесно-голубом наряде, среди черных и голых еще земель, в обществе разве только стайки кукушек, прилетевших раньше срока, да распутившихся до времени примул; и фиалки с голубыми рыльцами тут и там гнули свои стебельки под тяжестью капли аромата, накопившегося в чашечках. Со Старого моста выходили на тропу-бечевник[150], летом занавешенную в этом месте синим лиственным ковром орешника, под которым пустил корни рыболлов в соломенной шляпе. В Комбре, где я умел распознать кузнеца под облачением церковного привратника, а рассыльного из бакалейной лавки — в стихаре мальчика из церковного хора, этот рыболлов — единственный, чья личность так и осталась для меня неясной. Вероятно, он знал моих родителей, потому что приподнимал шляпу, когда мы шли мимо; мне хотелось каждый раз спросить, как его зовут, но мне знаком приказывали молчать и не распугивать рыбу. Мы шагали вперед по бечевнику, который тянулся по высокому берегу в нескольких футах над водой; противоположный берег был низкий, он раскинулся широкими лугами до самой деревни и до вокзала, который стоял от нее в стороне. По лугам были рассеяны поросшие травой останки замка, в прежние времена принадлежавшего графам Комбрейским; в Средние века течение Вивонны защищало его с этой стороны от набегов владетельных особ дома Германтов и мартенвильских аббатов. Теперь только тут и там останки башен, едва заметные, выступали над полем, отдельные зубцы, откуда в давние времена арбалетчики метали камни, откуда часовой озирали вассальные земли Германтов, между которыми вклинился Комбре: Новпон, Клерфонтен, Мартенвиль-ле-Сек, Байо-Лекзан, — все эти обломки давно сравнялись с травой и покорились набегам детей из монастырской школы, приходивших сюда учиться уроки или играть на переменах, но меня все это прошлое, почти ушедшее в землю, лежащее на берегу у самой воды, точно путник, прикорнувший в холодке, повергал в раздумья, и в названии Комбре ушедшее к сегодняшнему маленькому городку мысленно добавлять совершенно другой город, притягивавший меня своим непостижимым, из других времен, лицом, наполовину спрятанным под порослью лютиков. Их было ужасно много в этом месте, которое они облюбовали для игр на травке, — поодиночке, парами, кучками; желтые, как яичный желток, они, казалось, блестели еще ярче оттого, что ими можно было только любоваться, а попробовать на вкус было немислимо; я сосредоточивался в своем наслаждении на их золотистой поверхности, и оно, нарастая, раскрывало мне всю их

бесплозную красоту; и так с самого моего раннего детства, когда с бечевника, не умея правильно сказать по слогам их прекрасное имя, я протягивал руки к этим пришельцам из французских волшебных сказок, немало столетий назад явившимся, должно быть, из Азии, но навсегда прижившимся в деревне, довольным непритязательной обстановкой, привязанным к солнцу и к речным берегам, верным скромному пейзажу с вокзалом, однако хранящим, как некоторые наши старинные живописные полотна, в своей народной простоте восточный поэтический блеск.

Я забавлялся, глядя на прозрачные кувшины, которые опускали в Вивонну мальчишки, чтобы наловить маленьких рыбок, и эти кувшины, погруженные в реку, которая в них вливалась, одновременно “наполненные” отвердевшей на вид водой, сквозившей сквозь их выпуклые бока, и сами “наполнявшие” огромный сосуд жидкого и текучего хрустала, вызвали у меня более восхитительное и дразнящее ощущение прохлады, чем те же самые кувшины на накрытом столе, потому что они являли мне эту прохладу только в разбеге, в этой вечной аллитерации между влагой, настолько лишенной плотности, что руками не ухватить, и стеклом, настолько лишенным плавности, что небу не освежиться. Я принимал твердое решение вернуться сюда с удочками; я выпрашивал хлеб, который мы брали с собой перекусить; я кидал в Вивонну хлебные шарики, которые, казалось, коснувшись воды, перенасыщали ее: она затвердевала вокруг них яйцевидными гроздьями изголовавшихся головастиков, которых до того, наверно, держала в растворе невидимыми, однако готовыми вот-вот выпасть в кристаллы.

Вскоре течение Вивонны загромождается водорослями. Сперва это отдельные растения, какая-то кувшинка, которую так затормозило течение, поперек которого она, на свою беду, протянулась, что она, как механический паром, так и плавала от берега к берегу, бесконечно переправляясь то туда, то обратно. Ее стебель, влекомый к берегу, сгибался, разгибался, тянулся и у самого берега достигал крайней точки натяжения, а там его подхватывало течение, зеленая снасть сжималась и утаскивала бедное растение назад, так сказать, в пункт отправления, в котором оно не оставалось ни на секунду и уносилось назад в результате того же маневра. Я обнаруживал ее от прогулки к прогулке, и всегда с ней происходило одно и то же, как с многими неврастениками (мой дедушка причислял к ним тетю Леони): они являют нам без изменений год за годом зрелище несуразных привычек, сами вроде бы намерены их вот-вот отбросить и все-таки вечно за них цепляются; угодив между жерновов своих недомоганий и причуд, они совершают безнадежные усилия в надежде вырваться на свободу, но эти усилия только укрепляют и ту же закручивают пружину странной, неотвратимой и зловецей системы, которой они следуют. А еще эта кувшинка была похожа на одного из тех бедняг, чьи единственные в своем роде терзания, повторявшиеся в вечности бесчисленное множество раз, возбуждали любопытство Данте, которому хотелось бы услышать от самого истязаемого побольше о подробностях и причинах пытки, но, поскольку Вергилий большими шагами уходил прочь, приходилось скорее его догонять, совсем как мне родителей[151].

А дальше течение реки замедляется, она пересекает частные владения, которые хозяин открыл для публики; он разводил там водяные растения: Вивонна в этом месте образует маленькие запруды, в которых он устроил настоящие цветники водяных лилий — нимфей[152]. В этом месте берега были очень лесистые, поэтому густая листва деревьев набрасывала тень на воду, обычно темно-зеленую, хотя иногда, в иные ясные вечера после грозы, на обратном пути домой я видел воду голубую, пронзительную, с фиолетовым отливом, словно перегородчатая эмаль в японском стиле. То тут, то там на поверхности краснел, как земляника, цветок нимфеи с алой сердцевинкой, а по краям белый. Дальше цветов становилось больше, и были они бледнее, не такие гладкие, немного даже шероховатые, в сборочку и по прихоти случая свернутые такими красивыми завитками, что казалось — кто-то печально обрывал цветы в конце галантного праздника[153] и вот теперь течение уносит вдаль расплетающиеся гирлянды пушистых роз. А другой уголок был отведен для обыкновенных лилий, в чистеньких белых и розовых лепестках, таких же, как у ночных фиалок, похожих на фарфор, вымытый по-домашнему, до блеска, а подальше, прижавшись друг к другу, как настоящая плавучая клумба, они напоминали садовые анютины глазки, опустившие, как мотыльки, свои голубоватые глазированные крылышки на прозрачную покатошь этого водяного цветника, причем не только водяного, но и небесного, потому что фон цветов оказывался более драгоценного, более трогательного цвета, чем сами цветы, будь то днем, когда этот фон мерцал из-под нимфей калейдоскопом внимательного, безмолвного и подвижного счастья, будь то вечером, когда он, как какая-нибудь далекая гавань, наполнялся оттенками розового и закатной задумчивостью и, обтекая венчики, краски которых оставались более или менее неизменными, сам непрестанно менялся, чтобы всегда гармонировать с тем, что есть самого глубокого, самого уклончивого, самого таинственного — и вместе с тем, самого бесконечного — в этом времени суток, так что казалось, благодаря этому фону, будто нимфеи цветут прямо в небе.

На выходе из парка течение Вивонны опять убыстрялось. Сколько раз я видел какого-нибудь гребца — и до чего мне хотелось последовать его примеру, когда вырасту и смогу жить по-своему, — который выпустил из рук весло и, запрокинув голову, лежал на спине на дне своей лодки, которая плыла себе по течению, а ему было видно только небо, медленно проплывавшее у него над головой, и на лице у него отражалось предвкушение счастья и покоя.

Мы садились среди ирисов на берегу. В праздничном небе медленно ползло досужее облако. Время от времени какой-нибудь карп, ошалев от скуки, в отчаянном порыве высовывался из воды. Наступало время полдника. Прежде чем идти дальше, мы долго ели фрукты, хлеб и шоколад, сидя на траве, где до нас по горизонтали доносились ослабевшие, но все еще густые и металлические удары колоколов св. Илария; они не смешивались с воздухом, по которому так долго плыли, и, задевая цветы, вибрировали у наших ног, ребристые от последовательного подрагивания каждой ноты в аккорде.

Иногда мы набредали на один дом на берегу, окруженный лесом, обычный загородный дом — уединенный, затерянный, чужой всему на свете, кроме подступавшей к нему реки. В раме окна маячила молодая женщина с задумчивым лицом, в элегантных развевающихся одеждах, по всему видать, не здешняя, приехавшая, как говорят в народе, “похоронить себя в глуши”, насладиться горьким сознанием того, что никому здесь не знакомо ее имя, а главное, имя человека, чье сердце она не сумела сохранить; из окна ей была видна только лодка, причаленная у входа. Она рассеянно поднимала глаза, когда слышала за деревьями с берега голоса прохожих, про которых, еще не видя их, была уверена, что они никогда не были знакомы с изменником и никогда с ним не познакомятся, что ничто ни в их прошлом, ни в будущем не отмечено следами его присутствия. Чувствовалось, что в своем самоотречении она добровольно покинула места, где могла хотя бы мельком взглянуть на любимого человека, ради мест, которые никогда его не видали. И когда она шла к себе домой по дороге, о которой знала, что он по ней не пройдет, я смотрел, как она снимает со своих смирившихся рук длинные, бессмысленно красивые перчатки[154].

Никогда во время прогулок в сторону Германта нам не удавалось дойти до истоков Вивонны, хотя я часто о них думал, но их существование было для меня настолько отвлеченным, идеальным, что я поразился, когда мне сказали, что Вивонна берет начало в нашем департаменте, на расстоянии скольких-то там километров от Комбре; поразился настолько же, как в тот день, когда узнал, что на земле есть одно такое место, где в древности открывался вход в преисподнюю. И никогда нам не удавалось добраться до цели, которой мне так хотелось достичь, — до замка Германт. Я знал, что там обитают владетельные особы, герцог и герцогиня Германтские, я знал, что это реальные люди, что они живут сейчас, но всякий раз, когда я о них думал, они представлялись мне то на шпалере, как графиня Германтская с “Коронования Есфири” в нашей церкви, то переливающимися, как Жильберт Злой на витраже, менявшийся от салатного цвета до сливового, пока я успевал окунуть пальцы в освященную воду и добраться до наших стульев, то совершенно неосязаемыми, как изображение Женевьевы Брабантской, родоначальницы семьи Германтов, которую волшебный фонарь протаскивал по занавескам в моей комнате или возносил на потолок, — словом, они были всегда облечены тайной мерovingских времен и, словно лучами заката, омыты оранжевым отсветом, исходящим из этого слога: “ант”. Но если сами они, герцог и герцогиня, несмотря ни на что, все-таки представлялись мне существами хоть и странными, но реальными, то их герцогская ипостась, наоборот, растягивалась сверх всякой меры, принимала чисто идеальные формы, чтобы вместить в себе и тех Германтов, которые герцог и герцогиня, и тех, которые солнечная “сторона Германта”, течение Вивонны, ее нимфеи, и большие деревья, и множество ясных дней. И я знал, что эти люди не просто носят титул герцога и герцогини Германтских, но что с четырнадцатого века, безуспешно попытавшись сначала победить своих старинных сеньоров, они породнились с этими сеньорами множеством браков и стали графами Комбрейскими, а значит, самыми главными гражданами Комбре, хотя они единственные не были его жителями. Они были графы Комбрейские, Комбре входило в состав их имени, в состав их личности, и, вероятно, они носили в себе эту странную и благочестивую печаль, особо присущую Комбре; они владеют городом, но не владеют в этом городе ни единым домом, пребывая, вероятно, снаружи, на улице, между небом и землей, как Жильберт Германтский, которого я, когда задираю голову, шагая к Камю за солью, мог видеть на витражах абсиды св. Илария только с черной лаковой изнанки.

Позже мне случилось несколько раз по дороге на Германт проходить мимо маленьких сырых огороженных участков, над которыми вздымались гроздьи темных цветов. Я останавливался, чувствуя, что впитываю в себя бесценное знание: мне казалось, что я узнал фрагмент той самой речной страны, которую мне так хотелось увидеть с тех пор, как я прочел ее описание у одного из самых моих любимых авторов. И когда я услышал, как доктор Перспье рассказывает о цветах и прекрасных источниках в парке вокруг замка, имение Германтов, преобразившись в моем сознании, отождествилось у меня именно с этой страной. Я мечтал, как герцогиня Германтская, повинувшись внезапной прихоти, полюбит меня и пригласит в этот парк; весь день мы будем с ней вместе ловить форель. А вечером, взяв меня за руку, она пойдет со мной вместе мимо садилов ее вассалов, и будет показывать цветы вдоль низких оград, припадающие к камню лиловыми и багряными охапками, и расскажет, как они называются. Она попросит, чтобы я поделился с ней замыслами моих стихов. И эти мечты были мне предупреждением, что, раз я намерен стать писателем, пора бы решить, что именно я собираюсь сочинить. Но как только я над этим задумывался и пытался найти сюжет, в который можно вложить бесконечное философское содержание, мой интеллект отказывался мне служить, в голове становилось пусто, и я чувствовал, что мне не хватает таланта, а может быть, ему мешает проявиться какое-нибудь мозговое заболевание. Иногда я надеялся, что отец как-нибудь все уладит. Он был такой могущественный, с ним настолько считались важные персоны, что по его ходатайству ради нас нарушали законы, которые Франсуаза научила меня считать такими же незыблемыми, как законы жизни и смерти: он мог добиться, чтобы фасад нашего дома — единственного на весь квартал — штукатурили на год позже, чем положено, мог получить у министра для г-жи де Сазра, собиравшейся с сыном на курорт, разрешение для него сдать экзамен на бакалавра двумя месяцами раньше, вместе с кандидатами на букву “А”, а не ждать, когда подойдет очередь “С”. Если бы я тяжело заболел, если бы меня взяли в плен разбойники, я бы твердо знал, что мой отец находится в таких прочных отношениях с высшей властью, располагает такими неотразимыми рекомендательными письмами к Господу Богу, что моя болезнь или пленение — это просто видимость, которая ничем мне не грозит, знал бы и спокойно дождался неизбежного часа возвращения к отрадливой действительности, часа освобождения или исцеления; может быть, эта бездарность, эта черная дыра, разверзающаяся у меня в голове, когда я ищу сюжета для будущих сочинений, все это тоже одна зыбкая иллюзия, и она исчезнет, когда отец вмешается, договорится с правительством и Провидением, чтобы я стал лучшим писателем эпохи. А иной раз, когда, видя, как я отстаю и не поспеваю за ними, родители теряли терпение, мне казалось, наоборот, будто все, что со мной происходит, — не творение отцовских рук, которое он может менять по своему усмотрению, а часть реальности, которой нет до меня никакого дела; у меня нет никакой защиты против нее, в борьбе с ней у меня нет ни одного союзника, а за самой этой реальностью ничего не стоит. Тогда мне начинало казаться, что я живу, как все, что я состарюсь, что я умру, как другие люди, и что я просто-напросто принадлежу к тем из них, у которых нет литературного дара. И вот, падая духом, я навсегда отказывался от литературы, несмотря на все одобрение Блока. Самые головокружительные похвалы были бессильны перед этим подспудным, властным ощущением пустоты в голове; так для негодя, которого перевозносят за добрые дела, все слова бессильны перед угрызениями его совести.

В один прекрасный день мама мне сказала: “Ты все толкуешь о герцогине Германтской, а ведь доктор Перспье четыре года назад ее очень удачно вылечил, и она скоро приедет на свадьбу его дочки. Вот ты ее на свадьбе и увидишь”. Кстати, больше всего я слышал о герцогине Германтской как раз от доктора Перспье; он даже показывал нам номер иллюстрированного журнала, где она была изображена в костюме, который надевала на бал-маскарад у принцессы Леонской[155].

Во время венчания церковный привратник внезапно подвинулся и я увидел сидящую в приделе белокурую даму с большим носом, голубыми пронзительными глазами, в пышном шарфике лилового шелка, гладком, новеньком и блестящем, и с прыщиком в уголке носа. В ее лице, красном, словно ей было очень жарко, я узнавал размытые и едва уловимые частички сходства с портретом, который мне показывали раньше, а главное, попробуй я выразить словами отдельные черты этого лица, их пришлось бы запечатлеть в тех самых выражениях — большой нос, голубые глаза, — какими пользовался доктор Перспье, описывая при мне герцогиню Германтскую; поэтому я подумал: “Вот дама, похожая на герцогиню Германтскую”; притом она слушала службу, сидя в приделе Жильберта Злого, где под плоскими надгробьями, золочеными и расплзшимися, как медовые соты, покоились древние графы Брабантские, а я помнил, как мне говорили, что этот придел отводят Германтам, когда член их семьи приезжает в Комбре на какую-нибудь церемонию; очевидно, только одна женщина, похожая на портрет герцогини Германтской, могла сидеть в этом приделе в тот самый день, когда ожидался ее приезд: она! Я был страшно разочарован. Дело в том, что, думая о герцогине Германтской, я никогда не создавал, что воображаю ее в гобеленовых или витражных тонах, в другом веке, по-другому, чем всех прочих людей. Мне и в голову не могло прийти, что лицо у нее может быть красное, а шарфик лиловый, как у г-жи Сазра, да и овал ее лица так напомнил мне людей, которых я видел у нас дома, что у меня мелькнуло подозрение, вскоре, впрочем, рассеявшееся, что изначально, клетками своего организма, по самому своему составу,

эта дама, конечно, никакая не герцогиня Германтская: ее тело принадлежит к определенной женскому типу, к которому относятся и жены врачей, и жены коммерсантов, и не имеет отношения к имени, которым его обозначают. “И это герцогиня Германтская, только-то!” — думал я, внимательно и потрясенно разглядывая этот образ, не имевший, естественно, ничего общего с теми, которые под именем герцогини Германтской столько раз являлись мне в грезах, поскольку его-то я не слепил по своему произволу, как прочие: он попался мне на глаза в первый раз всего минуту назад, в церкви; он был иной природы, его нельзя было расцветить по моему хотению, как те, что вобрали в себя оранжевый отблеск одного слога: он был такой настоящий, что все, вплоть до прыщика, пламеневшего в уголке носа, подтверждало его подчиненность законам жизни, как в театральном апофеозе складочка на платье феи, дрожание пальчика выдают живую актрису, а мы-то сомневались, не проекция ли это световых лучей на экран.

Но в то же время к этому образу, впечатавшемуся в мое зрительное представление крупным носом и пронзительными глазами (вероятно, оттого, что нос и глаза я заметил раньше всего, зацепился за них еще до того, как успел подумать, что, возможно, женщина, на которую я смотрю, — герцогиня Германтская), к этому совсем свежему образу, который нельзя было изменить, я пытался приложить идею: “Это герцогиня Германтская”, хотя, как я ни старался, идея только маячила перед образом, словно они были изображены на двух параллельно расположенных стеклышках. И все же теперь, когда я видел, что эта герцогиня Германтская, о которой я так часто мечтал, в самом деле существует отдельно от меня, она еще больше завладела моим воображением, которое сначала на миг застыло в параличе, столкнувшись с тем, что действительность настолько отличается от его ожиданий, но вскоре воспрянуло и стало мне толковать: “Германты славились, когда Карла Великого еще на свете не было, они распоряжались жизнью и смертью вассалов; герцогиня Германтская происходит от Женевиэвы Брабантской. Она не знает и не станет знать ни с кем в этой церкви”.

И — о волшебная независимость человеческого взгляда, привязанного к лицу такой непрочной, длинной, растягивающейся нитью, что может уноситься от него как угодно далеко — пока герцогиня Германтская сидела в приделе над гробницами своих пращуров, ее взгляд бродил вокруг, взбегал вверх по колоннам, даже останавливался на мне, как солнечный луч, блуждающий внутри церкви; хотя мне-то почудилось, что меня этот луч приласкал сознательно. Однако сама герцогиня Германтская сидела неподвижно, будто мать, которая якобы не видит, как ее ребенок, играя, шалит и кривляется, пристаёт к незнакомым людям; и я понятия не имел, одобряет она или осуждает в глубине своей праздной души непоседливость собственного взгляда.

Мне только хотелось, чтобы она не ушла, пока я на нее вдоволь не насмотрюсь: ведь я помнил, как годами мне больше всего на свете хотелось ее увидеть, и теперь я не отрывал от нее глаз, словно каждый мой взгляд мог физически ухватить и спрятать внутри меня про запас воспоминание о крупном носе, красных щеках, обо всех особенностях этого лица, которые виделись мне драгоценными, подлинными и необыкновенными сведениями. Теперь, когда я заставил себя признать красоту этого лица, каждая моя мысль, связанная с ней, — а главное, быть может, инстинкт сохранения лучшего в нас самих, неистребимая жажда уберечься от разочарования — отделяла ее (поскольку это была та самая герцогиня Германтская, которую я всегда мысленно призывал) от остального человечества, с которым я смеялся в первый миг, пока смотрел только на ее телесную оболочку, и теперь я раздражался, когда вокруг меня говорили: “Она красивее госпожи Сазра, лучше мадмуазель Вентейль”, как будто их можно было сравнивать. И, задерживая взгляд на ее белокурых волосах, на голубых глазах, на изгибе шеи и отбрасывая черты, напоминавшие другие лица, я восклицал над этим намеренно незавершенным наброском: “Как она прекрасна! Какое благородство! Как сказывается гордая кровь Германтов: воистину передо мной отпрыск Женевиэвы Брабантской!” И мое внимание, высветив ее лицо, настолько отделило ее от толпы, что сегодня, когда я восстанавливаю в памяти эту церемонию, мне не удастся представить себе никого из тех, кто там был, кроме нее да привратника, кивнувшего, когда я спросил его, в самом ли деле вон та особа — герцогиня Германтская. А она так и стоит у меня перед глазами, особенно в момент, когда все потянулись к ризнице, освещенной неверным и теплым солнцем того ветреного и грозного дня и герцогиня Германтская оказалась в толпе комбрейских жителей, которых не знала даже по именам, но их приниженность так очевидно свидетельствовала о ее превосходстве, что она испытывала к ним искреннее расположение и рассчитывала, что в награду за ее благосклонность и простоту они ответят ей еще более пылким чувством. При всем том не могла же она оделять каждого из этих совершенно незнакомых людей многозначительным взглядом, исполненным сокровенного смысла, — поэтому ее взгляд рассеянно блуждал, обдавая толпу безудержным потоком голубого света: ведь она совсем не желала кого-нибудь смутить, не желала, чтобы казалась, будто она презирает людских котиков, которых окутывает этот поток, когда они попадают на его пути. Так и вижу, над шелковым и пыльным лиловым шарфиком, кроткое удивление у нее в глазах, к которому она подбавила — ни к кому в отдельности ее не обращая, а так, чтобы каждый мог получить свою долю, — застенчивую улыбку царственной особы, которая словно просит прощения у вассалов и признается им в любви. Эта улыбка скользнула и по мне (я все время не отрывал от нее глаз). Тогда, вспомнив тот взгляд, который она уронила на меня во время церковной службы, взгляд голубой, как луч солнца, пронизавший витраж с Жильбертом Злым, я сказал себе: “Наверное, она обратила на меня внимание”. Я решил, что я ей понравился, что она еще будет думать обо мне, когда уйдет из церкви, что из-за меня ей, быть может, взгрустнется вечером в замке Германт. И я тут же ее полюбил: в самом деле, порой, чтобы полюбить женщину, нам довольно одного ее презрительного взгляда (таким взглядом, почудилось мне, окинула меня мадмуазель Сванн), одного сознания, что она не будет нам принадлежать никогда — а подчас довольно одного ласкового взгляда, такого как взгляд герцогини Германтской, и надежды, что когда-нибудь она будет нам принадлежать. Ее глаза синели как барвинок: сорвать его было нельзя, но она дарила его мне; и солнце из-за напоздавшей тучи еще светило во всю мочь на площадь и ризницу, придавая живой гераниевый оттенок красным коврам, разостланным на полу для торжественности, по которым ступала, улыбаясь, герцогиня Германтская, и к их ворсу добавлялась розовая бархатистость, тоненький слой света, к пышности и ликования примешивалась та нежность, та задумчивая кротость, которыми отмечены иные страницы “Лоэнгрин”[156], иные полотна Карпаччо[157] и которые помогают понять, почему Бодлер отнес к звуку трубы эпитет “сладостный”[158].

С того дня насколько горше мне было сознавать на прогулках в сторону Германта, что у меня нет способностей к литературе и я должен навсегда отказаться от надежды стать знаменитым писателем! Мечтая в одиночестве, в стороне от всех, я терзался такими сожалениями, что мое растравленное болью сознание стремилось избавиться от этой муки и изгоняло мысли о стихах, о романах, о литературном будущем, на которое я не мог рассчитывать из-за бездарности. Но, отрешившись от мыслей о литературе и без всякой связи с ней, я вдруг останавливался при виде какой-нибудь крыши, солнечного блика на камне или оттого, что дорога пахла как-нибудь необычно: я испытывал перед ними совершенно особое удовольствие, а кроме того, казалось, они таят нечто недоступное моему зрению и приглашают меня до этого добраться, но, как я ни старался, я не мог понять, что там такое. Но я чувствовал, что это находится у них внутри, и вот я застывал на месте, смотрел, нюхал, пытался мысленно проникнуть по ту сторону образа или запаха. А если надо было догонять дедушку, идти дальше, я старался воссоздать их с закрытыми глазами; я упорно припоминал во всех подробностях линию

крыши, оттенок камня, и почему-то — я сам не понимал почему — мне казалось, что они полны до краев и готовы приоткрыться, подарить мне то, чему они служили только оболочкой. Разумеется, такие впечатления не могли вернуть мне утраченную надежду на то, что когда-нибудь я стану поэтом и писателем, потому что всегда относились к обыкновенным вещам, не имеющим ни малейшей познавательной ценности и не связанным ни с какой отвлеченной истиной. Но зато они хотя бы дарили мне безотчетную радость, иллюзию плодотворности, отвлекали от тоски, от ощущения бессилия, которое меня охватывало каждый раз, когда я искал философский сюжет для великого литературного произведения. Но так тяжела была задача, которую ставили перед моим сознанием эти впечатления от формы, запаха или цвета, — угадать, что именно за ними скрывалось, — что я очень быстро начинал искать предлог, чтобы увильнуть от этого труда, не изводить себя такими усилиями. К счастью, родители меня окликали, я чувствовал, что все равно не могу сейчас спокойно продолжать мои поиски, поэтому толку от них не будет, так что лучше мне об этом не думать, пока не вернусь домой, и не утруждать себя заранее понапрасну. И я уже не заботился больше об этой непонятной штуке, которая пряталась то в форму, то в запах, и успокаивался, потому что я ведь унесу ее с собой, защищенную оболочкой образов, под которыми найду ее дома живой, как рыбу, которую в те дни, когда меня пускали на рыбалку, приносил в корзинке под слоем травы, чтобы сохранить ее свежей. Дома я отвлекался на другие дела, и в голове у меня (точно так же, как в моей комнате накапливались цветы, которые я нарвал на прогулке, и мелочи, полученные в подарок) копились в беспорядке камень, на котором играл отблеск, крыша, звон колокола, запах листьев, множество разных картин, за которыми давно умерла та угаданная мною действительность, до которой у меня не хватало воли докопаться. Правда, однажды — в тот раз наша прогулка затянулась намного дольше обычного, — когда мы уже возвращались, под вечер нам повезло встретить на полпути доктора Персье, который несся в экипаже во весь опор, и узнал нас, и предложил подвезти, — я уловил одно впечатление такого рода, но не бросил его, и мне удалось его немного углубить. Меня посадили рядом с кучером, мы летели как ветер, потому что доктору до возвращения в Комбре надо было еще навестить больного в Мартенвиль-ле-Сек; договорились, что мы подождем его перед домом. Дорога сделала поворот, и я испытал вдруг то особое наслаждение, не похожее ни на какое другое: освещенные заходящим солнцем, мне открылись две мартенвильские колокольни, они словно переступали с места на место по мере того, как катил наш экипаж и петляла дорога, а потом показалась и вьевикская, отделенная от мартенвильских долиной и холмом, — она стояла на возвышенном месте, гораздо дальше, но казалась совсем рядом с ними.

Изучая, отмечая форму их шпилей, перемещение очертаний, залитые солнцем стены, я чувствовал, что не могу проникнуть вглубь моего впечатления до конца: что-то остается за этим движением, за этим сиянием, что-то такое, что они словно несли в себе, но одновременно и прятали.

Колокольни казались такими далекими, а мы вроде бы так мало к ним приближались, что я удивился, когда спустя несколько мгновений мы остановились перед мартенвильской церковью. Я не знал, почему так обрадовался, заметив их на горизонте, и докапываться до причин этой радости было тяжело; мне хотелось просто приберечь в памяти эти меняющиеся очертания, а сейчас больше о них не задумываться. И вполне возможно, что, если бы я так и поступил, две колокольни навсегда бы слились с множеством деревьев, крыш, запахов, звуков, которые я один раз отличил от других из-за той смутной радости, которую они мне доставили, но ни разу не попытался в ней разобраться. Пока ждали доктора, я вышел поболтать с родителями. Потом мы поехали дальше, я вернулся на свое место, оглянулся, чтобы еще посмотреть на колокольни, и потом, на повороте, увидел их уже в последний раз. Кучер был не расположен к болтовне, еле отвечал, так что пришлось мне, за неимением другого общества, довольствоваться своим собственным, и я попытался припомнить мои колокольни. Вскоре их контуры и залитые солнцем стены треснули, как трескается корка, и чуть-чуть проступило то, что они от меня прятали; забрезжила мысль, которой не было у меня в голове мгновение назад, и сложилась в слова; и от этого радость, которую я только что испытал, когда смотрел на колокольни, настолько усилилась, что я словно опьянел и уже не мог думать ни о чем другом. Тем временем мы отъехали уже далеко от Мартенвиля, и, обернувшись, я увидел их опять, на этот раз совсем темные, потому что солнце уже зашло. Временами повороты дороги скрывали их от меня, потом они показались в последний раз и наконец пропали из виду. Даже и не думая о том, что в мартенвильских колокольнях таилось что-то похожее на прекрасную фразу, — потому что я испытал радость, когда оно облеклось в слова, — я попросил у доктора карандаш и листок бумаги и, даром что экипаж трясло, набросал, чтобы успокоить свою совесть и дать выход восторгу, вот этот небольшой отрывок, который попался мне в руки позже и в который я внес совсем немного изменений[159]:

“Одиноко возвышаясь над равниной, будто потерянные в чистом поле, тянулись к небу две мартенвильские колокольни. Скоро мы увидели целых три: отчаянным скачком метнулась вперед и оказалась перед ними опоздавшая колокольня, вьевикская. Минуты пролетали, мы ехали быстро, а между тем три колокольни по-прежнему четко виднелись далеко впереди, словно три птицы замерли, опустившись на равнину. Потом вьевикская колокольня отодвинулась, отступила в сторону и остались одни мартенвильские, освещенные закатными лучами, и даже на таком расстоянии видно было, как играет и переливается на их скатах солнечный свет. Мы так медленно к ним приближались, что я думал, мы еще долго до них не доберемся, но вдруг экипаж повернул и подвез нас прямо к их подножию; и они так стремительно выскочили навстречу, что мы едва успели притормозить и не налететь на церковную паперть. Наш путь лежал дальше; мы успели уже отъехать от Мартенвиля, деревня, немного проведив нас, отстала, и только все три колокольни, мартенвильские и вьевикская, виднелись на горизонте, следя за нашим бегством, и на прощание покачивали нам вслед залитыми солнцем верхушками. Иногда одна отступала на задний план, чтобы дать двум другим посмотреть на нас еще миг; а потом дорога свернула в сторону, они покружились в лучах, как три золотых веретена, и пропали из виду. Но немного погодя, когда мы подъехали совсем близко к Комбре, а солнце уже село, я заметил их в последний раз совсем далеко — теперь они были как три цветка, нарисованных на небе над низкой линией полей. Они напомнили мне трех девушек из легенды[160], которых бросили одних в наступающей темноте; и пока мы галопом летели все дальше и дальше, я видел, как они робко ищут дорогу и как их благородные силуэты, сделав несколько робких шагов в сторону, сбились в кучку, попрятались друг за дружку, замерли в розовом еще небе, словно одна темная, прелестная, смирившаяся фигура, и растаяли в ночи”. Больше я не возвращался к этой странице, но, когда я дописал ее, сидя на краешке сиденья, куда докторский кучер ставил обычно корзинку для домашней птицы, купленной на мартенвильском рынке, я испытал такое счастье, почувствовал, что эта страница так замечательно избавила меня от колоколен и от скрытой в них тайны, что я, словно сам превратился в курицу и снес яйцо, принялся распевать во все горло.

Во время таких прогулок я иной раз целый день мечтал о том, как было бы хорошо дружить с герцогиней Германтской, удить форель, плавать по Вивонне на лодке, и, охваченный жаждой счастья, ничего больше не просил у жизни — лишь бы только она состояла всегда из череды таких блаженных дней. Но когда на обратном пути я замечал слева ферму, довольно далеко отстоявшую от двух других, наоборот, тесно прилепившихся друг к другу, — а там уже до Комбре оставалось только пройти дубовую аллею, по одну сторону которой

написали огороженные участки с яблонями, посаженными через равные промежутки и в свете заходящего солнца расстилавшими по траве японский рисунок своих теней, — тут сердце мое внезапно начинало стучать; я знал, что через полчаса мы будем дома и, как всегда, когда ходили в сторону Германта и обед подавался позже, меня пошлют спать сразу после супа, так что маме, как в те дни, когда у нас гости, будет невозможно отлучиться из-за стола и она не придет ко мне в комнату сказать спокойной ночи. Я вступал в зону печали, и она так же четко отделялась от той, в которую только что я устремлялся с такой радостью, как иногда на небе розовая полоса бывает как будто отделена линией от зеленой или от черной. Видишь, как птица пролетает по розовой полосе, вот сейчас доберется до края, вот уже почти коснулась черной, а потом влетела в нее. Я уже был настолько вне желаний, которые совсем недавно меня одолевали, — поехать в Германт, путешествовать, быть счастливым, — что их осуществление не принесло бы мне никакой радости. С какой готовностью я бы отдал это все за право проплакать всю ночь, обняв маму! Я дрожал, я не отрывал тоскливых глаз от маминого лица, зная, что она не появится вечером у меня в комнате, где я уже мысленно себя видел; я хотел умереть. И это состояние длилось до утра, когда первые лучи, как лесенка садовника, прислонялись к стене, увитой настурцией, которая взбиралась к самому моему окну, и я выскакивал из постели и быстро выбегал в сад, уже не помня, что наступит вечер, а вместе с ним время расставаться с мамой. Вот так во время прогулок в сторону Германта я научился различать эти состояния, которые сменяются во мне в определенные часы и делят между собой чуть ли не каждый день, прогоняя друг друга с лихорадочной пунктуальностью; они следуют одно за другим, но так непохожи, настолько не связаны между собой, что, находясь в одном состоянии, я не могу ни понять, ни хотя бы вообразить себе то, чего жажду, или боялся, или добивался, пока был в другом. Вот так и сторона Мезеглиза, и сторона Германта до сих пор связаны для меня со всякими мелкими событиями одной из множества разных жизней, проживаемых нами параллельно, — той, в которой больше всего перипетий, разнообразнее эпизоды: я имею в виду интеллектуальную жизнь. Вероятно, она совершается в нас подспудно, и к открытию тех истин, которым было суждено изменить для нас ее смысл и перспективу, показать нам новые пути, мы готовились уже давно, но сами этого не знали, и для нас эти истины отмечены тем днем, той минутой, когда предстали нашему взгляду. Хороводы цветов в траве, вода в солнечных бликах — вся природа, в обрамлении которой они впервые нам предстали, по-прежнему осеняет своим бессмысленным или рассеянным ликом уже не сами эти истины, но память о них, и, разумеется, когда смиренный прохожий, мечтательный мальчик засматривался на цветы или реку — как затерявшийся в толпе мемуарист засмотрелся на короля, — этот уголок сада, этот кусок живой природы и подумать не могли, что только благодаря мальчику они уцелеют в самых своих мимолетных подробностях; ведь этот аромат боярышника, витающий вдоль живой изгороди, где скоро его сменит шиповник, глухой звук шагов по гравию, пузырек воздуха, прильнувший к водоросли в речной воде и сразу лопнувший, — мое восхищение подхватило их и перенесло через столько минувших лет, а тем временем успели зарости окрестные дороги, и умерли те, кто их топтал, и память о тех, кто их топтал, тоже умерла. Иногда эта часть пейзажа, добравшаяся таким образом до нынешнего дня, отделяется от всего остального и, зыбкая, парит у меня в мыслях, как цветущий Делос[161], а я даже не могу сказать, из каких краев, из каких времен — может быть, просто-напросто из какого сна — она взялась. Но прежде всего сторона Мезеглиза и сторона Германта представляются мне глубинными пластами моей умственной почвы, той надежной землей, которая до сих пор служит мне опорой. Когда я гулял в тех местах, я верил людям и вещам, и поэтому люди и вещи, с которыми я там познакомился, остались единственным, к чему я еще отношусь серьезно и что еще доставляет мне радость. Не то животворящая вера во мне истощилась, не то действительность создается только в памяти, но цветы, которые я вижу сегодня в первый раз, не кажутся мне настоящими. Сторона Мезеглиза с ее сиренью, боярышником, васильками, маками, яблонями, сторона Германта с ее рекой, головастиками, кувшинками и лютиками навсегда заложил во мне образ тех мест, где мне хотелось бы жить, тех мест, от которых требуется прежде всего, чтобы можно было удить рыбу, плавать в лодке, видеть развалины готических укреплений и находить среди хлебов церковь вроде св. Андрея-в-полях — монументальную, деревенскую, золотистую, как стог сена; поэтому васильки, боярышник, яблони, которые мне еще случается встречать в поле во время прогулок, немедленно находят путь к моему сердцу: ведь они залегли на той же глубине, на уровне моего прошлого. И все же каждое место на земле неповторимо; вот почему, когда мной овладевает желание вновь увидеть сторону Германта, оно бы не утолилось оттого, что меня приведут на берег реки, где цветут такие же красивые лилии, как на Вивонне, или даже еще красивее; вот ведь и вечером, по дороге домой, — в час, когда просыпалась во мне та тоска, которая потом переключается в любовь и, возможно, навсегда останется неотделима от нее — я бы не хотел, чтобы другая мама, красивее и умнее моей, пришла пожелать мне спокойной ночи. Нет; ведь чтобы заснуть счастливым, с тем миром в душе, которого потом не могла мне дать ни одна любовница (потому что в любовницах сомневаешься уже в тот самый миг, когда им поверишь, и их сердцем никогда невозможно завладеть так, как маминим, когда она меня целовала и дарила его мне целиком, без остатка, без задней мысли, без малейшей недоимки, то есть постороннего умысла, не имевшего ко мне отношения), — чтобы заснуть, мне нужно было только ее, мою маму, чтобы она склоняла ко мне лицо, где под глазом было какое-то пятнышко, которое я любил наравне со всем остальным, — и точно так же я хочу вновь увидеть вот именно ту сторону Германта, которую я знал, с одной фермой немного в стороне от двух других, тесно прижавшихся друг к другу там, где начинается дубовая аллея; хочу увидеть те самые луга, когда от солнца они делаются зеркальными, как пруды, и в их поверхности отражается яблонева листва; хочу увидеть тот самый пейзаж, от неповторимости которого ночью, во сне, у меня с фантастической силой перехватывает дыхание — а стоит проснуться, и все исчезает. Наверное, совершенно разные впечатления неразрывно связались у меня между собой просто из-за того, что мне выпало испытать их одновременно: так вышло, что сторона Мезеглиза, а может, и сторона Германта обрекли меня в будущем на множество разочарований и даже ошибок. Например, часто мне хотелось вновь увидеть кого-нибудь, но я не понимал, что этот человек просто напоминает мне о боярышниковой изгороди, — что-то понуждало меня верить и притворяться, что я верю во внезапный прилив симпатии, хотя было это простой тягой к знакомым местам. Но по той же самой причине и сторона Мезеглиза, и сторона Германта всегда присутствуют в тех моих сегодняшних впечатлениях, которые хоть как-то с ними перекликаются, — они придают им устойчивость и глубину, у этих впечатлений оказывается как бы на одно измерение больше, чем у всех остальных. У них появляется особое очарование, особый смысл, внятный только мне. Когда летним вечером небо мелодично рокошет, как дикий зверь, и все брюзжат, недовольные грозой, — мне нужно оказаться в одиночестве там, в стороне Мезеглиза, и восхищенно вдыхать, сквозь шум проливного дождя, запах невидимой и неистребимой сирени.

Вот так я часто размышлял до утра о временах Комбре, о моих печальных бессонных вечерах и о стольких днях, образ которых недавно вернулся ко мне благодаря вкусу — в Комбре бы сказали: “аромату” — одной чашки чаю; а поскольку воспоминания связаны одно с другим, думалось мне и о том, что выяснилось многие годы спустя, после того как я уехал из этого городка, — о любви, которая была у Сванна еще до моего рождения; она стала мне известна в таких подробностях, которые подчас легче узнать о жизни тех, кто умерли столетия назад, чем о наших лучших друзьях, и добыть их кажется невыносимо, как казалось невыносимо поговорить с человеком, который находится в другом городе — пока не найдется способа, с помощью которого эту невыносимость удастся обойти. Все эти воспоминания, добавляясь одно к другому, сложились в единую массу, единую, но неоднородную: одни давние, другие более новые, те родились из аромата, те принадлежат другому человеку, который их мне рассказал; все это были если не трещины, не настоящие разломы, то по

меньшей мере прожилки, слоистость, которая в некоторых камнях, мраморных глыбах выдает разницу в происхождении, возрасте, “формации”.

Конечно, к утру уже давно успевала развеяться мгновенная неуверенность, с которой я просыпался. Я уже знал, в какой спальне я на самом деле нахожусь, мне уже удавалось восстановить ее вокруг себя в темноте — то просто по памяти, то беря за ориентир замеченный слабый свет, прямо под которым я размещал оконные занавески; я восстанавливал ее всю целиком, вместе с мебелью, как архитектор и обойщик, которые не загромождают оконных и дверных проемов, я развешивал зеркала и ставил комод на его обычное место. Но едва день — а уже не отблеск последнего уголька на медном карнизе, принятый мной за рассвет, — прочерчивал на фоне темноты, словно мелом, свой первый белый и все исправляющий луч, как зашторенное окно расставалось с дверным проемом, в который я его по ошибке задвинул, а письменный стол, который моя память некстати втиснула на место окна, в спешке убирался оттуда, чтобы освободить пространство окну, толкая впереди себя камин и отодвигая смежную с коридором стену; внутренний дворик воцарялся там, где еще мгновение назад была туалетная комната, и перестроенное мною в потемках жилье отправлялось вдогонку другим, которые я мельком видел в водовороте пробуждения, обращенное в бегство бледным знаком, который начертил над занавесками поднятый палец зари.

ПРИМЕЧАНИЯ

Напомним, что “Комбре” — это первая часть первого тома романа “В поисках потерянного времени”; весь том озаглавлен “В сторону Сванна”; вторая его часть называется “Любовь Сванна”, третья — “Имена страны: имя”. Со временем надеемся представить читателям полный перевод романа Марселя Пруста.

Перевод выполнен по изданию: M. Proust. *A la recherche du temps perdu Edition publiee sous la direction de Jean-Yves Tadie. Paris: Gallimard, 1987-1989. Bibliotheque de la Pleiade. Vol. I—IV. — Vol. I. Combray: texte presente par Pierre-Louis Rey et Jo Yoshida, etabli et annote par Grancine Goujon, releve de variantes par Jo Yoshida.*p>

При составлении примечаний наряду с указанным использовались и другие издания:

M. Proust. *A la recherche du temps perdu. Paris: Editions Pierre Laffont, 1987. Collection Bouquins. Vol. I— III. — Vol. I. Du cote de chez Swann: notes par Andre Alain Morello;*

M.Proust. *Du cote de chez Swann. Paris: Flammarion, 1987. Preface par Jean Milly, notes par Bernard Bran et Anne Herschberg-Pierrot.*

Пруст начал работать над “Комбре”, по всей видимости, в 1908 г., хотя многое из написанного восходит к гораздо более ранним текстам и к совершенно иным замыслам, от которых впоследствии писатель отказался. К 1912 г. текст “Комбре” уже полностью сложился приблизительно в том виде, как мы его знаем, в составе первого тома романа. Пруст приступает к поискам издателя для этого тома, который первоначально озаглавлен “Потерянное время”. (Второй том, еще в рукописи, озаглавлен на этом этапе “Обретенное время”, а весь роман целиком — “Перебои сердца”.) И наконец, в 1913 г. найдено окончательное название для первого тома — “В сторону Сванна” и найден издатель, Бернар Грассе. В ноябре 1913 г. первый том поступает в продажу.

В наше время “Комбре” во Франции регулярно публикуется отдельным изданием. Укажем, например, Combray, sous la direction de Sandrine Costa, Paris: Flammarion, 2000; Combray, Paris: Larousse, 2002; Combray, sous la direction de Anne Lamalle et Helene Tronc. Paris: Gallimard, 2004. Эта практика подсказала нам мысль издания “Комбре” по-русски отдельной книгой.

Пруст полагал, что его роман будут читать лет пятьдесят или сто, а потом забудут. И разумеется, он рассчитывал не на будущих специалистов-филологов, а на читательскую среду своего времени. Вероятно, он бы ужаснулся, если бы издателю вздумалось от себя объяснять читателям в примечаниях, кто такие Коро или Сен-Симон: это было бы совершенно излишне, ведь читатели учились в таких же школах, как автор романа, бывали на тех же выставках, дышали воздухом той же эпохи. Но как бы то ни было, Пруст писал “Поиски” почти сто лет назад и совершенно не для нас. Образованный читатель России начала XXI в. сплошь и рядом не знает или не учитывает того, что было на слуху у современников писателя. Кроме того, “Поиски” — неоконченное произведение: автор работал над ним до последних дней своей жизни и, вероятно, многое бы еще в нем изменил, проживи он дольше. Поэтому мы позволяем себе обойтись с публикуемым текстом, как принято обходиться с классикой, и снабдить примечаниями все места, которые могут представлять трудность для непосредственного восприятия в наши дни. Но чтобы не нарушать цельного впечатления от романа, помещаем примечания в приложении, после текста. По этой же причине — не уводить читателя в сторону от чтения — оставляем в стороне вопросы истории текста, а также биографию писателя, если их привлечение не представляет необходимости для более полного прочтения романа. Все пояснения относятся в основном к эстетическому и, в некоторой мере, историческому контексту описываемой эпохи, которым тоже нельзя пренебрегать: ведь время, в том числе и историческое, играет очень важную роль в романе, посвященном поискам потерянного времени. По гипотезе исследователя романа, французского литературоведа Жерара Женетта, принимая в расчет все данные, все действие “Комбре” протекает приблизительно между 1883 и 1892 гг.

Вместе с тем чувствуем необходимость сориентировать читателей в просторном мире романа и помочь разобраться с многочисленными персонажами. Еще Ахматова возмущалась: “...у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками бухарки” (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Запись от 26 апреля 1955 г.). Иные персонажи наделены именами, иные остаются безымянными, указана только степень их родства с рассказчиком. Итак, кратко охарактеризуем семью героя романа, рассказчика, или, пользуясь выражением самого Пруста, того господина, который в романе говорит “я”: у него есть мама и папа, а еще есть дедушка, г-н Амеде (это его имя, а не фамилия), и сестра дедушки, которую рассказчик называет двоюродной бабушкой: именно этой двоюродной бабушке принадлежит дом в Комбре. Ее дочь — тетя Леони, которая живет в Комбре постоянно и приходится рассказчику двоюродной теткой, однако он называет ее тетей. Покойного мужа тети Леони звали дядя Октав (Октав — имя, а не фамилия), и служанка называет ее “госпожа Октав”, по имени мужа. Кроме дедушки и двоюродной бабушки у мальчика есть родная бабушка, жена г-на Амеде и мать его мамы, мы знаем ее имя, Батильда, и знаем, что у бабушки есть две незамужние сестры, Селина и Флора. Бабушкины сестры, строго говоря, тоже приходятся рассказчику двоюродными бабушками, но он их так никогда не называет, видимо, во избежание окончательной путаницы. Они в романе называются бабушкиными сестрами, а иногда просто тетками. Еще

упоминается дядя Адольф, брат дедушки, — он, значит, приходится рассказчику двоюродным дедушкой, однако называется именно дядей. Правда, на первой странице дважды упоминается двоюродный дедушка, не названный по имени; не беремся судить со всей уверенностью, имеется ли в виду дядя Адольф или какой-нибудь другой родственник. Нам кажется, что это все тот же дядя Адольф.

Сноски

1

Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки *Пер. с фр. Е. Г. Соколова и др. СПб.: АЛТЕИЯ, 1999. Это захватывающе интересное исследование — незаменимый ключ к пониманию структуры и смысла романа в целом.*

2

Город Комбре наделен чертами реального городка Илье, расположенного на Луаре, в 25 километрах от Шартра; после 1971 г. переименован в Илье-Комбре (добавление “Комбре” было сделано в честь Пруста в столетие со дня его рождения). Это родной город отца писателя. В возрасте от шести до девяти лет Марсель приезжал сюда на пасхальные и летние каникулы к тетке Элизабет Амю, сестре отца. Позже эти поездки прекратились из-за приступов астмы, и Илье превратился для ребенка в потерянный рай. В последний раз Марсель побывал в Илье в пятнадцать лет, после смерти тетки. Кроме того, Комбре напоминает парижский пригород Отейль, где жила семья матери писателя и где родился он сам.

3

...соперничество Франциска I с Карлом V. — Имеется в виду книга Франсуа Минье (Francois Mignet) “Соперничество Франциска I и Карла V” (1875), в которой речь о более чем тридцатилетней борьбе французского короля Франциска I (пр. 1515—1547) с императором Священной Римской империи Карлом V (пр. 1519—1556).

4

...разбуженный приступом больной... — Здесь впервые в романе упоминается о болезни. Когда Прусту было девять лет, он заболел астмой, которая преследовала его до конца. “Поиски” — не автобиография, но автор привнес в историю своего героя много черт собственной жизни, в том числе и эту: ссылки на болезнь рассыпаны по всей книге. Болезнью объясняются и перемены в распорядке дня героя, о которых говорится в первой фразе романа: в детстве и молодости он ложится спать рано, как и положено больному, и проводит долгие тягостные часы в борьбе с очередным приступом; позже он будет, так же как и сам Пруст, ложиться спать под утро, а ночью бодрствовать. После 1907 г., когда Пруст приступил к работе над романом, он жил на бульваре Османн в комнате с завешенными окнами, днем спал, а по ночам писал.

5

Кинетоскоп, характерный элемент культуры fin-de-siecle, был изобретен в 1889 г. Т. Эдисоном и У. Диксоном; это предшественник кинематографа: последовательный быстрый просмотр фотографий, сделанных через очень короткие промежутки времени, создавал иллюзию движения.

6

“Деба роз” — Le Journal des Debats — ежедневная газета (1789—1944). Les Debats Roses — вечернее приложение к этой газете, печатавшееся на розовой бумаге; начало выходить в 1893 г.

7

...в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции... — Это перечисление главных мест, где развернется действие романа, не совсем соответствует предшествующему перечислению спален. Ни парижская спальня, ни венецианская не совпадают с комнатами, запечатленными в “вихреобразном и смутном узнавании”, и наоборот, Тансонвиль в перечисление не попал. Кроме спальни в Комбре, можно узнать приветливую спальню в Донсьере (см. “Сторону Германтов”) и тоскливую — в Бальбеке (“Под сенью девушек в цвету”), почти все описательные элементы которой (часы, лиловые шторы, зеркало, высокий потолок, запах лимонной травы) здесь присутствуют. Перечисление мест происходит по порядку их появления в романе и в жизни рассказчика, за исключением Парижа, занимающего центральное место.

8

Шале — изначально — деревянный домик на альпийских лугах; позже так стали называть любой загородный дом в стиле швейцарских шале, а также маленький деревянный домик на морском побережье на севере Франции, выходящий прямо на пляж; именно о таком шале вспоминает герой романа.

9

Женевьева Брабантская — героиня популярной средневековой легенды, впервые записанной Джакомо да Варацце (Иаковом из Ворагина) в сборнике “Золотая легенда”, составленном в XIII в.: отправляясь на войну, Зигфрид, граф Тревский, доверил свою жену Женевьеву, дочь герцога Брабантского, попечению сенешаля Голо, который пытался ее обольстить. Потерпев неудачу, Голо оклеветал Женевьеву перед мужем, и тот велел ее казнить. Люди, которым было поручено исполнение приговора, пожалели ее и оставили в лесу, где она прожила несколько лет, питаясь плодами и кореньями. Ее младенца вскормила своим молоком прирученная ею лань. Однажды на охоте Зигфрид погнался за этой ланью, и она привела его к жене. Женевьева доказала свою невинность и изобличила Голо, но вскоре умерла.

Этот сюжет много раз служил во Франции основой для художественных произведений: существуют трагедия Серизье “Женевьева Брабантская, или Признанная невинность” (1669), пьеса Дора того же названия (1670); Эрик Сати написал комическую оперу “Женевьева Брабантская” (1900) на либретто Лорда Шемино (псевдоним Контема Латура); популярна была оперетта “Женевьева Брабантская” Жака Оффенбаха на либретто Кремье, впервые поставленная в 1859 г., а в 1875-м переделанная в пятиактную оперу и поставленная в парижском театре “Гете”.

10

...из меровингских времен... — Время правления франкской королевской династии Меровингов относится к V—VIII вв. Их история живо интересовала Пруста: в юности его любимым чтением были “Рассказы из времен Меровингов” Огюстена Тьерри (рус. пер. — СПб.: изд-во “Иванов и Лещинский”, 1994).

11

Астральное тело — в оккультных науках так называется двойник физического тела, обладающий более тонкой организацией и возможностью существования в ином измерении.

12

...и Синей Бороде... — Имеется в виду сказка Шарля Перро (1628-1703).

13

Имя Батильда, которое носит бабушка рассказчика, очень редкое и значит “крещенная водой” (из греч. яз.). Это имя святой, прославившейся добрыми делами, которая жила в VII в. и была женой Хлодвига II, что опять отсылает нас к меровингской старине.

14

...волос, причесанных под Брессона... — Речь идет о прическе ежиком, введенной в моду актером “Французской комедии” Жаном Брессаном (1815—1886). Такую прическу носил Шарль Хаас, который был, по признанию самого Пруста, основным прототипом Сванна.

15

Жокей-клуб — один из наиболее закрытых и элегантных парижских клубов, основан в 1834 г.

16

Граф Парижский — Людовик-Филипп-Альберт Орлеанский (1838—1894), внук короля Людовика-Филиппа; был выслан из Франции как претендент на престол, уехал сначала в Германию, а затем в Англию. После 1870 г. вернулся, но в 1886 г. был выслан окончательно и снова уехал в Англию.

17

Принц Уэльский — титул английского престолонаследника; имеется в виду будущий Эдуард VII (1841— 1910), сын королевы Виктории, вступивший на престол после ее смерти — в 1901 г. По свидетельствам современников, во время своего пребывания в Париже он был центром притяжения для высшего света. Однажды он был на званом обеде в доме баронессы Греффюль, которую Пруст хорошо знал (в “Стороне Германта” Пруст отразит это событие в сцене приема у герцогини Германтской). 17 Сен-Жерменское предместье — квартал в Париже (7-й округ), где с XVIII в. селились наиболее аристократические семейства.

18

Сен-Жерменское предместье — квартал в Париже (7-й округ), где с XVIII в. селились наиболее аристократические семейства.

19

Аристей — персонаж поэмы Вергилия “Георгики” (кн. 4, ст. 317—558), научивший людей пчеловодству. Несмотря на божественное происхождение, Аристей был простым пастухом; однако, когда он обратился к матери — Кирене, правнучке Океана, нимфе потока Пеней, — за помощью, она приняла его, ввела в царство морской богини Фетиды, научила, как узнать о причине постигшей его беды и спасти погибших пчел.

20

...у принцессы полусвета... — Это словечко ввел в обиход Александр Дюма-сын, написавший в 1855 г. пьесу “Полусвет”.

21

...рецепт соуса “грибиш”... — соус из уксуса и растительного масла с яйцом и травами.

22

В Твикнэме (Англия) жил во время первого изгнания граф Парижский. Там был центр французской монархической оппозиции.

23

Под Сакре-Кёр здесь подразумевается школа для девочек в Париже, где учились дочери аристократов и преуспевающих буржуа.

24

...из знаменитого семейства герцогов Бульонских... — Буйон, или, по традиционной транслитерации, Бульон, — французский герцогский род, считающий родоначальником Готфрида Бульонского, знаменитого крестоносца и первого короля Иерусалима (1099); ветвь семьи де Латур д'Овернь. Матери Базена, герцога Германтского, и Орианы, герцогини Германтской (которые появятся в романе немного погодя), а также г-жа де Вильпаризи — родные сестры и урожденные герцогини Бульонские.

25

Севинье — Мари де Рабютен-Шангаль, маркиза де Севинье (1626—1696), автор знаменитых “Писем”, адресованных ее дочери графине де Гриньян, часто упоминаемых у Пруста, — любимый автор бабушки и матери Марселя Пруста, а в романе — бабушки рассказчика.

26

...с маршалом Мак-Магоном! — Патрис, граф де Мак-Магон, герцог де Мажанта, маршал Франции (1808— 1893); первый президент Третьей республики (1873— 1879). Помимо прямого упоминания в романе, он послужил Прусту прототипом для второстепенного персонажа, родственника г-жи де Вильпаризи.

27

Царствование Луи Филиппа (1773—1850) охватывает период с 1830 по 1848 г.; во времена, описываемые в романе, оно было недавним прошлым. Герцог де Икс — это, по мнению французских комментаторов, герцог д'Одифре-Пакье (1823—1905), сын графа д'Одифре (1789—1858) и внучатый племянник канцлера Этьена-Дени Пакье (1767—1862), упоминаемого в том же разговоре. Другой упоминаемый политический деятель — не отец, а дядя герцога д'Одифре-Пакье: это маркиз д'Одифре (1787—1878), пэр Франции и сенатор в царствование Луи Филиппа.

28

Луи-Матье, граф Моле (1781—1855) — премьер-министр в царствование Луи Филиппа, с 1836 по 1839 г. член палаты пэров, был избран во Французскую академию за книгу “Эссе о морали и политике”. О нем в дальнейшем будет упоминать маркиза де Вильпаризи в книге “Под сенью девушек в цвету”.

29

Герцог д'Одифре-Пакье (1823—1905), сын графа д'Одифре (1789—1858) и внучатый племянник канцлера Этьена-Дени Пакье (1767—1862)

30

Герцог Ашиль Леон Шарль Виктор де Брольи (1785—1870) был министром иностранных дел (1832) и премьер-министром (1835—1836) при Луи Филиппе.

31

“Фигаро” — газета, основанная в 1854 г.; выходит по сей день. Пользовалась огромным влиянием во времена Третьей республики. В ней печатались светские новости, а также колонка, посвященная литературе и искусству, для которой писал и Пруст.

32

Камиль Коро (1796—1875) — французский художник, предтеча импрессионизма. Его картину “Шартрский собор” Пруст называл в числе самых любимых.

33

Герцог д'Одифре-Пакье (1823—1905), сын графа д'Одифре (1789—1858) и внучатый племянник канцлера Этьена-Дени Пакье (1767—1862)

34

...отвечала ее сестра Флора. — По недосмотру Пруста обе реплики оказываются приписаны одному и тому же лицу.

35

Анри-Полидор Мобан (1821—1902) — актер “Комеди Франсез”, выступавший в амплуа благородных отцов, королей, тиранов. Ушел со сцены в 1888 г.

36

Амалия Матерна (1847—1918) — австрийская певица, исполнительница заглавных ролей в операх Вагнера; выступала в Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Ушла со сцены в 1897 г.

Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (1675— 1755) — придворный Людовика XIV и регента Филиппа Орлеанского, автор “Мемуаров”, охватывающих период с 1691 по 1723 г. Пруст часто обращается к Сен-Симону, высоко ценит его язык и стиль, искусство словесного портрета, изображение придворной жизни и умение показать ее механизмы.

38

...был послом в Испании... — В 1721 г. Сен-Симон был послан в Мадрид в качестве чрезвычайного посла, чтобы официально испросить руки испанской инфанты для Людовика XV.

39

Королева Греции. — Ольга Константиновна (1851— 1926), племянница Николая I, вышла замуж за Георги³⁹ Принцесса Леонская. — Титул принцев Леонских принадлежал отпрыскам знатного французского рода Роганов. С принцессой Леонской (1853—1926) был знаком поэт и аристократ Робер де Монтескью, с которым Пруста связывали дружеские отношения; она была поэтессой, учредила литературную премию; Пруст интересовался ею и даже просил Монтескью показать ему фотографию этой дамы.я I, короля Греции, и была королевой с 1867 по 1913 г.

40

Принцесса Леонская. — Титул принцев Леонских принадлежал отпрыскам знатного французского рода Роганов. С принцессой Леонской (1853—1926) был знаком поэт и аристократ Робер де Монтескью, с которым Пруста связывали дружеские отношения; она была поэтессой, учредила литературную премию; Пруст интересовался ею и даже просил Монтескью показать ему фотографию этой дамы.

41

Жан-Батист-Луи Андро, маркиз де Молеврие-Ланжерон (1677—1754) — маршал Франции, посол в Мадриде в 1721—1723 гг., когда, по случаю бракосочетания инфанты с юным королем Франции, Людовиком XV, туда ездил сам Сен-Симон в качестве сверхштатного посланника.

42

“Вы к добродетели мне ненависть внушили!” — неточная цитата из трагедии Корнеля “Смерть Помпея” (акт III, сцена IV).

43

...убивать грудных младенцев... — аллюзия на библейский текст: “Извне будет губить их меч, а в домах ужас — и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца” (Второзаконие, 32: 25).

44

...варить козленка в молоке его матери... — аллюзия на библейский текст: “Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его” (Исход, 23: 19).

45

...употреблять в пищу бедренные жиры. — Аллюзия на библейский текст: “Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жиры, которая на составе бедра, потому что {Боровшийся} коснулся жиры на составе бедра Иакова” (Бытие, 32: 32).

46

...чудо святого Теофила... — Св. Теофил, собственно Феофил Покаявшийся, Аданский, Эконом (ум. ок. 538). По преданию, продал душу дьяволу, но после раскаялся, и Дева Мария помогла ему расторгнуть договор. Его история известна по пьесе “Миракль о Теофиле” Рютбефа (ок. 1261), перевод которой на русский язык дал А. Блок в 1907 г. (“Действо о Теофиле”). Интересно, что во вступительном слове к своему переводу Блок тоже упоминает о барельефах: “...во многих церквах существуют лепные изображения истории, между прочим — два барельефа на северном портале Notre Dame de Paris”.

47

...четырёх сыновей Аймона. — О вражде сыновей Аймона Дордоньского с императором Карлом Великим (XII в.) повествует поэма Доона де Майанс (Майнцского) “Четыре сына Аймона”. Один из четырех сыновей, Рено, примирившись с королем, чтобы загладить свою вину, взял на себя строительство Кельнского собора. Существует русский перевод отрывка из этой поэмы, выполненный О. Мандельштамом (“Сыновья Аймона”, 1923 г.).

48

...за угол улицы Тревиз. — На углу ул. Консерватории (параллельно ул. Тревиз) и ул. Бержер была расположена до 1911 г. Парижская национальная консерватория музыки, основанная в 1784 г. В наши дни в этом здании расположена только Консерватория драматического искусства, а Консерватория музыки переехала в другую часть города.

49

Беночцо Гоццоли (1420 или 1422—1497) — итальянский художник флорентийской школы; один из авторов фресок на кладбище Кампо Санто в Пизе, погибших во время Второй мировой войны. Несколько фресок изображали эпизоды из жизни Авраама, но сцены, упоминаемой Прустом, на них не было, впрочем, и в тексте Священного Писания она тоже отсутствует. Скорее всего, сюжет придуман Прустом для надобностей романа.

50

...давно исчезла. — Дом в Комбре, описанный Прустом, больше всего напоминает дом родителей отца писателя в Илье, ныне Илье-Комбре, дошедший до наших дней, но некоторые элементы отсылают к дому в Отейле, тогда — пригороде Парижа, принадлежавшему двоюродному деду Пруста со стороны матери, Луи Вейлю. После смерти владельца этот дом был в 1897 г. продан и снесен, когда прокладывали улицу Моцарта.

51

“Чертова лужа” (1846), “Франсуа-найденыш” (1847-1848), “Маленькая Фадетта” (1848-1849), “Волынщики” (1853) — сельские романы Жорж Санд.

52

“Индиана” (1832) — роман Жорж Санд, в котором прославляется любовь, которая превышает людских законов. Этим объясняется его упоминание рядом с томиками поэта-романтика А. де Мюссе и эмоционального Ж.-Ж. Руссо: все три книги явно не входят в привычный круг детского чтения.

53

...фонтаны Сен-Клу Юбера Робера... — Юбер Робер (1733—1808) — французский художник, мастер классицистического пейзажа руин; испытывал влияние Пиранези, с которым был лично знаком. Несколько раз изображал источники Сен-Клу, например в картинах “Прачки в парке”, “Фонтан”.

54

...Везувий Тернера... — Английский художник Уильям Тернер (1775—1853) оставил несколько акварелей с изображением вулкана Везувий.

55

...в первоизданном виде, работы Моргена. — Рафаэль Морген (1761—1833) — гравер, в 1800 г. создал гравюру с “Тайной вечери” Леонардо да Винчи, фрески, которая находится в церкви Санта Мария делле Грациэ в Милане. Фреска эта, с тех пор как была создана, подвергалась реставрациям, которые значительно ее изменили; гравюра Моргена, вопреки тому что мы можем заключить из романа, запечатлела ее уже после первой такой реставрации.

56

...она взяла “Франсуа-найденыша”... — Как отмечают исследователи, выбор этого романа не случаен. Речь в нем идет о мальчишке-найденыше; он растет под покровительством мельничихи Мадлен, к которой нежно привязан. И только когда Франсуа вырастает, а Мадлен становится вдовой, оба понимают природу чувства, которое их связывало: роман кончается их свадьбой. Сближение материнской и любовной привязанности позволяет провести параллель между персонажами Ж. Санд и Пруста.

57

...белые кувшинки на Вивонне... — Название речки — Вивонна — не совсем вымышленное; по-видимому, его происхождение географически-литературное. Такой реки во Франции нет, зато есть городок Вивонн, расположенный на слиянии трех рек — Клен, Пале и Вона. Последний отпрыск по мужской линии угаснувшего рода Вивоннов, сеньоров городка, был отцом Катрин Вивонн, в замужестве маркизы де Рамбуйе (1588— 1669), хозяйки литературного салона, оказавшей значительное влияние на французскую литературу XVII в.

58

...наподобие персидских царей... — аллюзия на библейский текст: “В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей; и читали их пред царем” (Кн. Есфирь, 658 ...рентген видит ваше сердце насквозь... — Рентген открыл рентгеновские лучи в 1895 г.; при исследовании сердца их стали применять во Франции после 1914 г. Можно было бы сказать, что это словцо Франсуазы — анахронизм, но время в романе Пруста весьма условно и не расчислено по календарю.: 1).

59

...рентген видит ваше сердце насквозь... — Рентген открыл рентгеновские лучи в 1895 г.; при исследовании сердца их стали применять во Франции после 1914 г. Можно было бы сказать, что это словцо Франсуазы — анахронизм, но время в романе Пруста весьма условно и не расчислено по календарю.

60

...Али-Баба и сорок разбойников, Аладдин и волшебная лампа... — сказки из “Тысячи и одной ночи”, книги, которую Пруст любил и о которой будет в дальнейшем рассуждать его герой.

Две шпалеры изображали коронование Есфири... — Возможно, образцом для этих шпалер Прусту послужили шпалеры XV и XVI в., которые хранятся в сокровищнице собора св. Этьена в Сансе, с которыми их сравнивает Кюре. Описание шпалер придает семейству Германтов дополнительные эстетические и исторические черты, но важнее всего для романа сам их сюжет, вновь отсылающий к библейской Книге Есфирь, а еще больше к одноименной трагедии Расина: Есфирь, скрывающую, по совету благочестивого Мардохея, свое еврейское происхождение, избирает в жены персидский царь Артаксеркс, и она спасает еврейский народ от гибели. Библейский и восточный характер этой истории неоднократно подчеркивается как здесь, так и в дальнейшем. Поразительна также чисто аристократическая и средневековая коннотация шпалер комбрейской церкви. История Есфири, так же как история Женестьеви Брабантской, подразумевает семейную подолеку, которая очевидней выступает в черновых вариантах: в одном из черновиков мать рассказчика, подобно Есфири, робко проникает в спальню рассказчика — Артаксеркса (в дальнейшем эта роль перейдет к Альбертине в книге “Пленница”). Вероятно, в “Комбре” тема Есфири нужна, чтобы ввести в роман мотив подразумеваемого еврейства матери. С другой стороны, на автора могло повлиять и детское воспоминание: у родителей Пруста была картина Франкена Младшего (1578—1647) “Есфирь и Аман”.

62

...выкованный, как считалось, святым Элигием... — Св. Элигий (588—660), епископ Нуайона, казначей короля франков Хлотаря II, а затем Дагоберта; считался покровителем золотых дел мастеров. Обратил в христианство множество язычников.

63

...и подаренный Дагобертом... — Дагоберт I (600—638), король франков, сын Хлотаря I. Вместе со св. Элигием объединил и укрепил меровингское королевство. В 626 г. основал аббатство Сен-Дени, где поныне сохранилась его гробница; начиная с Людовика Святого, там хоронили французских королей и королев.

64

Людовик Немецкий (804—876) — с 843 г. король Восточно-Франкского королевства, основатель германской ветви Каролингов.

65

Сигеберт (535—575) — король франков, младший сын Хлотаря, героя “Рассказов из времен Меровингов” Огюстена Тьерри. Таким образом, Сигеберт приходился внуком Хлодвигу (ок. 466—511), основателю Франкского государства, так же как и король франков Теодоберт I (533—549), которому в романе приписывается строительство церкви в Комбре. Меровингский слой церкви Комбре выдержан в границах исторического и географического правдоподобия.

66

Апсида — выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. В христианских храмах апсида — алтарный выступ.

67

...”от хрустальной пампы... пламя не угасло”. — Это почти дословная цитата из “Рассказов из времен Меровингов” Огюстена Тьерри (рус. пер. Тьерри О. Рассказы из времен Меровингов. СПб.: изд-во Иванов и Лещинский, 1994). Упомянув смерть Галесвинты, невестки, а не внучки Сигеберта, убитой ее мужем Хильпериком, Тьерри пишет: “Говорили, что в день погребения Галесвинты сама собой сорвалась хрустальная лампа и, ударившись о мраморный пол, не только не разбилась, но даже не угасла. Были слухи еще более чудесные: многие якобы видели собственными глазами, как упавшая лампада продавила мраморный пол и ушла до половины в камень, как в мягкую массу (Тьерри. Цит. соч. С. 51). Пруст здесь, пока еще не называя имени Тьерри, отдает ему долг благодарности: это была его любимая книга, любимый писатель, и вообще любимый герой, и весь 1886 г., тот самый год, когда умерла тетка Амио, прообраз тети Леони, — прошел у Пруста под знаком Тьерри.

68

...если бы дома на комбрейских улицах имели номера... — В Илье дома получили нумерацию только в 1934 г.

69

Джованни Батиста Пиранези (1720—1778) итальянский рисовальщик, гравер и архитектор, автор многочисленных альбомов гравюр; наиболее знамениты его “Виды Рима” (изд. в 1748—1788).

70

...о грехе, коему нет отпущения. — Аллюзия на библейский текст: “Ибо невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются {Ему}” (Посл. к Евреям, VI: 4-6).

71

...над освященным хлебом... прямо из церкви... — Во Франции каждое воскресенье у обедни раздавали хлеб святого причастия. Этот обычай установился еще в XII в., во времена Карла Великого. Каждая семья по очереди приносила в воскресное утро в церковь ржаной

хлеб; позже его заменили пшеничным, иногда сдобным. Хлеб клали на салфетке на престол, священник святит его, затем, после проповеди, его раздавали прихожанам. Во время Первой мировой войны этот обычай прекратился, то есть, когда Пруст писал эти строки, он уже ушел в прошлое.

72

Квадрифолий — архитектурное украшение или витраж в форме цветка с четырьмя округлыми лепестками, в которые иногда вписывались сюжетные изображения.

73

...пожертвовать этому храму первые плоды земли... — аллюзия на библейский текст: “Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего” (Исход, 34: 26).

74

...в них есть что-то помпейское... — Имеются в виду, вероятно, фрески из города Помпеи, подчас с эротическими сюжетами.

75

“Опера-комик” — парижский музыкальный театр, существовавший с 1715 г.

76

Уж не говоря... от гладкого загадочного атласа “Черного домино”... — “Завещание Цезаря Жиродо”, пьеса Адольфа Бело и Эдмона Вийетара, которая в 1859 г. была поставлена в театре “Одеон”, вошла в репертуар “Комеди Франсез” в 1874 г. Трагедия Софокла “Эдип-царь”, в новом переводе Жюль Лакруа, была возобновлена в “Комеди Франсез” в 1881 г. “Бриллианты короны” и “Черное домино”, комические оперы Д. Ф. Э. Обера на либретто Скриба, были поставлены соответственно в 1841 и 1837 гг., но удерживались в репертуаре “Опера-комик” до последних лет века. Упоминание об этих четырех постановках позволяет установить, в какие годы все они шли одновременно; это 1881, 1882, 1884 и 1888 гг.

77

...самый великий актер — Гот... только после Коклена... — Актеры театра “Комеди Франсез” Эдмон Гот (1822-1901) и Жозеф Тирон (1830-1891) были заняты в комических ролях; Луи-Арсен Делоне (1826—1903) — в амплу первых любовников и влюбленных из классического репертуара. Александр Фредерик Февр (1835— 1916) играл в современном репертуаре. Наиболее знаменитый, Бенуа-Констан Коклен, называемый Коклен-старший (1841—1909), прославился в ролях лакеев у Мольера, в роли Фигаро у Бомарше и Сирано де Бержерака у Эдмона Ростана.

78

...выходившего как-то днем из Французского театра... — Французский театр в Париже существовал с 1782 г. и много раз переименовывался; в настоящее время называется “Одеон”.

79

...самых знаменитых... Жанну Самари... — Сара Бернар (наст. имя Розина Бернар) (1844—1923), первого успеха достигла в “Комеди Франсез” в главных ролях у Расина и Гюго; в 1880 г. покинула “Комеди Франсез”, купила театр “Ренессанс”, где ставила современные пьесы, а в 1899 г. основала “Театр Сары Бернар”, где играла классические роли в “Гамлете”, в “Есфири” Расина, в драмах Гюго “Анжело, тиран Падуанский” и “Лукреция Борджиа”, а также в пьесах современного репертуара. В романе “В поисках потерянного времени” некоторые ее черты приданы актрисе Берма, вымышленному персонажу: это и ее триумф в “Федре”, и ее своеобразная дикция, и развитие ее карьеры; другие черты Берма заимствованы у Рашели, в том числе некоторые особенности ее репертуара, то, что она выбрала басню “Два голубя” для прослушивания, открывшего ей двери “Комеди Франсез”, а также ее первые скандальные появления на сцене. Остальные упомянутые актрисы играли в “Комеди Франсез”. Жюлиа Рено (1854—1941), сценический псевдоним мадмуазель Барте, играла главные трагические и комические роли в классическом репертуаре, Мадлен Броан (1833—1900) выступала в амплу героинь комедии, ее племянница Жанна Самари (1857—1890) — в амплу субреток. Период, когда рассказчик мог их сравнивать, относится к 1875 (дебют Жанны Самари) — 1885 гг. (уход со сцены Мадлены Броан).

80

...письмом по пневматичке. — Имеется в виду пневматическая почта, которая существовала в Париже с 1866 г. и сначала связывала между собой почтовые отделения; с 1879 г. ею уже могли пользоваться все желающие.

81

Ашиль Тенай де Волабель (1799—1879) — журналист, политический деятель, историк, автор шеститомного труда “История двух Реставраций вплоть до воцарения Луи Филиппа” (1844). В описываемые времена считался образцовым автором для юношества: Симона де Бовуар, например, называет его в своих “Воспоминаниях благовоспитанной девицы” в числе любимых писателей.

82

Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337) — итальянский живописец. Пруст заинтересовался его творчеством под влиянием английского мыслителя и теоретика искусства Джона Рёскина (1819—1900), чьи книги изучал и переводил со второй половины 1890-х гг.

...спрашивал: Жак поживает „Милосердие“ Джотто? — Имеется в виду одна из фресок с изображениями Добродетелей и Пороков, которыми Джотто расписал Капелла дель Арена (капеллу Скровеньи) в Падуе. Они изображают семь Добродетелей: Благоразумие, Отвагу, Умеренность, Справедливость, Веру, Милосердие, Надежду, и семь Пороков: Безумие, Непостоянство, Гнев, Несправедливость, Вероломство, Зависть и Отчаяние (см.: Рёскин Дж. Джотто и его работы в Падуе). В 1906 г. Пруст побывал в Падуе по следам Рёскина и осматривал эти фрески.

...как дополнительные цвета... — Дополнительными считаются два цвета — например, красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, зеленовато-желтый и фиолетовый или зеленый и пурпурный, — звучание которых при сопоставлении усиливается, а их смешение воспринимается как белый цвет. Эта особенность дополнительных цветов широко использовалась импрессионистами для создания особого мерцающего эффекта.

...томился по гористой и речной стране... сразу выросли лиловые и багряные грозди. — Описание книги, которую читает герой, представляет собой, вероятно, мозаику впечатлений от разных произведений. Из набросков ясно, что действие происходит в горах Юра. Основной источник этого отрывка — описание весны в Юра у Рёскина. Цветы, далее, вероятно, связаны с романом Бальзака “Лилия в долине”.

...по поводу книги нового для меня автора, Берготта... — Фигура Берготта часто провоцирует читателей и критиков на поиски реального прототипа; на самом деле этот персонаж объединяет в себе черты нескольких реальных писателей. Среди них Рёскин, Анна де Ноай, Ренан и другие, но главным образом это, конечно, Анатоль Франс: от него у Берготта и гармония стиля, и характерная для манеры раннего Франса кроткая, умиленная интонация, и склонность к обращениям и призывам. Внешне Берготт тоже напоминает Анатоля Франса.

Впервые я услышал о Берготте от Блока... — Блок — один из немногих персонажей романа, который будет сопровождать героя вплоть до “Обретенного времени”, появляться в тех же местах и в той же среде, что герой, и всегда противостоять ему. В то же время Пруст передал Блоку и некоторые свои человеческие черты и литературные пристрастия. Как видно из черновиков, с самого начала Блок — страстный приверженец Теофиля Готье, парнасца; затем он становится глашатаем Берготта.

Когда я признался ему... перед съёмом де Мюссе. — Мюссе, с его притязаниями на глубоко личную лирику, противоположен парнасским установкам, за которые ратует Блок. “Октябрьская ночь”, стихотворение об одиночестве, внушенное разрывом с Жорж Санд, представляет собой идеальную цель для его нападок. Рассказчик, напротив, восхищается Мюссе так же, как восхищался им в отрочестве сам Пруст. Интересно, что “Ночи” Мюссе не только в восьмидесятые годы позапрошлого века, но и много позже считались чтением, подходящим для подростков: вот и Симона де Бовуар вспоминает, что из всего Мюссе ей в отрочестве разрешалось читать только их.

“...Белеющий Камир и белый Олооссон”... — Камир (Камеирос) — древний город на западном побережье Родоса, Олооссон — в окрестностях горы Монте Альбано на территории современной Италии. Строка Мюссе, которую приводит Блок, из стихотворения “Майская ночь” (приводим фрагмент в дословном пер. и в пер. В. Набокова):

И голубой Титаресий, и серебряный залив,

Который являет в своих водах, где отражается лебедь,

Белый Олооссон белому Камиру.

...И — чище серебра и неба голубей —

Залив, где лебедь спит, один в зеркальном мире,

И снится белый сон белеющей Камире.

...”Она дочь Миноса, она дочь Пасифай”. — Цитата из трагедии Расина “Федра”, действие первое, явление первое (пер. М.Донского).

...моего обожаемого мэтра, папаши Леконта... — Леконт де Лиль, настоящее имя Шарль-Мари Леконт (1818—1894) — поэт, глава парнасской школы. Он осуждал лирические излияния и проповедовал поиск формальной красоты, без оглядки на полезность или мораль.

“Бахагават” — стихотворение Леконта де Лиля из сб. “Античные стихотворения” (1852), “Борзая Магнуса” — из его же сб. “Трагические стихотворения” (1884).

...угодного бессмертным богам. <...> нектаром олимпийских богов. — В языке Блока мифологические метафоры заимствованы, возможно, из переводов Гомера, выполненных Леконтом де Лилем. Интересно, что тот же вычурный, налитанный мифологическими клише стиль присущ письмам юного Пруста.

...чтобы не напеть “О Бог наших отцов” из “Жидовки”... — “Жидовка” — опера в пяти актах Фроменталья Галеви по либретто Эжена Скриба (1835). Хор, который цитирует дедушка рассказчика, относится ко второму акту. Пруст, кстати, был близко знаком с дочерью Галеви, Женевьевой Строс (предыдущим браком замужем за композитором Жоржем Бизе), и с его внуком Жаком Бизе.

“Израиль, порви свои цепи” — ария Самсона из первого акта лирической драмы Камилля Сен-Санса “Самсон и Далила” по либретто Фердинана Лемера. Опера написана в 1877 г., поставлена в Париже в 1890 г.

Земля отцов, о милый дол Хеврона... — ария Иосифа из первого акта оперы “Иосиф” французского композитора Этьена-Никола Меюля (1763—1817). Новая постановка этой оперы была осуществлена в “Гранд Опера” в 1899 г. Источники двух предшествующих и последующей цитат не установлены.

“... тщетное обольщение жизни”... — измененная цитата фразы Анатоля Франса: “Да, друг мой, но эти обольщения и тысячи других, радостных и трагичных, сводятся к одному и тому же: обольщению жизни” (“Преступление Сильвестра Боннара”).

...”неверных призраков бессменное круженье”... — парафраз последней строки стихотворения Леконта де Лиля “Майя” (сб. “Трагические стихотворения”, 1884). Ср. у Леконта де Лиля:

... du tourbillon sans fin des apparences vaines.

в переводе на русский И. Поступальского:

...текучих призраков бессменное круженье!

...”бесплодную и восхитительную муку понимания и любви”... — измененная цитата фразы Анатоля Франса: “Восхитительные муки, которые красота доставляет душам, жаждущим ее понять” (“Книга моего друга”).

...”трогательные изображения, навеки облагородившие чтимые и завораживающие фасады соборов”... — измененная цитата фразы Анатоля Франса: “Он готов был даже пожертвовать своими чтимыми и завораживающими творениями и, как с собором Парижской Богоматери, преобразить живой собор в собор абстрактный” (Франс А. Пьер Нозьер).

...о “Гофолии” или “Федре”... — “Федра” и “Гофолия” — трагедии Расина.

...портрет Магомета Второго у Беллини.— Джентиле Беллини (1429—1507) — венецианский художник; во время пребывания в Стамбуле написал портрет Магомета II (1432—1481), седьмого султана Османской империи.

Берма в “Федре”, в “Сиде”... — Имеются в виду пьеса Корнеля “Сид”, а также “Федра” Расина, об исполнении главной роли в которой актрисой Берма будет идти речь в следующих книгах романа.

...”Шартрские королевы”! — Имеются в виду статуи в западном портале Шартрского собора, которые долго принимали за изображения королей и королев Франции, хотя на самом деле это изображения библейских персонажей. Рассуждения Рёскина об этих статуях Пруст подробно цитирует и комментирует в своем предисловии к переводу “Амьенской библии” (Пруст М. Памяти убитых церковью. М.: Согласие,

105

... в брошюрке о Расине... — Брошюре Берготта о Расине могли соответствовать реально существующие тексты: во-первых, брошюра Анатоля Франса, опубликованная в 1874 г., в которой он воспроизвел свое предисловие к сочинениям Расина, а во-вторых, сборник статей критика и писателя Жюль Леметра “Театральные впечатления” (1895).

106

Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов! — В католической традиции Вознесению предшествует трехдневный молебен об урожае с шествием, по-французски Rogations.

107

... множество этимологических толкований... — В конце XIX в. во Франции была в большой моде этимология — наука о происхождении и эволюции слов, и в частности ономастика, изучающая с этой точки зрения имена собственные — географические названия (топонимия) и личные имена (антропонимия). Топонимия, новая дисциплина, связанная с исторической географией, занимает больше всего места в романе. Подчас этимологические изыскания принимали несколько карикатурные формы, чем и вызвано ироническое, на грани пародии, освещение этой темы у Пруста.

108

... шпалеры с Есфирью... уступают только санским. — Шпалеры XV и XVI вв., которые хранятся в сокровищнице собора Св. Этьена в Сансе.

109

... “Въезд Луи-Филиппа в Комбре”... не уступает витражам Шартра. — Витраж, о котором идет речь, очевидно, датируется XIX в. (Луи Филипп стал королем в 1830 г.). Естественно, такой витраж не представлял собой великой ценности, в отличие от знаменитых витражей Шартрского собора.

110

Жильберт Злой — исторический персонаж, выдуманный Прустом.

111

... это и есть святой Иларий... даже святым Илией. — Пруст почерпнул многие сведения для монолога кюре в книге Жюль Кишра “Об образовании старинных географических названий во французском языке” (1867). Среди различных вариантов одного и того же имени автор приводит: “Sanctus Hilarius, святой Иларий, святой Илер, святой Элье, святой Илье”, а среди “современных названий, подвергшихся искажениям”: “Сент-Илье (Сена-и-Уаза) и Сент-Или (Юра), от святого Илария”.

112

... святая превратилась в святого. — В той же книге Жюль Кишра выделяет категорию “Имена, род которых изменился”: “Есть примеры, когда святая превращалась в святого и наоборот, согласно изменениям, которые данное имя претерпело во французском языке: “... sancta Eulalia [т.е. св. Евлалия] — святой Элуа [т.е. св. Элигий]”.

113

Брат Жильберта... Пипина Безумного... — Прообразом Жильберта Злого послужил Прусту Жоффруа де Шатодён, историческое лицо, описанное аббатом Марки, кюре города Илье: “Жоффруа, виконт де Шатодён, рано лишился отца и вершил верховную власть со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине” (Марки Ж. Илье, 1904. С. 28). Конец Жоффруа де Шатодёна, построившего в 1019 г. замок Илье, также послужил материалом для жизнеописания Жильберта Злого: “Жоффруа посетил Шартрский собор в 1040 г., убежденный, что разрушения и пожары, которые он некогда вершил в этом краю, преданы забвению. К несчастью, его имя по-прежнему оставалось ненавистно местному населению. Когда он выходил после богослужения, жители Шартра набросились на него и убили”. Возможно, другим его прототипом оказался Карл Злой, король Наварры и граф д’Эврё (1332—1387). Пипин Безумный, также вымышленный персонаж, добавленный во второй корректуре, напоминает о Каролингах. Имя еще одного вымышленного короля, Карла Заики, напоминает сразу о двух каролингских государях, Людовике Заике и Карле Простоватом. В монологе кюре можно найти имена великих вассалов, восставших против Карла Простоватого: это Рауль, или Радульф Бургундский (по словам кюре, от его имени произошло название Руссенвиль), Вильгельм Нормандский (не Завоеватель, а герцог Вильгельм I, по прозвищу Длинный меч, 930—942). Речь кюре отсылает если не к строгим фактам, то, во всяком случае, к определенному пласту истории: после Женевьевы Брабантской, принадлежавшей к Меровингам, Жильберт Злой — вторая вежа в истории Германтов, связанная с Каролингами, то есть со второй франкской династией. Другой Германт — брат капетингского короля Людовика VI, что добавляет Германтам связей с королевскими династиями (Капетинги были последней из трех королевских династий, правивших во Франции и сошедшей со сцены только в 1848 г.). Имена, названные Прустом, не позволяют восстановить реальную историю, но точно указывают на выбранный период и предупреждают о наличии пастиша. Это, конечно, мистификация, но главная ее цель все же эстетическая — изобразить язык старинных хронистов, отмеченный простодушной эрудицией. В этом направлении строится образ кюре. Его роль неотделима от роли Элала, создательницы устной летописи Комбре.

114

...Теодеберт... — Этим именем звали двух франкских королей, Теодеберта I (504—548) и Теодеберта II (586—612). У Пруста явно подразумевается Теодеберт I, который славился щедростью по отношению к церквям, что согласуется с его ролью в тексте романа.

115

Вильгельм I, или Вильгельм Завоеватель (1027— 1087) — герцог Нормандский (1035—1087) и король Англии (1066—1087). Подростком Пруст с огромным интересом читал о нем в “Истории завоевания Англии норманнами” Огюстена Тьерри.

116

...по случаю молебнов. — В католической традиции Вознесению предшествует трехдневный молебен об урожае с шествием, по-французски Rogations.

117

Иссохнет, как поток, неправедного счастье. — Этот стих из Расина (“Гофолия”, акт 2, сцена 7), который мы приводим в пер. Ю. Корнеева, представляет собой реминисценцию из памятника раннего христианства, “Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова”, XL, 13: “Имения неправедных, как поток, иссохнут и, как сильный гром при проливном дожде, прогремят”.

118

...будь у кого-нибудь из нас склонность к эпическому творчеству. — Аллюзия на замечание Никола де Малезье (1650—1727): “У французов нет склонности к эпическому творчеству”, которое использовал Вольтер в “Эссе об эпической поэзии”.

119

Даже лицо неба словно менялось. — Аллюзия на новозаветный текст: “Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?” (Мф, 16: 3).

120

...лунный свет, как Юбер Робер... — Юбер Робер (1733—1808) — французский художник, мастер классицистического пейзажа руин; испытывал влияние Пиранези, с которым был лично знаком.

121

...этого “спектакля в кровати”... — аллюзия на “Спектакль в кресле” — название, под которым Мюссе опубликовал том стихов (1833) и два тома драматических произведений (1832 и 1834). После того как в 1830 г. провалилась первая комедия Мюссе “Венецианская ночь”, он стал писать драматические произведения, рассчитывая на читателей, а не на театральные постановки, откуда и название его книги.

122

...которую Сен-Симон подмечал в “механике” версальской жизни... — На страницах своих “Мемуаров” Сен-Симон много раз упоминает о “механике” придворной жизни, понимая под ней скрытые от постороннего глаза факты и обстоятельства, необходимые для понимания происходящего, “те ничтожные мелочи, которые творят историю”. Кроме того, “механика” в “Мемуарах” подразумевает упорядоченность пространства и распределение времени монарха и его окружения, отлаженные с точностью часового механизма.

123

Леса уже черны, а небеса светлы. — Цитата из книги П. Дежардена, посвященной Ламартину, озаглавленной “Тот, кого забывают” (1883). Поль Дежарден (1859—1940) — французский писатель и мыслитель. Пруст слушал его лекции; он был подписчиком и внимательным читателем бюллетеня “Союза за духовное действие” (“Union pour l’action morale”), возглавлявшегося Дежарденом, следил за его критическими выступлениями.

124

...но восхищение мое вызывала спаржа... в вазу с благовониями. — Строки, посвященные спарже, восходят, возможно, к натюрмортам Эдуара Мане “Пучок спаржи” и “Спаржа” (1880). Они предвещают эпизод из 2-го тома романа, где герцог Германтский комментирует картину Эльстира “Пучок спаржи”. Ссылка на Шекспира подразумевает такие комедии с элементами фантастики, как “Сон в летнюю ночь”, “Буря”, “Как вам это понравится”, “Зимняя сказка”: Пруст хорошо их знал, в его библиотеке имелось полное собрание сочинений Шекспира, и по его переписке рассыпаны цитаты из шекспировских “феерий”.

125

...перепончатокрылое, описанное Фабром... — Жан-Анри Фабр (1823—1915) — французский писатель и энтомолог. Он в самом деле описал поведение перепончатокрылого землеройщего, sergens бугорчатого. Однако термин “оса-землеройка” у Фабра не упоминается, зато отсылает к “Этюдам о природе человека” Ильи Мечникова, который в главе II “Гармонии и дисгармонии низших существ” цитирует и популяризирует Фабра. Упоминания об И. Мечникове есть в переписке Пруста.

126

...Позвольте мне вдохнуть аромат... Приносите примулы... — По-видимому, здесь пастишируется стиль Анатоля Франса с характерной

для него эстетизацией религиозных аллюзий, нанизыванием редких и изысканных названий цветов: “Есть в лесах цветы, которые я предпочитаю садовым; <...> они зовутся лютик, ладанник, вязель, чабрец, полевой гиацинт, девичье зеркало, колокольчик, водосбор, птичий горец, медвежья ушка, шпорник” (“Пьер Нозьер”).

127

...приносите птичий хлеб... бальзаковской флоры... — Другие названия этого растения — седум, очиток едкий. Люсьен де Рюбампре держит в руке “большой букет *sedum*, желтых цветов, что растут меж камней в винограднике” (Бальзак О. Утраченные иллюзии, пер. Н.Яковлевой), когда впервые встречается с аббатом Карлосом Эррера, он же беглый каторжник Вотрен, действующим во многих романах Бальзака. Участие, которое мнимый испанский дипломат принимает в юном Рюбампре, носит весьма двусмысленный характер: он и покровительствует, и растлеивает своего питомца. Этот же цветок упоминается в другом романе Бальзака, “Лилия в долине”, где он тоже связан с эмоциональной жизнью героя.

128

...пасхальный цветок, маргаритку... — Луговую маргаритку, белый цветок с желтой серединкой, называют пасхальным цветком, поскольку она расцветает во время католической Пасхи. Этот цветок считают символом Девы Марии. Маргариткам посвящали последнее воскресенье перед Пасхой, украшая в этот день маргаритками окна домов, фонари и одежду.

129

...шелковистые ризы лилий, достойные Соломона... — аллюзия на евангельский текст: “Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них” (Матфей, VI: 28—29).

130

...первая роза иерусалимская. — Такого цветка в Священном Писании нет, но он вызывает ассоциации с пасхальной атмосферой в целом: например, литургия в четвертое воскресенье великого поста посвящена небесному Иерусалиму, и в этот день церковь убирают розами.

131

...израненным сердцам подобают лишь сумрак и тишина. — Слова “Израненным сердцам — сумрак и тишина” — эпитафия к роману Бальзака “Сельский врач”. Это девиз главного героя романа, доктора Бенасси.

132

...с владелицами замка Германт? — Замок Германт, согласно роману, расположен в десяти лье от Комбре и принадлежит герцогам Германтским.

133

...для страны Ож... — Страна Ож — древняя область Франции, расположенная в Верхней Нормандии. Упоминается начиная с XI в.

134

...прикованы, как белокурые Андромеды... — Образ пляжей, прикованных к скалам, как Андромеда, Пруст заимствовал из своего же письма 1904 г., адресованного Леону Йитмену.

135

...воистину Ар-мор. — Армор — кельтское название Бретани, означающее “на море”.

136

...так хорошо описанный Анатодем Франсом... — Анатодем Франс (1844—1924) много значил для Пруста и был одним из его любимых писателей. В 1890 г. его представила А. Франсу г-жа Арман де Кайаве, в чьем салоне Пруст постоянно бывал. А. Франс написал хвалебное предисловие к “Утехам и дням”. Многие черты А. Франса вообрал в себя Берготт.

137

...как страна киммерийцев в “Одиссее”. — Отсылка к роману А. Франса “Пьер Нозьер”, где в пятой главе третьей части, “В Бретани”, остров Сэн сравнивается с островом киммерийцев (“Одиссея”, песнь одиннадцатая, стих 16—19). Ренан (“Молитва над Акрополем”) также сравнивает Бретань со страной киммерийцев. Но Пруст явно в первую очередь имеет в виду А. Франса.

138

...совсем как тот прохвост-эрудит... и притом почетное, положение... — Здесь подразумевается история Врен-Люкаса, мошенника, продавшего члену Академии Мишелю Шалю фальшивые автографы Паскаля, Рабле, Жанны д’Арк, Цезаря и Клеопатры. Об этом рассказывает Альфонс Доде в повести “Бессмертный” (1888), которую Пруст читал.

139

...о каком-нибудь воображаемом Мальстреме... — Мальстрем (Мальстром, Москестрем) — бурное морское течение с водоворотами между норвежскими островами Москенес и Вэре; он описан в новелле Э. По как страшная, гибельная бездна (“Низвержение в Мальстрем”, пер. М. Богословской).

140

...и, уподобясь трагической принцессе... и завязал узлом... — Имеется в виду Федра, героиня трагедии Расина; Пруст перифразирует отрывок из 3-го явления 1-го действия:

О, эти обручи! О, эти покрывала!

Как тяжелы они! Кто, в прилежанье злом,

Собрал мне волосы, их завязал узлом...

(пер. М. Донского)

141

...особым комбрейским гением. — Согласно римской мифологии, каждый город и каждая местность имели своего божественного покровителя — гения.

142

...роман Сентина... — Жозеф Ксавье Бонифас, псевдоним Сентин (1798—1865), — французский писатель. Пруст несколько раз цитирует его роман “Пиккола” как пример плохой литературы, которую ребенок любит так же или даже больше, чем те великие произведения, которых он еще не может оценить.

143

...пейзаж Глейра... четко вырисовывается в небе... — Шарль-Габриэль Глейр (1806—1875) — швейцарский художник академического стиля, часто писал на античные сюжеты. Серебряный серп луны изображен на самой его известной картине “Утраченные иллюзии”, которую, вероятно, знал Пруст.

144

...капуцин, выставленный в витрине магазина оптики... — Речь идет о барометре-автомате; вот как описан такой же капуцин в романе “Интервью” современной французской писательницы Кристин Анго: “Этот капуцин в моем детстве, в Шатору, в витрине магазина оптики, раскрывал зонтик, если шел дождь, и снимал шляпу, если было ясно”.

145

...несколько анекдотов из жизни Аристотеля и Вергилия... — Эмиль Маль в книге “Религиозное искусство XIII века во Франции”, которую Пруст хорошо знал и ценил, описывает эти две скульптурные группы, интересные тем, что на них воспроизведены персонажи средневековых ле — стихотворных повествований XII—XIII вв., редко проникавшие в религиозную скульптуру: влюбленный Аристотель на четвереньках, на спине у которого сидит куртизанка, и Вергилий в подвешенной на веревках корзине, которого заставила туда сесть на потеху всем некая римлянка. Подобные скульптурные группы можно видеть, например, на соборе Св. Петра в городе Кане, где Пруст бывал.

146

...после долгих часов, проведенных над книгой.— О чтении той осени будет упомянуто еще раз, в книге “Содом и Гоморра”; читатель узнает, что герой романа читал книгу Опостена Тьерри. В черновиках упоминаются “История завоевания Англии норманнами” и “Рассказы из меровингских времен” этого автора.

147

Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк (1814—1879) — искусствовед и архитектор, реставрировал многие старинные памятники, например замок Пьерфон, упоминаемый в следующей части романа, “Любви Сванна”.

148

...на те старинные гравюры “Тайной вечери”... — Рафаэль Морген (1761—1833) — гравер, в 1800 г. создал гравюру с “Тайной вечери” Леонардо да Винчи, фрески, которая находится в церкви Санта Мария делле Грациэ в Милане. Фреска эта, с тех пор как была создана, подвергалась реставрациям, которые значительно ее изменили; гравюра Моргена, вопреки тому что мы можем заключить из романа, запечатлела ее уже после первой такой реставрации.

149

...то полотно Джентиле Беллини... — С именем Джентиле Беллини связано зарождение венецианской жанрово-исторической живописи, запечатлевшей праздничную жизнь на улицах города. Пруст имеет в виду, по-видимому, “Процессию на площади Сан-Марко” (1496) — эта картина находится в Галерее Академии в Венеции; Пруст побывал в этом музее во время пребывания в Венеции в мае 1900 г. На картине собор Св. Марка, который постоянно достраивался и украшался в течение столетий, предстает в современном Беллини облике:

видны, например, старинные мозаики, вставленные в верхние люнеты (арочные проемы в своде) пяти порталов собора. Пруст, вероятно, обратил внимание на это изменение благодаря изучению трудов Джона Рёскина, который в своем путеводителе по галерее Академии и собору Св. Марка подчеркивает важность свидетельства, оставленного Беллини.

150

Бечевник — береговая полоса вдоль реки, которую использовали, если нужно было тянуть судно бечевой, то есть волоком на канате.

151

А еще эта кувшинка была похожа... совсем как мне родителей. — Аллюзия на “Ад” Данте: мальчик, как Данте за Вергилием, поспешает за родителями, хотя его притягивает зрелище грешной души в аду, беспрестанно терпящей одну и ту же муку.

152

...цветники водяных лилий — нимфей... гирлянды пушистых роз. — Этот пассаж — переложение на язык литературы полотен Клода Моне “Нимфей” (иначе “Кувшинки”, “Белые кувшинки”). В 1913 г. Пруст признается в письме к Габриэлю Астрику: “Что до Моне, вы угадали. Я думал именно о нем... Я видел нимфеи на выставке”.

153

...кто-то печально обрывал цветы в конце галантного празднества... — Считается, что Пруст имеет в виду не столько сборник Поля Верлена “Галантные празднества” (1869), сколько вдохновившие Верлена картины Антуана Ватто (1684—1721), французского художника, разработавшего новый тип сюжетов — “галантные празднества”, например “Общество в парке” (около 1720), “Паломничество на остров Киферу” (1717—1718).

154

Иногда... длинные, бессмысленно красивые перчатки. — Этот эпизод прогулки в сторону Германта — первая отсылка к роману Бальзака “Брошенная женщина” (1833), о котором еще пойдет речь в дальнейшем, а именно в книге “Сторона Германта”.

155

...бал-маскарад у принцессы Леонской. — 29 мая 1891 г. принцесса Леонская устроила знаменитый костюмированный бал.

156

...которыми отмечены иные страницы “Лознгрин”... — Пруст объединяет в одном предложении упоминания своего любимого композитора, художника и поэта. “Лознгрин” (преьера в 1850 г.) — опера Рихарда Вагнера, чья слава во Франции неуклонно растет с 1876 г. (дата исполнения оперы “Кольцо Нибелунгов” на первом Байрейтском фестивале). Пруст любил Вагнера с ранней юности: уже в 13 или 14 лет на вопрос анкеты о любимых композиторах он отвечает: “Бетховен, Вагнер, Шуман”. Эту любовь он передает рассказчику в романе, где Вагнер и его произведения много раз упоминаются или подразумеваются.

157

...иные полотна Карпаччо... — Витторе Карпаччо (ок. 1465—1525) — итальянский художник, создал несколько больших циклов картин, изображающих события, навеянные венецианскими празднествами и торжественными церемониями. Так, на картинах цикла о св. Урсуле изображена героиня — крупный нос, белокурые волосы, — вызывающая ассоциации с герцогиней Германтской, в обрамлении торжественной церемонии, напоминающей о бракосочетании в комбрейской церкви. Пруст чрезвычайно ценил Карпаччо, видел его цикл о св. Урсуле и другие полотна в Галерее Академии в Венеции и много раз упоминает его в романе.

158

...почему Бодлер... эпитет “сладостный”. — Аллюзия на последнюю строфу стихотворения Бодлера “Непредвиденное”. Приводим ее в рус. пер. А.Ламбле:

И сладостью такой исполнен трубный глас, В святые вечера небесных жатв урочных, Что песнь его струей пьянящую влилась В сердца страдальцев беспорочных.

Это четверостишие Пруст привел в статье 1921 г. “О Бодлере”, высказав предположение, что Бодлеру его подсказало “страстное восхищение Вагнером”.

159

...этот небольшой отрывок... совсем немного изменений... — Это описание колоколен Пруст перенес с некоторыми сокращениями и незначительными изменениями из своей статьи 1907 г., опубликованной в “Фигаро” и называвшейся “Впечатление от путешествия в автомобиле”; описание 1907 г. относится к колокольням города Кана.

160 Они напомнили мне трех девушек из легенды... — Имеется в виду, вероятно, античное предание о трех сестрах Гесперидах; это предположение подсказал мне Григорий Стариковский.

161 ...парит у меня в мыслях, как цветущий Делос... — Согласно античной легенде, Делос был плавучим островом: Зевс пустил его плавать по морю, чтобы Латона могла там произвести на свет Аполлона и Артемиду.

